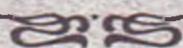


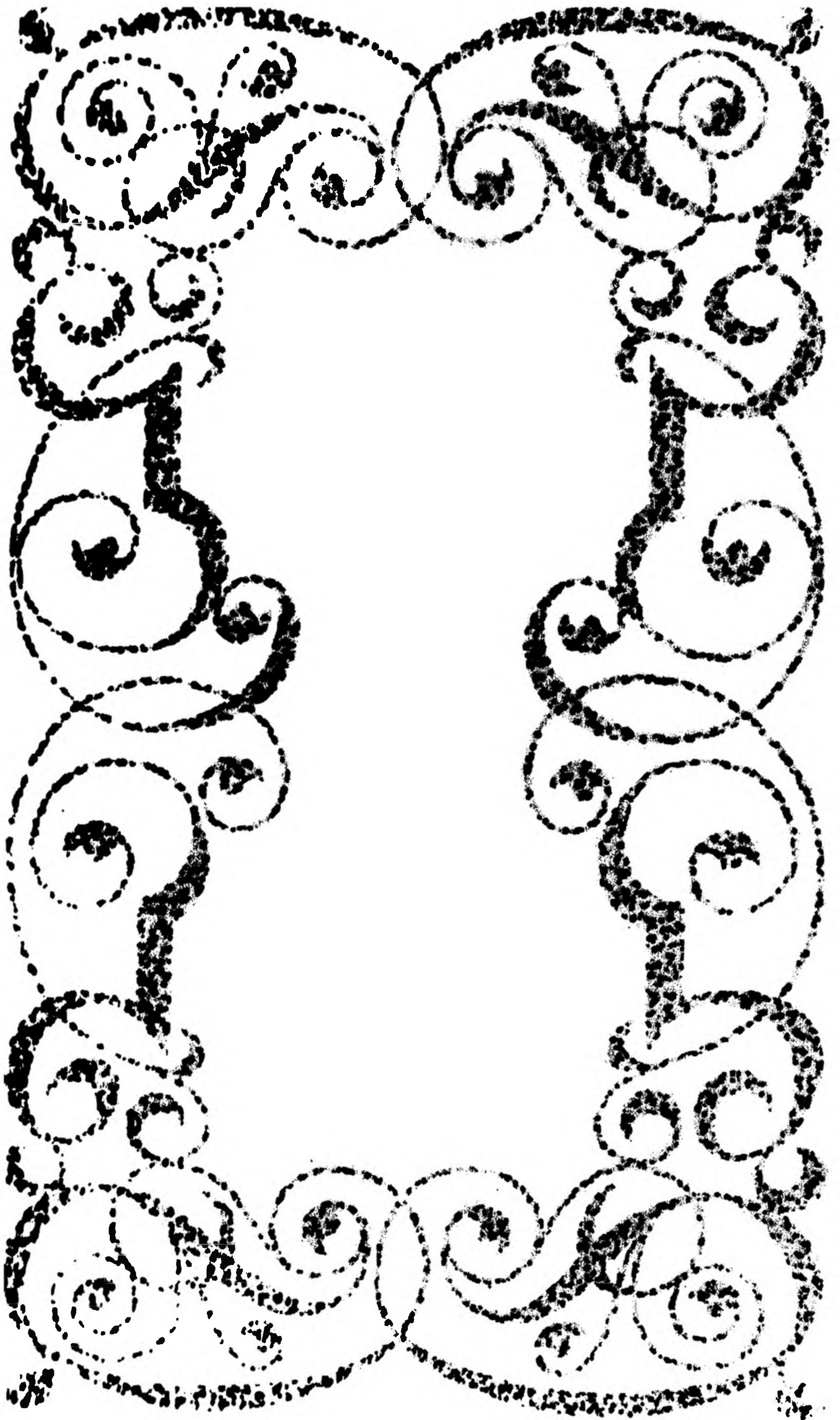
АНДРЕ
МОРҮА



*Собрание сочинений
в шести томах*

4

ТОМ



АНДРЕ МОРҮА



АНДРЕ МОРҮА

АНДРЕ МОРУА



Собрание сочинений
в шести томах

Москва

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРЕССА»

1992.

АНДРЕ МОРУА



Собрание сочинений
том четвертый

ПРОМЕТЕЙ,
ИЛИ ЖИЗНЬ
БАЛЬЗАКА

ЧАСТИ III-IV

Москва

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРЕССА»

1992

84.4 Фр
М 79

Перевод с французского

Составление
и общая редакция
Мориса Ваксмахера

М $\frac{4703010100-2709}{080(02)-92}$ 2709-92

ISBN 5-253-00563-3

© Ваксмахер М. Составление. 1992.



ПРОМЕТЕЙ,
ИЛИ ЖИЗНЬ
БАЛЬЗАКА
ЧАСТИ III-IV

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ

В общем, в той игре, какую я веду, три человека играют огромную роль: Наполеон, Кювье, О'Коннель, а я стану четвертым. Первый жизнью своей перевернул Европу, он сросся с армиями! Второй своими трудами объехал весь шар земной! Третий олицетворял собою народ. А мне придется нести в своих мыслях целое общество.

Бальзак

XXI

LA CONTESSA ¹

Великие страсти столь же редки, как шедевры искусства.

Бальзак

Бальзак по-прежнему уверял мистическую супругу — божественную Еву — в своей непоколебимой верности и беспорочном целомудрии; однако с некоторых пор он поддерживал самые интимные, и на первых порах весьма тайные, отношения с другой женщиной, которая вполне могла польстить его самолюбию и своей красотой, и знатностью, и положением в свете. Чтобы выяснить, когда началась эта связь, надо вспомнить о рекомендательном письме, полученном Бальзаком в феврале 1834 года в Женеве от графини Марии Потоцкой к жене австрийского посла. Осенью следующего года он встретил на одном из больших приемов в посольстве молодую женщину лет тридцати, восхитившую его нежным румянцем, пепельно-белокурыми волосами, стройным гибким станом и очами, достойными принцессы Востока. «Ее вызывающая улыбка сладострастной вакханки» привлекла внимание Бальзака. Он спросил, кто она, и узнал, что красавица замужем за графом Эмилио Гидобони-Висконти, принадлежащим к одному из самых знатных в Милане семейств, а девичье имя его прелест-

¹ Графиня (ит.).

ной жены, англичанки по происхождению, — Френсис Сара Лоуэлл.

Некий версальский судья, Виктор Ламбине, дал в своих мемуарах обильные, но самые ложные сведения об этой супружеской чете. Если верить ему, в семействе Лоуэлл сила очарования соединялась с ужасными припадками безумия и назойливыми мыслями о самоубийстве. Мать утопилась, не желая стареть, один из сыновей перерезал себе горло, второй повесился.

Младшая дочь, Юлия, — сообщает Ламбине, — создание сумасбродное и восхитительное, страдала истерией, гонялась за молодыми цирюльниками, совращала актеров, все больше опускалась, как ее старший брат, и погрязла в пьянстве. Эротизм ее несколько уменьшился под влиянием «божественной бутылки», и она вышла замуж за старого прусского ученого, доктора Бидермана, который женился только для того, чтобы ему было с кем чокаться за столом...

В действительности же Френсис Сара Лоуэлл (домашние звали ее Фанни) принадлежала к старинной семье небогатых помещиков Уилтшира — Лоуэллов из Коул-Парка. Мать графини была дочерью архидиакона англиканской церкви и внучкой епископа Батского. Благодаря такому происхождению Фанни Лоуэлл еще до своего замужества была принята в Англии в самых замкнутых кругах общества. Никто из ее четырех братьев не кончал самоубийством: один умер от рака печени, другой — от сердечного приступа, третий — от пневмонии. Самый младший брат, который, по словам Ламбине, сократил распутством дни своей жизни, скончался только в 1906 году, прожив восемьдесят пять лет, и умер от воспаления легких. Среди рассказов Ламбине есть только одна правда: мать действительно утопилась, но в возрасте семидесяти двух лет — она наложила на себя руки в 1854 году, то есть через двадцать девять лет после замужества Фанни. Следовательно, нечего задаваться вопросом, знал ли граф Гидобони-Висконти, женясь на Фанни Лоуэлл, «эти ужасающие истории», — ведь их на самом-то деле не было. Как и все мужчины, он был очарован божественной красотой девушки и ее серебристым голоском, «словно созданным для душевных бесед».

Очень быстро после свадьбы открылось, что Contessa не в силах «противиться веленьям чувств». Ее пылкий темперамент требовал любовников, а совесть прекрасно мирилась с таким поведением. Она взяла себе

за образец графиню Альбани и Терезу Гвиччиоли и восхваляла ту и другую за смелость их связи с гениальными людьми: одна была возлюбленной Альфиери, другая — Байрона. Граф Гидобони-Висконти оказался *marito*¹ еще менее суровым, чем граф Гвиччиоли. Бедняга был человеком незлобивым и бесхарактерным, и у него имелось только два пристрастия: музыка (он любил играть в театральном оркестре среди музыкантов-профессионалов) и аптекарские занятия. Смешивать целебные вещества, наливать лекарства в склянки, вытирать эти пузырьки, надевать на каждый бумажный колпачок, приклеивать этикетку доставляло ему наслаждение. «Он отличался кротостью, держался в тени, был переменчив в расположении духа, скучноват, придирчив, совсем не глуп и даже с хитрецей, к которой примешивалась, однако, грубоватая наивность», — пишет Аригон. Словом, он как будто создан был для роли обманутого мужа, который все знает и терпит.

Осмелев от таких характеристик, Бальзак попросил представить его. Contessa читала его романы и очень охотно пригласила писателя в свой дом. Ее несколько огорчил экстравагантный наряд Бальзака: белый жилет с коралловыми пуговицами, зеленый фрак с золотыми пуговицами, перстни, унизывавшие пальцы. Вероятно, она сказала об этом своим друзьям, а те предупредили Бальзака, и при второй встрече костюм на нем был скромный, темных тонов. Впрочем, нелестное впечатление, которое он вначале производил на женщин, всегда менялось очень быстро. Подруга «белокурой красавицы» Софья Козловская в письме к отцу дала прекрасное объяснение этой связи.

Ты спрашиваешь: «Что это еще за новая страсть у госпожи Висконти к господину де Бальзаку?» Да все дело в том, что госпожа Висконти полна ума, воображения, свежих и новых мыслей. Господину де Бальзаку, тоже человеку выдающемуся, нравится беседовать с госпожой Висконти, и так как он многое написал и продолжает писать, то нередко заимствует у нее какую-нибудь оригинальную мысль, которыми она богата, и их разговор всегда необыкновенно интересен и занимателен. Вот вам и объяснение страстного увлечения...

Господин де Бальзака нельзя назвать красавцем: он низенький, тучный, коренастый, широкоплечий; у него крупная голова, нос мясистый, тупой на конце; рот очень красивый, но почти

¹ Супругом (ит.).

беззубый; волосы черные как смоль, жесткие и уже с проседью. Но карие его глаза горят огнем, выражают внутреннюю силу, и вы поневоле согласитесь, что редко можно встретить такое прекрасное лицо.

Он добрый, добрый до глупости — для тех, кто ему по душе, ужасен с теми, кого не любит, и безжалостен ко всему нелепому и смешному. Зачастую его насмешка убьет не сразу, зато уж всегда засядет у вас в уме и преследует ever after¹, как призрак. Воля и мужество у него железные; ради друзей он забывает о себе самом, дружба его не знает пределов. В нем сочетаются величие и благородство льва с кротостью ребенка...

Вот вам беглый набросок характера господина де Бальзака; я очень его люблю, и он очень добр ко мне. Ему тридцать семь лет...

Бальзак получил от супругов Гидобони-Висконти приглашение бывать у них; они жили в Париже на авеню Нейи (позднее переименованное в Елисейские поля); на лето они переезжали в Версаль и занимали там так называемый Итальянский павильон. У Бальзака и графини Висконти нашлись в этом городе общие знакомые, которые рассказали ему о похождениях госпожи Висконти и о том, что самым последним ее поклонником состоял Лионель де Бонваль.

Граф Лионель де Бонваль (родившийся в 1802 году) был тоже женат на англичанке, Каролине-Эмме Голвэй. Впоследствии его родственники говорили, что он сохранял верность своей жене только после ее смерти. Он отличался тонким вкусом, коллекционировал старинную мебель, бронзу, фарфор. Приведем пример, свидетельствующий о его страсти к изящному: обедая у себя дома в одиночестве, он ел всегда на тарелках северского фарфора, достойных фигурировать в коллекции любителя. Может быть, с него-то и списаны некоторые черты Сикста дю Шатле из «Утраченных иллюзий».

Бальзак не утратился соперничества и оказался прав, ибо узы, связывавшие его с прекрасной англичанкой, вскоре стали теснее. Пополам с супругами Висконти он абонировал ложу в Итальянской опере и бывал там три раза в неделю. Все его друзья заметили, как настойчиво он ухаживает за белокурой Фанни. Герцогиня д'Абрантес писала ему: «Сержусь на вас за то, что не пришли обедать... Ну-ка, сделайте над собой усилие, приходите, а потом можете лететь на здоровье к своим Итальянцам...»

Любил ли он графиню Висконти? Ему нравились чувственные женщины, а Фанни, дававшая волю своему

¹ С тех пор (англ.).

темпераменту, подарила бы ему блаженство; он искал дружбы с женщинами знатного рода, это тешило его гордость и честолюбие, а Фанни была замужем за человеком, принадлежащим к старинному роду Висконти (по крайней мере по матери); и, наконец, писателю нужна была близость с женщинами, которые могли что-то дать ему для его творчества. А госпожа Висконти обладала богатым воображением и так же, как и леди Эленборо, прекрасно «позировала» для образа леди Арабеллы Дэдди из романа «Лилия долины».

Как же относилась к нему Contessa? Несомненно, она привязалась к своему «великому человеку», долгое время поддерживала Бальзака в затруднительных обстоятельствах его жизни; ей нравились его веселость, энергия, его весьма непринужденные анекдоты и почти женская тонкость его ума, благодаря которой он был не только любовником, но и поверенным женщин. Сент-Бёв писал:

Господин де Бальзак хорошо знает женщин, знает тайны их чувств или чувственности; он без стеснения задает им в своих рассказах чересчур смелые вопросы, равносильные вольности в обращении. Он ведет себя как доктор, еще молодой, имеющий доступ в альковы своих пациенток и получивший право полумеками говорить о некоторых тайных подробностях их семейной жизни, что очень смущает и вместе с тем приводит в восторг самых целомудренных дам...

А какое же место занимает в этой новой мизансцене госпожа Ганская, обожаемая Ева? Бальзаку нравилось вести сразу несколько интриг, разделенных непроницаемыми перегородками. Это расширяло горизонты романиста. Разве не имеет право создатель целого мира прожить несколько жизней? С самого начала его романа с Эвелиной Ганской третьим действующим лицом была в нем Мари дю Френэ (Мария), но Ганская об этом не знала. Возвратившись из Вены, он поостерегся в своих письмах к Чужестранке говорить о графине. «В моей жизни не только нет места для неверности, а, скажу даже, нет и помыслов о ней... Вот уже месяц я не бывал в Опере... А ведь у меня, кажется, абонирована ложа у Итальянцев... Парижанки до того страшат меня, что, спасаясь от них, я сижу за работой с шести часов утра до шести вечера».

К несчастью, госпожа Ганская достаточно хорошо знала Бальзака и могла быть уверена, что в разлуке с нею он не будет вести целомудренный образ жизни.

Но если она готова была терпеть некую Олимпию Пелисье или ничтожных мещаночек, то о своей славе она заботилась и пришла бы в ужас от связи Бальзака с какой-нибудь светской дамой, известной в кругу той космополитической аристократии, к которой принадлежала и она сама. Она знала, что своей новой любовнице высокого ранга Бальзак тоже стал бы писать прекрасные письма, которые облетели бы весь Париж, и что автор их, гордясь своей победой, сам раструбил бы о ней.

Бальзак — Ганской:

Госпожа Висконти, о которой вы пишете мне,— милейшая и бесконечно добрая женщина, наделенная тонкой красотой, и весьма элегантная дама. Она очень помогает мне нести бремя жизни. Она добра и полна твердости и вместе с тем непоколебима в своих воззрениях, неумолима в своих антипатиях. На нее можно положиться. Она не из богатых, вернее сказать, ее личное состояние и состояние графа не соответствуют его прославленному имени,— ведь граф представитель старшей ветви узаконенных отпрысков последнего герцога Барнабо, после которого остались только побочные дети — одни узаконенные, другие нет. Дружба с госпожой Висконти утешает меня во многих горестях. Но, к сожалению, мы видимся очень редко. Вы и представить себе не можете, на какие лишения обрекает меня мой труд. Что возможно для человека при такой занятой жизни, как у меня? Ведь я ложусь в шесть часов вечера и встаю в полночь... Мне некогда выполнять светские обязанности. Я вижу госпожу Висконти в две недели раз и, право, очень сожалею, что бываю в ее обществе так редко, потому что только у нее и у моей сестры я встречаю душевное сочувствие. Сестра моя сейчас в Париже, супруги Висконти — в Версале, и я их почти не вижу. Разве можно это назвать жизнью? А вы где-то в пустыне, на краю Европы, никаких других женщин на свете я не знаю...

Вечно мечтать, вечно ждать, знать, что проходят лучшие дни жизни, видеть, как у тебя волосок за волоском вырывают золотое руно молодости, никого не сжимать в объятиях и слышать, как тебя обвиняют в донжуанстве! Вот ведь какой толстый и пустой Дон Жуан!

Contessa не спешила сдаваться. Лионель де Бонваль старался высмеять в ее глазах Бальзака, его дурной вкус, волосы, спускавшиеся на шею, кричащие жилеты, его положение «бумагомараки». Графине импонировал престиж Бонваля, «великого знатока в искусстве светской жизни». Некоторое время Бальзак мог опасаться повторения неудачи, постигшей его с кокетливой маркизой де Кастри. Тщетно надеялся он, что белокурая красавица навестит его на улице Кассини. На улице

Батай он возобновил приготовления. Главным образом ради нее он заказал знаменитый белый диван, как в будуаре «Златоокой девушки». Кто же присядет на этот диван? Маркиза де Кастри или Contessa? Разумеется, Contessa.

Весна 1835 года ускорила счастливую развязку. И конечно, роман «Лилия долины» обязан своим названием госпоже Гидобони-Висконти, по-английски lily of the valley означает ландыш. Несомненно, ему доставляло удовольствие рисовать на одном и том же полотне бок о бок два контрастных женских образа: госпожу де Берни и новую свою страсть — госпожу де Морсоф и леди Дэдли.

Обладание не убило любви, наоборот. Любитель и знаток женщин, Бальзак был опьянен великолепным типом англосаксонской красавицы, который ему дано было наблюдать.

Английская женщина, — писал он в «Лилии долины». — ...это жалкое создание, добродетельное по необходимости, но всегда готовое пасть, обреченное вечно скрывать ложь в своем сердце, но полное внешнего очарования, ибо англичане придают значение только внешности. Вот чем объясняется особая прелесть англичанок: восторженная нежность, в которой для них поневоле заключена вся жизнь, преувеличенные заботы о себе, утонченность их любви, так изящно изображенной в знаменитой сцене «Ромео и Джульетты», где гений Шекспира в одном образе показал нам сущность английской женщины. Что мне сказать вам — ведь вы столько раз им завидовали, — чего бы вы не знали сами об этих бедных сиренах, поначалу таких загадочных, а потом таких понятных; они верят, что любовь питается только любовью, и вносят скуку в наслаждения, ибо никогда их не разнообразят; в душе у них всегда звучит одна струна, голос повторяет один и тот же напев, но, кто не плавал с ними по океану любви, никогда не познает всей поэзии чувств...

А дальше сказано так:

И наконец, задумывались ли вы когда-нибудь о сущности английских нравов? Разве мы не видим у англичан обожествления материи, ярко выраженного эпикурейства, которому они предаются обдуманно и искусно? Что бы англичане ни говорили, что бы ни делали, Англия материалистична, быть может, сама того не сознавая. Ее религиозные и моральные принципы лишены божественной одухотворенности, католической восторженности, того глубокого очарования, которого не может заменить лицемерие, какую бы личину оно ни надевало. Англичане в совершенстве овладели искусством жить, наслаждаясь каждой крупницей материального мира; вот почему их туфли — самые восхитительные туфли на свете, их белье обладает непревзойденной свежестью, их комоды благоухают особыми духами; в определенные часы они пьют умело заваренный ароматный чай; в их домах нет ни пылинки, они устилают полы

коврами от нижней ступеньки лестницы до самого дальнего уголка в доме, моют стены подвалов, натирают до блеска молотки у входных дверей, смягчают рессоры в экипажах; они превращают материю в питательную среду или пушистую оболочку, блестящую и чистую, в которой душа замирает от наслаждения, но из-за этого их жизнь становится ужасно монотонной, ибо такое безоблачное существование не ставит перед ними никаких препятствий, лишает их непосредственности восприятия и в конце концов превращает в автоматы...

В натуре графини Висконти было нечто от этой комфортабельной материальности, но, несомненно, она могла похвастаться также незаурядным умом и характером. В ней не было ни подозрительности, ни придирчивости, ни настороженности Эвелины Ганской. Когда она подарила Бальзаку свою благосклонность, то сделала это от всего сердца, открыто. Она не находила нужным считаться с мнением света и поэтому смело показывалась с Бальзаком в ложе Итальянской оперы, но она не стремилась безраздельно завладеть им, она понимала, что художнику необходима свобода, и тихонько подсмеивалась над его приключениями.

Известно, что 16 июня 1835 года Бальзак отправился в Булонь-сюр-Мер; его отсутствие длилось шесть дней. 28 августа он снова завизировал свой паспорт для поездки в Булонь и выехал туда 31 августа в наемной коляске, а через неделю возвратил ее каретнику Панару. Булонь — порт, из которого корабли отплывают в Англию. Несомненно, Бальзак провожал графиню Висконти, отправлявшуюся на родину, где она собиралась провести два месяца. Весьма вероятно, что в августе он в новом порыве страсти ездил в Булонь встречать ее. Ему по-прежнему нравилось давать своей возлюбленной имя, предназначенное для него одного, и тут он получил разрешение называть госпожу Гидобони-Висконти Сарой (вторым ее именем), а не Фанни, как звали ее все. В 1836 году она произвела на свет сына. И хотя никаких доказательств тому не имелось, говорили, что отцом его был Бальзак. Ребенка нарекли при крещении Лионелем-Ричардом. Если бы Бальзак мог быть уверен в столь славном отцовстве, он, надо полагать, трубил бы о нем. Но недаром же новорожденный получил имя Лионель — в честь Бонваля!

Однако Сара долго оставалась любовницей Бальзака и всегда была к нему щедрой и доброй. Когда «Кроник де Пари» обанкротилась и Бальзаку настоятельно тре-

бовалось бежать из Парижа, госпожа Висконти придумала *combinazione*¹, позволявшую затравленному писателю удалиться с честью.

Эмилио Гидобони-Висконти потерял мать. Он не имел ни малейшего желания расстаться со своей аптечкой и своим оркестром для того, чтобы поехать в Турин хлопотать о получении своей доли наследства. А дело было довольно запутанное. Оставшись вдовой после первого мужа, Пьетро Гидобони, от которого у нее было двое детей, госпожа Гидобони вышла замуж за француза, Пьера-Антуана Константена, и в этом втором браке у нее родился сын, названный Лораном. Таким образом, интересы наследников столкнулись. *Contessa* решила, что Бальзак, в юности служивший клерком в конторе стряпчего, прекрасно может защитить права ее мужа. Надо немедленно снабдить Оноре доверенностью на ведение дела и послать его в Турин. Он человек в высшей степени сведущий, и кто же, как не он, способен добиться скорого и справедливого раздела наследства? Этот идеальный посредник получит комиссионные с той суммы наследства, которую ему удастся отстоять. А в сущности, поручение было деликатным способом прийти на помощь Бальзаку.

Небезынтересно будет отметить, что во время своей связи с Сарой Висконти Бальзак поддерживал тайственную переписку с какой-то женщиной, которую никогда не видел и знал только ее имя — Луиза. Она писала ему, как и многие другие, на адрес его издателя. С того времени как он столкнулся с дьявольским коварством маркизы де Кастри, Бальзак не очень-то доверял незнакомкам.

Моя детская доверчивость не раз подвергалась испытанию, а вы, должно быть, замечали, что у животных недоверие прямо пропорционально их слабости... Но все же я иной раз пишу — так бедняга солдат, нарушая приказ, не возвращается к сроку в казарму и на следующий день бывает за это наказан... Знайте, что хорошего во мне еще больше, чем вы предполагаете, что я способен на беспредельную преданность, что я отличаюсь женской чувствительностью, а мужского во мне только энергия; но мои хорошие черты трудно заметить, ведь я всегда поглощен работой... Я полон эгоизма, к которому вынуждает меня обязательный труд; я каторжник, к ноге которого приковано пушечное ядро, а напильника у меня нет... Я заточен в стенах своего кабинета, словно корабль, затертый во льдах...

¹ Хитрость, комбинация (ит.).

Он не отталкивал протянутую ему руку, но для него было невозможно вырваться из своей тюрьмы. «Оставьте меня в моем монастыре, где я обречен вкатывать на гору тяжелый камень, и поверьте, что, будь я свободен, я действовал бы иначе». Лишь один раз в жизни, говорил Бальзак, он встретил самоотверженную любовь, которая мирилась с его сизифовым трудом; эта ангельская душа в течение двенадцати лет посвящала ему по два часа в день, отнимая их от света, от семьи, от исполнения долга, ей хотелось ободрить его и помочь ему. А больше уж никто не дарил ему такой любви. Ему нравилось рисовать в своем воображении облик незнакомки, с которой он переписывался: наверно, она молодая, хороша собою, умна, и все же он предпочитает, чтобы эта нежная дружба оставалась тайной. Да и незнакомка сама уклонялась от встречи. В конце концов таинственная Луиза оказалась в выигрыше: она получала прелестнейшие в мире письма и ничего не дарила взамен, так как он от всего отказывался. Правда, такое благоразумие отчасти объяснялось той ролью, которую играла в его жизни Сара Гидобони-Висконти.

XXII

НЕОБЫЧНАЯ ЭСКАПАДА

Раз уж в этом мире больше невозможно похищать инфант, приходится работать или умирать от скуки.

Эжен Делакруа

Бальзак отправился в Турин 25 июля 1836 года. Деловая поездка сопровождалась романтической эскападой. Через Жюля Сандо Бальзак познакомился с хорошенькой женщиной тридцати трех лет, Каролиной Марбути из Лиможа, и согласился напечатать в «Кроник де Пари» за подписью К. Марсель автобиографическую новеллу этой дамы. Госпожа Марбути принадлежала к старинному протестантскому роду, ее дед с материнской стороны, Жан-Эме де Лакост, был депутатом от Ла-Рошели в Законодательном собрании, а затем членом Совета старейшин. Отец Каролины, Франсуа Петиньо, советник лиможского суда, умер в 1825 году. Еще в юности эта романтическая, порывистая и честолюбивая девица до-

ставила немало беспокойства своим почтенным родителям. Она заявляла, что питает ужас к провинциальной жизни и презирает буржуазные предрассудки. «Провинциал,— писала она в новелле, напечатанной в «Кроник де Пари»,— ничего в жизни не изведаль, ничего не переживал, кроме убытков или наживы, а потому его отношения с людьми сухи, однообразны и существование его лишено поэзии».

Слушая такие речи, советник суда решил, что Каролину нужно срочно выдать замуж. В мужья выбран был Жак-Сильвестр Марбути, секретарь суда, неказистое и чахлое существо, зато сын королевского прокурора и владелец имения. В 1823 году, ко времени бракосочетания, жениху было тридцать два года, невесте — девятнадцать. В девичестве Каролина сочиняла стихи, а теперь, неудовлетворенная своим супружеством, принялась писать романы. Так как в Лиможе у нее был открытый дом, то скоро там составилась и литературный салон. После вкусных обедов гости, скромные поклонники хозяйки дома, обычно просили ее прочесть свои стихи. Поэтессу осыпали похвалами и прозвали ее Лиможской Музой. Во время этих литературных чтений, совсем не лестных для супруга, так как Лиможская Муза описывала в стихах свои томления и разочарования, он всегда выходил из гостиной.

Королевский прокурор и его супруга язвительно упрекали невестку за то, что она «принимает всякий сброд», «слишком нарядно» одевается и разыгрывает из себя «выдающуюся женщину». Хотя за госпожой Марбути многие ухаживали, она до двадцати восьми лет оставалась верна секретарю суда, что казалось героическим подвигом. Но в 1831 году в городе появился Гийом Дюпюитрен. Этот знаменитый врач, главный хирург самой старой парижской больницы, член Академии, получивший от Людовика XVIII титул барона, был родом из Лимузена. Великие люди, если их снедает политическое честолюбие, стараются извлечь для себя выгоду из своих провинциальных связей. Барон Дюпюитрен выставил в департаменте Верхняя Вьенна свою кандидатуру на выборах в парламент и провел месяц в Лиможе, в доме Марбути. Миловидная Лиможская Муза предложила приезжей знаменитости перезнакомить его со всей местной знатью и была ослеплена его умом. Он советовал ей, какие книги читать, и, как она

говорила, «угадывал ее самые сокровенные думы». Дюпюитрен пользовался большим успехом у женщин, он без труда одержал победу над Провинциальной Музой. Что касается выборов, то он и тут был вполне уверен в успехе, так как его конкурентом оказался какой-то незаметный сельский лекарь. «Он наивно полагался на свои достоинства и на свою известность... — пишет о нем Анри Мондор. — Но, как водится, гениальный человек потерпел поражение — его победил „свой парень“».

Уязвленный Дюпюитрен уехал и больше уже не возвращался в Лимож. Каролина помчалась в Париж, якобы желая показаться врачам, и заглянула в Ла-Рошель (в окрестностях которой у ее родителей было имение), желая встретиться там с господином Сандо. Несчастный Жюль Сандо, носивший на перевязи свое сердце, разбитое Жорж Санд, удостоился милостей Лиможской Музы. Пример Авроры Дюдеван кружил тогда головы всем провинциалкам из породы «синих чулок», мечтавшим о славе и любви. Каролина Марбути, боясь, что ее талант покроется ржавчиной в Лиможе в постоянном общении с невеждой супругом, в конце концов получила от этого благодушного человека разрешение жить в Париже под благовидным предлогом обучения дочерей. Она рассчитывала возобновить роман с Дюпюитреном, но тот твердо решил не превращать мимолетное приключение в длительную связь, стесняющую его свободу; он дал понять Каролине, что порядочный человек не должен компрометировать замужнюю женщину. Пресыщение и лукавство богаты добродетельными оправданиями. Кто мог теперь утешить Музу? Жюль Сандо? Не велика фигура! Каролина оставила его при себе в качестве друга, но решила поведи охоту на более крупную дичь. Сент-Бёв, критик, к которому прислушивались, мог ей пригодиться. Она пригласила его к себе. «Он был низенький, хилый, тощий, неловкий, — вспоминала она впоследствии. — Подслеповатость и крайняя робость придавали его походке какую-то странную неуверенность. Словом, сущая карикатура...»

Оставался Бальзак, друг женщин и последняя их надежда. Каролина Марбути слышала о нем еще в Лиможе от своей приятельницы Люсиль Ниве (урожденной Туранжен), сестры Зюльмы Карро; его книги Каролина читала с восхищением. Она написала ему несколько писем, но не осмелилась послать их, а в 1833 году даже

отправила ему послание, которое, однако, не дошло до него. Но после того как Сандо поселился у Бальзака, встретиться с великим человеком уже не представляло труда. Госпожа Марбути была приглашена к обеду на улицу Кассини, а затем попала в число сотрудников «Кроник де Пари». Она была болтлива, откровенна, вся как на ладони, и ее признания, которые она щедро расточала, забавляли Бальзака, интересовавшегося психологией провинциалов. Уезжая в Турень, он предложил госпоже Марбути взять ее с собой и обещал показать ей старинные замки на Луаре; она отказалась.

Бальзак — Эмилю Реньо, Саше, 27 июня 1836 года:

Настоящим сообщаю вам, старый воробей, что сотня франков или пятьдесят экю были бы весьма полезны вашему покорнейшему слуге, сидящему на мели, так как, закончив «Музей древностей», а возможно, и завершив «Се человек», я очень хотел бы насладиться путешествием и по дороге осмотреть Шенонсо и Шамбор... Как поживает Жюль? Не забывайте также о Бетюне и Левеле. Вы можете даже полюбоваться нежным пушком, который я заметил на свежих щечках прекрасной госпожи Марбути, при желании эта прелестная дама могла бы осмотреть вместе со мной замки Турени, и, право, ей не пришлось бы сожалеть, что она дала согласие на такое прекрасное путешествие.

Через месяц ему представился превосходный предлог для эскапады в обществе Каролины: поездка в Турин в связи с хлопотами по делу о наследстве, доставшемся Гидобони-Висконти. На этот раз Лиможская Муза согласилась. В ее распоряжении было пятьсот франков для участия в расходах. Во избежание скандала она должна была переодеться в мужское платье и выдавать себя за секретаря или пажа Бальзака.

Пример подобного переодевания опять-таки подала Жорж Санд. Каролина Марбути, очарованная владелицей Ноанского замка, решила во всем подражать ей. Портному Бюиссону, который шил на Бальзака в долг, заказали необходимое дорожное платье и для Каролины. В день отъезда она явилась на улицу Кассини с баулом, в котором лежало только одно женское платье и белье на неделю. Во дворе уже стояла карета, запряженная почтовыми лошадьми. Сандо и Бальзак ждали госпожу Марбути. Она поднялась наверх переодеться, а когда спустилась в мужском сюртуке, с решительным видом поигрывая хлыстом, оба нашли ее очаровательной. Жюль Сандо смотрел, как она уезжает с Бальза-

ком, и испытывал некоторое чувство ревности. Такова уж была его участь: завидовать чужому счастью, ибо природа создала его неудачником.

*Каролина Марбути — госпоже Петиньо де Лакост, Турин,
2 августа 1836 года:*

Дата и место отправления моего письма, конечно, удивят тебя, дорогая матушка. Ты ведь и не подозреваешь, что я в Италии, в двухстах лье от моего обиталища. Сейчас я все объясню, но только тебе одной. Лишь ты одна будешь посвящена в тайну моего путешествия, и я рассчитываю, что ты не выдашь меня...

Итак, приступаю к рассказу. Через Жюля я, а также Нана¹ получили приглашение Бальзака пообедать у него. Я замыслила так, что в тот день, когда мы встретимся с ним, я должна его обольстить. Вся моя воля была напряжена, и мне это удалось — я его *магнетизировала*.

Несколько дней спустя он (Бальзак) навестил меня; он собрался поехать в Турень, а по возвращении — в Италию... В Турени он жалел, что меня с ним нет, и, вернувшись в Париж, предложил мне поехать с ним в Турин, оттуда в Геную, а может быть, и во Флоренцию. Я долго колебалась, но уступила. Какое прекрасное путешествие! Выехать из Парижа в почтовой карете и через пять дней оказаться в Турине, перебравшись через Альпы в Мон-Сени и спустившись к монастырю Гранд-Шартрез! Я думала о тебе. Ты ведь тоже совершила такое путешествие. Мне вспомнились твои рассказы о нем. И я поняла, какие восторженные впечатления оно оставило у тебя.

Я одна с Бальзаком, без слуги. Мне пришлось одеться мужчиной, и мужской костюм, который, кстати сказать, мне к лицу, восхищает меня. В нем никто меня не узнает, в нем чувствуешь себя бесконечно свободно и можешь позволять себе очаровательные вольности, которые нам, женщинам, в новинку. Все это мне, оригиналке, по душе. В Турине я слышу секретарем Бальзака. Он очень меня любит и окружает заботами. Но, к сожалению, я больна. Никогда счастье не бывало у меня полным. Мои печальные недомогания возвратились, да еще и усилились. Я их скрываю как могу, но в дороге они очень меня беспокоили. Уже месяц я страдала от них в Париже, и лишь свойственная мне храбрость побудила меня пренебречь этим противным состоянием, хотя от утомительной дороги все могло осложниться. Этого не случилось, мне даже стало немного лучше.

Как и все выдающиеся люди, Бальзак очень занят *своими идеями* и не отличается любезностью. Но у него столько внутренней силы, такой могучий ум, столько превосходства во всем его существе, что он мне нравится. Наружность у него нехороша, лицо красиво своей одухотворенностью, но очень странное.

Живем мы по-княжески. Бальзак рекомендован депешами из посольства, благодаря чему он завязал отношения с самым лучшим

¹ Анна де Массак (псевдоним Сидонии Гас) — близкий друг Каролины Марбути и Жюля Сандо. Она вместе с ними жила в Ла-Рошели.— *Примеч. автора.*

обществом. Сегодня он обедает у одного сенатора; к десяти часам я должна приехать за ним в коляске, это в двух лье от Турина, и я уже заранее радуюсь поездке в открытом экипаже прекрасным летним вечером. Впрочем, коляска всегда в моем распоряжении.

У меня великолепные комнаты, и уход за мной превосходный. Все это тем более замечательно, что у Бальзака нет ни гроша, что он весь в долгах и только ценою невероятного труда поддерживает свое положение на грани роскоши и финансового краха, ежедневно угрожающего ему.

Он находит, что у меня «много способностей», как он говорит, и хочет попробовать привлечь меня к работе, которая может дать двадцать тысяч франков доходу. Но следует тебя предупредить, что он вообще полон всяких проектов и с ним нельзя строить расчеты на будущее! Я и рассчитываю очень мало. Он предполагает писать вместе со мной пьесы для театра...

После смерти Бальзака госпожа Марбути сочинила рассказ об этом путешествии, заявив, что повествование это ей «продиктовано духом» умершего. В ее заметках есть некоторые дополнительные подробности. Оказывается, например, что в монастыре Гранд-Шартрез, куда они ездили на мулах, монахов не обмануло переодевание Каролины, и они впустили только одного Бальзака. Немного дальше ее взгляд привлек ручей. «Ах, как бы хорошо было в нем искупаться!» — воскликнула она. И вот какими словами она в своем сочинении заставляет «тень Бальзака» рассказать эту сцену:

Выбрали самое удобное место. Вас сняли с мула, и вы пробрались через кустарник к ручью, позлащенному длинными лучами солнца, проникавшего меж древесных стволов... Я мог наконец помочь вам позабавиться купаньем и сам принять в нем участие. *Mia saга*¹, вы отказывались войти в воду, пока я не удалюсь; а вы были так утомлены, купанье могло освежить вас: седло вашего мула дорогой причиняло вам страдания, как вы сказали. Но если б я не поклялся отойти подальше, вы отказались бы от купанья, столь вам необходимого... Воля ваша была непоколебима. Мне пришлось уступить. Не стану говорить здесь, как я не хотел расставаться с вами и какие дивные мечты навевало мне воображение в минуты моего отсутствия! Я, по-видимому, напугал вас. Вы сняли только брюки и присели в быстро текущей воде, под защитой сюртука, оберегавшего вас от всех взглядов... вы оставались в воде лишь несколько мгновений. Я обещал отойти далеко, но как сдержать это обещание? Я поискал (и нашел) окольную тропку. Надеюсь застигнуть вас врасплох, я потихоньку свернул на нее. Но вы опасались моего непослушания, лишь раза два вы погрузились в воду, и, когда я предстал перед вами, вы были уже одеты. Я опоздал.

¹ Моя милая (ит.).

В Турине, прекрасном городе с величественными улицами, странная пара остановилась в гостинице «Европа». Им отвели лучшее помещение. «Секретарь Марсель» занимала парадную спальню, где, к удивлению Каролины Марбути, кровать, отличавшаяся королевской роскошью, возвышалась на подмостках. Более скромная спальня Бальзака сообщалась с этим покоем, но интимных посещений меж соседями не было, и Каролина так объясняла это матери:

Я оговорила себе право на свободу. Нас должна связывать только простая и чистая дружба. Остальное будет зависеть от прихоти, если мне вздумается. Я почитаю себя счастливой, что сумела внушить любовь такого рода, которая редко встречается вообще, а тем более в наше время. Лишь художники могут понять ее; а кроме них, никто во всей нации и не подозревает, что она возможна. Достаточно ли свободы у женщины, наделенной художественной натурой, для того, чтобы искать и встретить такую любовь?

Во мне нет восторженности. Мои взгляды на любовь очень изменились с тех пор, как я узнала действительность, а также характер, потребности и натуру выдающихся людей. Любовь вызываешь только в том случае, когда умеешь подавлять свои чувства и сохранять ясность ума. Как раз это и произошло со мною в нынешних обстоятельствах. Но буду ли я всегда достаточно владеть собой? Вот вопрос.

У Бальзака добрая душа, ровный характер и порядочность, присущая выдающимся людям, но он больше занят будущим и больше поглощен честолюбием, чем любовью и женщинами. Любовь для него — физическая потребность. А вне этого вся его жизнь в труде. Всегда ли мне будут приятны такие условия? А главное — удовлетворяют ли они мою жажду любви? Боюсь, что нет. Но такова жизнь, и надо принимать ее такою, какая она есть...

Через шесть лет после этой эскапады, когда Бальзак напечатал в 1842 году «Гренадьеру», он посвятил этот рассказ *Каролине. Поэзии путешествия признательный путешественник*. Госпоже Ганской он писал:

Поэзия путешествия была только поэзией, и ничем иным. Я вам простодушно расскажу все, что было, а когда вы приедете в Париж, покажу вам ее — в наказанье. Право, никогда меня не привлекали женщины, подобные госпоже Ламартин, при виде которых приходят на память стихи из старой комедии:

Ах, кавалер, будь плут я продувной,
Коль этот длинный нос не сизо-голубой.

Этими стихами я насмешил всю гостиную, когда у меня спросили мое мнение.

Кстати сказать, *сара дива*¹, это близкая подруга госпожи

¹ Божественная (ит.).

Карро. С тех пор я не видел ее. Должен признать, что у нее прелестный ум.

Чужестранке редко сообщалась правда, но Бальзак и Каролина, каждый в своем кругу, весьма решительно утверждали, что за время их путешествия, длившегося двадцать шесть дней, они не стали любовниками. Быть может, эта «сципионова воздержанность», как говорит Бальзак, объяснялась недомоганием мнимого Марселя. Как бы то ни было, они остались приятелями и весело вспоминали о своей поездке.

Помните наши очаровательные завтраки в нижней столовой, где огромные, широко открытые окна выходили на балкон, уставленный цветами?.. Яркое солнце Италии играло на наших приборах, на прекрасно сервированном столе. Все кушанья уже были приготовлены и поданы заранее, для того чтобы слуги не мешали нам. Превосходная рыба, смоквы, итальянское белое вино, такое легкое, приятное, великолепные фрукты...

Бальзак действительно жил на широкую ногу в роскошной гостинице и пользовался вниманием высшего пьемонтского общества. Он заранее принял меры к тому, чтобы с ним обращались как с важной особой, привез рекомендательные письма от графа Аппоньи, австрийского посла в Париже, и от маркиза Бриньоля, посланника Сардинии. В Турине граф Федерико Склопи ди Салерано; весьма образованный человек, почувствовал к нему большую симпатию и через свою мать ввел его в самые приятные салоны. Таким образом Бальзак познакомился с маркизой Сен-Тома, со знаменитым аббатом Гадзера, известным археологом¹, с маркизой Бароль, урожденной Кольбер, которая дала приют Сильвио Пеллико, когда он вышел из казематов Шпильберга; познакомился он также с графиней Сансеверино, урожденной Порчия,— словом, с очень многими образованными, весьма изысканными и приятными людьми. Бальзак попросил графиню Сансеверино сообщить ему несколько итальянских бражных слов XVI века для его рассказа «Тайна Руджери».

Что касается Каролины, то, вопреки опровержениям Бальзака, Турин принял ее за Жорж Санд, и она пользовалась почетом. В прощальном письме графа Склопи Бальзаку говорится о ней: «Прошу вас, не по-

¹ Аббат Константино Гадзера (1779—1859) — библиограф, археолог и литературный критик.— *Примеч. автора.*

забудьте, пожалуйста, передать от меня привет вашему прелестному спутнику. Мужской пол не посмел бы строго потребовать его в свой стан, боясь потерять его в другом лагере».

Бальзак ответил:

Что касается моего спутника, то он посылает вам тысячу поклонов... Эта прелестная, умная и добродетельная женщина... воспользовалась возможностью удрать на двадцать дней от домашних неприятностей и положила на меня, веря, что я нерушимо буду хранить ее тайну... Она знает, что я люблю другую, и видит в этом чувстве самую верную гарантию...

Однажды вечером Марсель-Каролина сбросила свой сюртук и появилась у маркизы Сен-Тома «в восхитительном женском наряде, простом, элегантном и вполне парижском». Она имела полный успех. «Все на ней было изящно, вплоть до маленькой шляпки «бебе», которую тогда носили». Серьезный и благочестивый Сильвио Пеллико провел весь вечер подле Каролины.

Однако Бальзак не терял из виду цели этой поездки, то есть наследства графа Гидобони-Висконти, который финансировал столь приятное путешествие. Склопи свел его со стряпчим Луиджи Колла, ученым-юристом и большим любителем ботаники. «У него был сад в Риволи, где он выращивал редкие растения, посвящая садоводству каждое мгновение, которое мог похитить у суровых обязанностей судейского чиновника», — писал Анри Приор. Колла пригласил Бальзака посмотреть его теплицы. Госпожа Марбути, одетая в мужской костюм, сопровождала писателя. Исследователи справедливо полагают, что это посещение использовано Бальзаком для одной из сцен «Музея древностей», в которой герцогиня де Мофриньез в костюме «светского льва», с хлыстом в руке, прогуливается со старым судьей Блонде «среди милых его сердцу цветов, кактусов и пеларгоний». В нужную минуту романисту вспомнилась картина, которую ему понадобилось нарисовать.

Луиджи Колла и его сын Арнольдо, тоже стряпчий, приложили немало усилий, чтобы претензии Гидобони-Висконти восторжествовали. Дело оказалось сложным, у графа был единоутробный брат (Лоран Константен) и несовершеннолетний племянник, родившийся от брака его покойной сестры Массимиллы с бароном Франческо Гальванья. Бальзак еще долго вел переписку с отцом и сыном Колла, которые усердно боролись с медлитель-

ностью пьемонтского судопроизводства. Чета Гидобони-Висконти выбрала деятельного посредника. Бальзак с удовольствием продлил бы свое пребывание в прелестном городе Турине, но все же Склопи получил от него рассудительную и грустную записку: «Двадцать дней — срок волшебства хрустальной туфельки Золушки — истекли. Марселю пора снова надеть диадему женщины и расстаться с хлыстом студента...» Возвратившись в Париж через озеро Лаго-Маджоре и Женеву, он в письме поблагодарил своих итальянских друзей.

Бальзак — графу Склопи де Салерано, 1 сентября 1836 года:

Дорогой граф, мы с Марселем совершили очень утомительное путешествие, ведь нам так много надо было посмотреть: озеро Лаго-Маджоре, озеро Орта, Симплонский перевал, Сьонскую долину, Женевское озеро, Веве, Лозанну, Вальселину, Бурк и его прекрасную церковь; у нас просто времени не хватало, и мы лишили себя сна. Мы тщетно искали вас в Женеве. Бродили для этого в обычных местах прогулок. «Нигде нет Склопи!» — восклицал Марсель...

Я опять зажил жизнью литературного каторжника. Встаю в полночь, ложусь в шесть часов вечера. Восемнадцать часов работы, но даже этого мало для моих обязательств. Контраст между таким прилежанием и *рассеянной жизнью*, которой я позволил себе жить *двадцать шесть дней*, производят на меня странное действие. В иные часы кажется, что все это мне приснилось. И думается: да уж существует ли на свете Турин, а потом вспомню, как вы радушно принимали меня, и говорю себе: нет, то вовсе не был сон.

Умоляю вас во имя начавшейся нашей дружбы, которая, надеюсь, в дальнейшем возрастет, понаблюдать за *procillon*¹ и за нашим славным адвокатом Колла, которому прошу передать привет не столько от его клиента, сколько от почитателя его прекрасных и благородных качеств. Пусть он прислушивается левым ухом² к тому, что говорят интересы супругов Гидобони-Висконти.

Если будете писать мне, вложите письмо в двойной конверт, адресуйте письмо вдове Дюран, Париж, Шайо, улица Батай, 13. Это мой уединенный и тайный уголок — национальная гвардия (в мое отсутствие они приговорили меня к десятидневному тюремному заключению), да и никто другой не знает, что я там нахожусь, и не докучает мне. Ах, как бы я хотел через полгода снова спуститься по перевалу Мон-Сени! Но надо произвести на свет много томов пагубных сочинений, мучительных фраз... *Addio*³.

Интерлюдия была короткой, но дала радостное отдохновение. Луч солнца меж двумя бурями...

¹ Маленьким процессом (ит.).

² Луиджи Колла был глух на правое ухо.— *Примеч. автора.*

³ Прощайте (ит.).

Версия, придуманная для госпожи Ганской, получила слащавый привкус.

Я воспользовался предложением поехать в Турин, так как хотел оказать услугу человеку, с которым абонирую ложу в Итальянской опере, — некоему господину Висконти. У него судебный процесс в Турине, а поехать туда сам он не мог... Возвращался я через Симплонский перевал, попутчицей моей была приятельница госпожи Карро и Жюля Сандо. Вы, конечно, догадываетесь, что я жил (в Турине) на пьядца Кастелло, в вашем отеле, и что в Женеве... я вновь увидел Пре-Левек и дом Мирабо... Только вы и воспоминания о вас могут утешить мое скорбящее сердце...

Эскапада превратилась в паломничество.

XXIII

СМЕРТЬ ГОСПОЖИ ДЕ БЕРНИ

Ни одна женщина, поверьте мне, не пожелает соседствовать в вашем сердце с умершей, чей образ вы там храните.

Бальзак

Возвратившись в Париж, он узнал печальную новость: 27 июля 1836 года умерла госпожа де Берни. Александр де Берни написал Бальзаку: «Шлю скорбное известие, дорогой Оноре: после десятидневных, очень острых нервных болей, приступов удушья и водянки матушка скончалась сегодня в девять часов утра...» Но если мы даже знаем, что дорогие нам люди обречены и конец их близок, мы всегда надеемся, что они проживут столько же, сколько и мы. Бальзак привык к тревоге, которую давно уже вызывала серьезная болезнь госпожи де Берни. Теперь, в час печали, он упрекал себя за то, что не был возле нее. Но когда она потеряла своего сына Армана, умершего 25 ноября 1835 года в Булоньере, она запретила Бальзаку появляться там. Он послал ей самый первый экземпляр «Лилии долины», отпечатанный для нее. В рукописи она уже читала роман. Она извела последнюю радость в жизни, перечитывая строки, которыми он воздал ей высокую честь.

Она стала для меня не только возлюбленной, но и великой любовью... Она стала для меня тем, чем была Беатриче для фло-

рентийского поэта и безупречная Лаура для поэта венецианского, — матерью великих мыслей, скрытой причиной спасительных поступков, опорой в жизни, светом, что сияет в темноте, как белая лилия среди темной листвы... Она наделила меня стойкостью доблестного Колиньи, научив побеждать победителей, подниматься после поражения и брать измором самых выносливых противников... Большинство моих идей исходят от нее, как исходят от цветов волны благоухания...

Она узнавала себя в каждом мелком штрихе этой книги. «Назидательное письмо» содержало самую суть тех правил, которые она долго пыталась внушить ему: «Все прекрасно, все возвышенно в вас, дерзайте же... Я... хочу, чтобы вы стали простым и мягким в обращении, гордым без надменности, а главное — скромным...»

Лора де Берни, приговоренная докторами и знавшая это, однако несколько раз подтверждала Бальзаку, что она запрещает ему приезжать в Булоньер. Она хотела, чтобы он видел ее только красивой и здоровой. Она притворно выказывала безмятежное душевное спокойствие, которое обманывало Бальзака, и он не думал о надвигавшейся опасности. Как раз в это время у него было по горло всяких хлопот: ликвидация «Кроник де Пари», переговоры с вдовой Беше, подготовка к путешествию в Италию. Он думал, что еще успеет побывать в Булоньере.

А между тем Лора хотела призвать его в последний свой час. Она держала роман «Лилия долины» у себя в постели и перечитывала сцену смерти госпожи де Морсоф. Ее Феликс де Ванденес придет к ней, он тоже облегчит своей любимой тяжкий путь к могиле... В романе Анриетта де Морсоф умирала, сожалея о радостях жизни, которые она отвергла; Лора де Берни не жалела о тех радостях, которые она дарила и получала. Она открыла, полюбила и сформировала гениального писателя. И она гордилась этим. Почувствовав, что конец близок, она попросила своего сына Александра предупредить Оноре и привезти его в Немур. Поездка Александра заняла двое суток. Лежа в своей спальне, откуда она видела только деревья и небо, она потребовала зеркало и убрала свои волосы. Она знала, что очень изменилась, но вспомнила, как Бальзак рисовал волнуящее, трогательное очарование умирающей женщины. Врачу она сказала: «Я хочу дожить до завтра». Но на следующий день Александр возвратился один. Он не мог найти Бальзака. Где же он? Скрывается

в одном из своих тайных убежищ? Нет, уехал в Италию. Лора де Берни чувствовала, что силы ее иссякли и она не доживет до его возвращения. Все кончено, больше она не увидит своего Оноре; теперь можно умереть. Она велела позвать аббата Грасе, приходского священника из Гретца, и вечером он причастил ее.

Своему сыну Александру она сказала: «Найди в моем секретере сверток, несколько раз перехваченный грубой шерстяной ниткой. В нем письма Оноре. Сожги их...» Сын обещал сделать это, и на следующее утро, лишь только госпожа де Берни скончалась, он бросил в огонь любовную переписку, длившуюся пятнадцать лет. Можно себе представить, как должен был сожалеть Бальзак, что таким образом исчезли лучшие свидетельства его творческих усилий в годы юности. Он писал Луизе, своей таинственной корреспондентке:

Женщина, которую я потерял, была для меня больше, чем матерью, больше, чем подругой, больше всего, чем один человек может быть для другого. Во время сильных бурь она поддерживала меня словом и делом и своей преданностью. Если я живу, то благодаря ей; она была всем для меня. Хотя уже два года как болезнь и время разлучили нас, мы и на расстоянии видели друг друга, и она воздействовала на меня: она была моим нравственным светочем. Образ госпожи де Морсоф в «Лилии долины» — лишь бледное отражение самых малых достоинств этой женщины и лишь отдаленно напоминает ее, ведь для меня ужасно осквернять свои волнения, выставляя их перед публикой; никогда не будет известно то, что происходило со мной. И вот среди новых бедствий, обрушившихся на меня, пришла еще и смерть этой женщины...

А на него действительно напали новые беды. Впервые, семейные горести: сын Лорансы, Альфред де Монзэгл, явился к ним голодный, без башмаков, без одежды; госпожа Бальзак, отдавшая остатки своего состояния Анри, возопила: «Оноре, сын мой, хлеба!» Сюрвили боролись против чиновников, как Бальзак против газет, в штыки встретивших «Лилию». Несчастной Лоре, «своей милой еретичке», мать давала советы искать утешения в религии.

Госпожа Бальзак — Лоре Сюрвиль, 3 мая 1836 года:

Да, верующие люди счастливее и лучше неверующих, следовательно, религия, раз она приводит к такому результату, необходима и является благом... Большое число и разнообразие религий доказывает, что у людей всегда была потребность иметь религию... Да, ангел мой, ты вступила в такую полосу своей жизни, когда моральная поддержка необходима... Да, да, любимая моя, ты знаешь молитвы, но ты не ведаешь счастья молиться... Душа твоя

еще не удостоилась благодати... Телесное спокойствие и чувство благополучия, которые ты испытываешь, когда я магнетизирую тебя, могут дать тебе лишь слабое представление о силе молитвы...

Казалось бы, сравнивать гипнотические пассы с благодатью совсем не благочестиво. Но госпожа Бальзак делала это с самыми благими намерениями. При всей своей бедности она все еще стремилась побаловать дочку: «Как только Оноре вручит тебе пятьсот франков (для меня), будь добра, уговори одну хорошенькую даму, которую я люблю больше жизни, взять из этой суммы сто франков и доставить мне удовольствие, купив себе в подарок от меня восемь метров кружев. Я этого хочу, это мать тебе приказывает...» Она говорила, что ненавидит всех противников сооружения каналов и, не будь она христианкой, свернула бы им шею.

А Бальзак заклинал госпожу Ганскую занять теперь место его умершей советчицы Лоры де Берни, которая проявляла столько мудрости и столько любви к своему Оноре.

Ее наследницей я делаю вас, вас, в которой так много благородства, вас, которая могла бы написать письмо, оставленное госпожой де Морсоф, да что говорить о нем — ведь это лишь несовершенное отображение постоянного влияния моей умершей вдохновительницы, а ее дело вы могли бы довершить. Только прошу вас, *saga*, не увеличивайте моих горестей постыдными сомнениями; поверьте, что человеку, обремененному тяжкими заботами, нетрудно снести клевету, и теперь мне надо на все махнуть рукою — пусть говорят обо мне что угодно. А из ваших последних писем видно, что вы поверили таким вещам, которые несовместимы со мной, а ведь, казалось бы, вы должны меня знать.

И он добавлял: «Не думаю, что я совершил кощунство, запечатав свое письмо к вам той печатью, которой пользовался в своей переписке с госпожой де Берни». Быть может, это не было кощунством, но, несомненно, оказалось ошибкой. Недоверчивая Эвелина не могла взять на себя ту роль, которую играла великодушная *Dilecta*. Гораздо больше способна была на это Зюльма Карро. Она горячо сочувствовала утрате Бальзака.

Госпожа Карро — Бальзаку, 7 октября 1836 года:

Я понимаю, какая глубокая рана в вашей душе, и вместе с вами оплакиваю ангельское создание, самых больших страданий которого вы и не ведали. Оноре, оказала ли ее смерть влияние на вас, на ваш образ жизни? У меня нет ее прав говорить с вами так, как говорила она, но нет у меня и ее стыдливой щепетильности,

так часто заставлявшей ее молчать. Несмотря на вашу просьбу не касаться таких предметов, я все же спрошу вас: разве в тот день, когда судьба нанесла вам столь жестокий удар, вы не поняли, что в жизни есть нечто более важное, чем перочинный нож ценою в восемьсот франков или трость, обладающая лишь тем достоинством, что она привлекает к вам взгляды прохожих? Подумаешь какая слава для автора «Евгении Гранде»!

Стойкая обитательница Фрапеля журила своего друга Бальзака. До какого ослепления довели его эти облака фимиама, эти светские дамы, эти изысканные денди! Он жалуется, что совсем разорен? А разве не он сам в этом виноват? За восемь лет не раз бывало, что он зарабатывал целое состояние, но долгов у него сейчас больше, чем в начале его писательского пути. Зачем мыслителю проживать такие большие деньги? Зачем ему гоняться за материальными удовольствиями? Разве можно по-настоящему творить, когда тебе приставили нож к горлу? «Оноре, какую жизнь вы испортили, какому таланту не дали развиться!»

Что касается испорченной жизни, она была права, но о таланте думала неверно. «Когда же, *dearest*¹, я увижу, что вы трудитесь ради самого труда?.. Вы написали бы тогда такие прекрасные, такие замечательные вещи!» Да ведь он и писал их! Несмотря на помехи, бури и излишества, творческий гений не покидал его. Недаром же он сообщал Ганской 1 октября 1836 года: «Для того чтобы вы знали, до каких пределов доходит мое мужество, я должен открыть вам, что «Тайна Руджери» была написана за одну ночь. Подумайте об этом, когда будете читать рассказ. «Старая дева» написана за три ночи. «Разбитая жемчужина», которой завершилась наконец повесть «Проклятое дитя», написана за одну ночь. Это мои битвы при Бриенне, Шампобере, Монмиреле, это моя Французская кампания».

«Старая дева», предназначенная для газеты «Ла Пресс», должна была скрепить одно довольно прохладное примирение. Жирарден писал Бальзаку 1 октября 1836 года: «Вы же знаете, дорогой Бальзак, что наш разрыв ни на минуту не поколебал давней дружбы, которую мы питали друг к другу... Я искренне привязан к вам и, мне кажется, доказал свою привязанность; а если я в чем-нибудь неправ перед вами, я охотно го-

¹ Дорогой (англ.).

тов признать это...» Тут сквозит благоразумие редактора газеты, не желающего лишиться сотрудничества автора, который имеет успех, а ведь как раз в это время газета «Ла Пресс» первая решила печатать у себя романы. Журналы уже давно публиковали романы по частям, но теперь пометкой «продолжение следует» задумали привлечь читателей и ежедневные органы печати, чтобы увеличить таким образом число своих подписчиков. Мысль эта принадлежала Жирардену. Бальзак был ему нужен как автор, любимый публикой, автор плодовитый.

Замысел романа зародился у Бальзака уже давно. Писатель, как зоолог, заинтересовался «особым видом животного мира — старой девой». Ему представлялось, что они, старые девы, мучительно переносят безбрачие, потому что женщины, нарушившие нормальное призвание своего пола, чувствуют себя обездоленными. Лучшие из них заглушают благотворительностью свои подавленные желания и сокровенные сожаления. Другие же становятся злыми, как Софи Гамар в «Турском священнике». Роза Кормон, богатая обывательница Алансона, жестоко страдала от своего «затянувшегося девичества». В сорок два года она мечтала о браке, о детях, и по утрам горничная удивлялась, что постель ее хозяйки «вся сбита, перевернута».

Роман откровенно физиологичен. Старая дева, томимая смятением чувств, колеблется в выборе между двумя претендентами на ее руку, которых привлекают ее богатство и пышный бюст. Один из женихов, шегалье де Валуа, престарелый дворянин и большой распутник, еще не прочь пошалить с хорошенькой прачкой Сюзанной; отличительная черта его внешности — огромный нос; достаточно было бы Лафатеру взглянуть на этот нос, чтобы признать в его обладателе склонность к любовности. Второй претендент, дю Букье, бывший поставщик провианта для наполеоновской армии, в молодости «злоупотреблявший наслаждениями», облысел и истрепался. Бедняжку Розу Кормон, ничего не понимавшую в таких делах, обманули широкие плечи и накладной хохол господина дю Букье. Сгорая на огне желаний и надежд, она вышла за него замуж, и ее постигло разочарование. А ведь она пренебрегла третьим поклонником, Атаназом Грансоном, молодым человеком двадцати трех лет, непонятым талантом, искренне влюбленным в Розу Кормон, очарованным ее мощными

прелестями. Атаназ Грансон — это Бальзак до встречи с госпожой де Берни, но Роза Кормон не пожелала играть роль вдохновительницы Грансона. Он покончил с собой — утопился в реке, орошающей Алансон. Госпожа дю Букье, святая женщина, «осталась глупа до последнего своего вздоха».

Бальзак писал «Старую деву» в тяжелых условиях. В сердце у него не стихала скорбь о Лоре де Берни; вдова Беше яростно преследовала его за долги; в работе у него было несколько вещей одновременно: «Тайна Руджери», фрагмент книги «О Екатерине Медичи» и повесть «Проклятое дитя» — трагическая история юноши, которого ненавидел родной отец, считая его приبلудным ребенком своей жены (для этого рассказа Бальзак использовал некоторые собственные наброски). Однако Жирарден не давал ему покоя. Начало «Старой девы» было напечатано в «Ла Пресс», когда конца романа не было еще и вчерне. Целомудренные подписчики жаловались в редакцию газеты, протестуя против слишком смелого проникновения Бальзака в область физиологии. Огромная грудь Розы Кормон их шокировала. Даже Лора Сюрвиль, казалось, была смущена. Ганская ничего не говорила и отказывалась заменить госпожу де Берни в роли литературной совести Бальзака. Критики насмеялись над его верой в теорию Лафатера и над притязаниями этой «науки» разгадывать сердце человеческое и пылкий темперамент по внешним признакам. Другие газеты, которым романы, печатавшиеся Жирарденом в виде «фельетонов с продолжением», грозили убытками, так как отнимали у них подписчиков, набросились на автора. Сам Бальзак был уверен, что он написал хорошую книгу, дал яркую, правдивую картину провинциального общества, оригинальные живые образы Розы Кормон и ее поклонников. Но в этой своей Французской кампании, в которой им было проявлено столько таланта, он оказался один, без союзников.

Зато какие блестящие арьергардные бои он вел на улице Батай, заново отделявая свою квартиру! Как будто не желая упускать случая поупражняться в мотовстве, он приказал изящно декорировать мансарду, чтобы там получилась комната «беленькая и кокетливая, как шестнадцатилетняя гризетка»; убранство же рабочего кабинета выполнено было в черных и красных тонах, и для этой комнаты он заказал «круговой диван»

с двенадцатью белыми подушками. В том году Антуан Фонтанэ встретил его в мастерской художника Луи Буланже — Бальзак позировал в белой сутане, скрестив руки на груди, и оживленно разговаривал. В дневнике Фонтанэ имеются следующие заметки:

Описание его белых сутан. Дома он не носит другого костюма, с тех пор как побывал в монастыре Шартрез. Он отдает сутану в стирку только один раз. Он никогда не сажает на них чернильных пятен. Вообще он очень опрятен в работе. Надо, кстати, посмотреть, как гармонируют эти сутаны с обстановкой его дома, там есть и розовые тона. Образцами кистей для гардин ему послужили церковные украшения. Церковь все делает на совесть. Он заказал себе свой знаменитый белый диван в ожидании визита некоей дамы из высшего света, и, уж понятно, ему нужен был красивый диван — дама привыкла к изяществу. И когда она очутилась на диване, то не выразила неудовольствия...

Действительно, «дама» — Сара Гидобони-Висконти — не выразила недовольства и часто приезжала в Шайо посидеть на пресловутом диване. Для госпожи Ганской, которой ее злобная и хорошо осведомленная тетушка сообщала об этой неверности Бальзака, он заказал (за счет господина Ганского) копию со своего портрета кисти Буланже, так как монашеское целомудрие созданного художником образа казалось ему успокоительным. «Я очень доволен, что Буланже удалось передать основную черту моего характера — настойчивость в духе Колиньи и Петра Великого, смелую веру в будущее...»

Он не только хранил веру в будущее, но и не терял своей склонности радоваться настоящему. Владелице Верховни он драматически описывал свою жизнь: свора кредиторов и свора журналистов преследуют его, угрожающе оскалив клыки, он полон скорби душевной, он изнурен. Все это было, увы, правдой. Однако рядом с этим пассивом нужно поместить в графе «актив» неизменную жизнеспособность Бальзака: он проигрывает ставку за ставкой, но инстинкт подсказывает ему, что все утрясется. Разве жизнь его не роман? Значит, он выправит его в корректуре. В тот самый день, когда ему пришлось занять на еду у доктора Наккара и у старика рабочего, «более доверчивого, чем светские люди», он покупает себе в долг новую трость за шестьсот франков. Чем больше его прижимают к стене, тем больше он покупает, желая создать иллюзию своего могущества. А впрочем, была ли это иллюзия? Бальзак

знал, что, как Вотрен, он найдет в себе силы бросить обществу вызов — и победить.

В начале 1837 года финансовое положение Бальзака кажется катастрофическим. Он должен на 53 000 франков больше, чем в 1836 году, — это отчасти объясняется крахом «Кроник де Пари». Впрочем, долги никогда его не пугали. Куда более опасным казалось его положение со стороны юридической. Он, человек, столь сведущий в судебной казуистике, допустил неосторожность — дал Даккету в уплату за его пай в «Кроник де Пари» векселя Верде. Однако Даккет, безжалостный делец, знал, что Верде обанкротился; он мог взыскать долг только с Бальзака, а так как Бальзак числился некогда «коммерсантом» (в те времена, когда был хозяином типографии и словолитни), то Даккет имел право потребовать, чтобы его, как несостоятельного должника, арестовали и посадили в долговую тюрьму. Таков был тогда закон. Бальзак видит опасность, но что ему делать? У него нет необходимой суммы, чтобы расквитаться с Даккетом. А кроме того, он болен: в городе холера и грипп. Несмотря на лихорадку, он заканчивает и правит первую часть «Утраченных иллюзий». Это еще только прелюдия к большому роману, однако Бальзак должен немедленно ее опубликовать — ему нужны деньги. Но какое это имеет значение? Он-то уже видит свою мозаику завершенной. Не беда, что несчастья и бедность заставляют его слишком рано положить краеугольный камень. В тот день, когда он снимет леса и откроет все свое творение целиком, обнаружится великолепное здание, кладка которого поражает единством рисунка.

А пока что приходилось скрываться от судебных исполнителей, преследующих его по иску Уильяма Даккета. По требованию безжалостного кредитора уже описаны знаменитое тильбюри и подушки с цветочным узором. Самого Бальзака приставу не удастся захватить. Где он? На улице Батай? Швейцар не знает господина Бальзака, квартиру снимает не он, а почтенная вдова, госпожа Дюран, но ее сейчас нет дома. Судебный пристав ломится в дверь, швейцар грозит притянуть его к суду за насильственное вторжение в чужое жилище, приставу приходится отступить, и тогда швейцар дает ему адрес: улица Прованс, дом 22. Оказалось, что Бальзак снял в этом доме комнату с мебелью, но не живет там. Пристав делает вывод: «Все с очевидностью дока-

зывает, что господин Бальзак стремится избежать преследований своих кредиторов... и для того снимает квартиры на чужие фамилии». Это несомненно, и господин Бальзак с чистой совестью оправдывает свое поведение. Разве не потому у него долги, что он хотел спасти нуждающихся людей? Разве он не помог когда-то бедному фактору типографии, а после него — слабохарактерному Жюлю Сандо, и вот совсем недавно — этому жалкому Верде? Разве он виноват, что постоянно наталкивался на тупиц и бездарностей? Бальзак забывает о своих нелепых тратах: тут и белый будуар, и трости, инкрустированные драгоценными камнями, и ливрея для кучера. Он искренне верит, что разорился на типографском деле, потому что хотел помочь фактору Барбье. Декламируя в свою защиту перед зеркалом, Бальзак видит в нем отражение ни в чем не повинного человека, которого эксплуатировали неблагодарные люди.

Эта охота с гончими, в которой Бальзак оказался дичью, изнурила его. Он чувствует, что у него «нет ни мыслей, ни сил, в душе тоска», он не может работать. Куда бежать от своры лающих псов? Приходит мысль попросить паспорт в Россию и поискать у Ганских «убежища на два года, бросив свою репутацию на растерзание глупцам и врагам». И вновь на помощь пришло благодетельное вмешательство супругов Гидобони-Висконти. Их претензии по наследству все еще разбирались в Италии, но теперь уже в Милане. Получив от Висконти доверенность на ведение дела, Бальзак спешно выехал, на этот раз один. Его доверители оплачивали ему дорогу, а в случае успеха он должен был получить некоторую часть выигранной в суде суммы.

По одну сторону Альп он — преследуемый должник, а по другую — триумфатор. В Милане его встретили как литературного льва. Правда, женщины, обожавшие писателя, но никогда его не видевшие, были несколько удивлены, что у него красное лицо, «бычья шея, повязанная какой-то скрученной ленточкой, изображавшей галстук, густая шевелюра, осененная широкополой фетровой шляпой», но его «взгляд укротителя хищных зверей» производил обычное свое впечатление. Бальзаку предшествовала легенда о нем. В миланских гостиных только и было разговоров, что о его необыкновенных тростях, о его белой сутане, о его желтых перчатках, а главное — о его романах. Италия умеет чтить худож-

ников. Вся итальянская аристократия приветствовала Бальзака.

Он прибыл 19 февраля 1837 года и остановился в гостинице «Прекрасная Венеция». Графиня Сансеверино рекомендовала его своему брату Альфонсо Порчия и своей приятельнице Кларе Маффеи, а княгиня Бельджойозо — своим родственникам Тривульдзо, Литта и Аркинто, семейство Аппоньи — австрийским властям, и таким образом он тотчас получил столько приглашений, что не все мог принять. Графиня Клара Маффеи, совсем еще молодая и очень образованная женщина, собирала у себя и светских людей, и людей искусства и науки; Бальзаку доставляло удовольствие осматривать дворцы и музеи в обществе изящной, тоненькой, миниатюрной и грациозной *сага contessina*¹. Он не мог видеть хорошенькой и приветливой женщины, чтобы не попытать счастья, и стал таким частым гостем у «маленькой Маффеи», что ее супруг прочел ей нотацию, хотя сам жил по-холостяцки.

Все глаза устремлены на этого знаменитого иностранца; всем известно, что он проводит в нашем доме целые часы и утром, и вечером... Ты читала его романы и должна понять, как хорошо он знает женщин и тонкое искусство обольщать их... Добавь к этому, что в Париже он вел весьма рассеянную жизнь и был известен как распутник и безнравственный человек. Не думай, что его безобразное лицо может послужить тебе ко спасению, ты слишком неопытна... Вспомни, моя крошка Клер, что ты кумир всего Милана...

На самом же деле ничего серьезного между ними не было, этот легкий флирт скрасил жизнь писателю в Милане.

Кроме Клары Маффеи, любимцами Бальзака в Милане были князь Порчия и его возлюбленная графиня Болоньини. Почти супружеская нежная привязанность этих любовников трогала Бальзака. «Ах, если бы мне выпало счастье быть настолько любимым женщиной, чтобы она согласна была жить со мной!» — писал он в поучение Евы Ганской. Князь Порчия старался сделать для него приятным пребывание в Милане, предоставил в его распоряжение свою коляску и ложу в Ла Скала. Стендаль описывал, каким раем был тогда этот театр. Все знатные семьи имели там абонемент, и на спектаклях зрители наносили друг другу визиты, переходя из ложи в ложу. Естественность, добродушие, ко-

¹ Милой графинечки (ит.).

роче говоря, искусство быть счастливым, придавали удивительную прелесть миланской жизни. Можно себе представить, как наслаждался Бальзак этой жизнерадостностью после парижского злопыхательства.

Пресса приняла его превосходно: «„Видели вы северное сияние? А господина Бальзака вы видели?“ Вот два вопроса, которые неизбежно задает вам всякий в эти дни. Но северное сияние почти уже позабыто, а имя господина Бальзака у всех еще на устах...» Хвалили его остроумие, живость в разговоре и даже его скромность! Был только один неприятный случай: какой-то вор, притворяясь, что обнимает Бальзака, украл у него часы с репетицией и золотой ключик, которым они заводились. Но друзья Бальзака энергично повели кампанию в защиту его интересов, злоумышленник был схвачен в тот же вечер, и Бальзаку возвратили его прекрасные часы. Миланский ваятель Алессандро Путтинати в знак приязни к нему сделал статуэтку — скульптурный портрет писателя. Все хорошенькие женщины приносили ему свои альбомы, и он великодушно писал в них. Кларе Маффеи он начертал: «В двадцать три года все будущее впереди!» Его повели к великому Мандзони. Свидание вышло неудачным: Бальзак не читал «Обрученных» и говорил с их автором о криминологии. Гении рождаются под одним и тем же знаком Зодиака, а по сему не привлекают друг друга.

Что касается судебного процесса Гидобони-Висконти, то тут перспективы были не блестящие. После госпожи Константен осталось три наследника: сын ее от первого брака — граф Эмилио Гидобони-Висконти, друг Бальзака; внук ее Гальванья (мать которого умерла раньше бабушки) и Лоран Константен — сын покойной от второго брака. В завещании она разделила половину своего состояния между тремя наследниками; а вторую половину завещала целиком своему последышу и любимцу — Лорану. Спорная часть наследства была невелика — 73 760 миланских ливров. Бальзак, достойный ученик нотариуса Гийоне-Мервиля, доказывал в суде, что, став по второму браку французской подданной, госпожа Константен должна была уважать французские законы о правах наследования и, значит, ее завещание недействительно. В конце концов он добился мировой сделки и отвоевал 13 000 ливров, каковую сумму надлежало разделить между графом Эмилио и несовершеннолетним

Гальванья. Да еще надо было вычестить из нее 4000 ливров на оплату путевых издержек Бальзака и на гонорарстряпчему.

Для того чтобы соглашение утвердили, нужно было получить согласие барона Гальванья, зятя госпожи Константен и отца несовершеннолетнего наследника. Он жил в Венеции. Бальзак рассудил, что путем переписки дела никогда не закончить, и сам отправился в город дождей. Он приехал туда в унылый, дождливый день и остановился в гостинице «Альберто Реале» (в наши дни она называется «Отель Даньели»), где в роскошную обстановку номеров входило даже фортепиано. Бальзак занимал, не зная этого, те самые апартаменты, в которых в 1834 году жили Жорж Санд и Мюссе. Бальзак писал Кларе Маффеи: «Если позволите мне говорить искренне... признаюсь вам без фатовства и пренебрежения, что Венеция не произвела на меня такого впечатления, какого я ожидал». Художники-жанристы, добавлял он, столько раз преподносили нам и *la Piazza* и *la Piazzetta*¹, изображенные в настоящем или выдуманном свете, «что подлинная их картина меня не взволновала и мое воображение можно было уподобить кокетке, которая устала от всевозможных видов головной любви и, когда сталкивается с настоящей любовью — той, что обращается к голове, к сердцу и к чувствам, — причудницу несколько не затрагивает эта святая любовь...».

Он пишет также (ибо и в венецианском путешествии он занят был ухаживанием за *contessina* Маффеи): «Я отдал бы всю Венецию за один славный вечерок, даже за один час, за четверть часа удовольствия посидеть у вашего камелька... Я видел здесь целую уйму *contessina* Маффеи в виде великого множества статуэток... но не всякой статуэточной красавице удастся походить на Клару Маффеи, и, только когда мраморная головка мне очень понравится, я «маффеизирую» ее...» Он и в самом деле разыгрывал страсть к *piccola*² Маффеи, но ведь разыгрывать страсть — это значит

¹ *La Piazza* — площадь (ит.). Так называют в Венеции площадь Святого Марка. *La Piazzetta* — примыкающая к ней небольшая площадь.

² Маленькой (ит.).

и немного чувствовать ее, не правда ли? Говоря о таком чудесном изобретении, как венецианская гондола, он добавляет: «Но, признаться, я в отчаянии, что не могу прокатиться в гондоле с дамой моего сердца...» А дамой его сердца была тогда не версальская Contessa, а миланская Contessina. Uomo è mobile¹.

Два дня спустя засверкало солнце, и Венеция наконец привела Бальзака в восхищение. Однако тут его встретили далеко не так тепло, как в Милане. Газеты стзывались о нем иронически, почти враждебно, потому что он не счел нужным поухаживать за мелкими литераторами, и граф Туллио Дандоло послал в «Gazzetta di Venezia», неприличную статейку об одном обеде с Бальзаком. Зато возложенное на Бальзака поручение было выполнено с успехом. Барон Гальванья дал согласие на любовную сделку, и Бальзак выплатил ему долю его сына — 4500 ливров. На следующий день он выехал в Милан.

Представления Бальзака об Италии и об итальянцах очень изменились за время его второго путешествия в эту страну. Прежде он изображал итальянок женщинами легкомысленными. После 1837 года он будет видеть в них образец верности, если не супружеской, то по крайней мере верности в любви. Его друзья — красавицы Клара Маффеи и Евгения Болоньини — вызывали у него чувство восторга и уважения. «Француженка невероятно серьезно относится к вопросам приличия, а итальянка мало о них заботится, не защищается ни малейшей чопорностью, так как знает, что находится под покровительством единой своей любви, священной как для нее, так и для других...» В этом Бальзак согласен со своим другом Бейлем.

Он рассчитывал вернуться во Францию через Геную. Но в Генуе он неожиданно попал в карантин, и ему пришлось выдерживать срок в ужасном помещении, которое «не годилось бы даже быть тюрьмой для разбойников». Там Бальзак встретился с генуэзским коммерсантом Пецци, который рассказал ему о деле, сулящем сказочное богатство: древние римляне, разрабатывавшие серебряные рудники в Сардинии, оставили в отвалах целые горы породы, которую они при тогдашнем уровне техники не могли использовать. В выброшенной сребро-

¹ Мужчина изменчив (ит.).

носной свинцовой руде дремали миллионы. Бальзака привела в восхищение мысль об этой исторической и романтической спекуляции, и он решил в самое ближайшее время пробудить спящие миллионы. Путешествие освежило его душу и дало отдых мозгу. Теперь его уже тянуло к перу и чернильнице. Пробыв некоторое время во Флоренции, где он упивался живописью, он вернулся на почтовых в Милан, затем в двадцатипятиградусный мороз перебрался через перевал Сен-Готард, где снег лежал сугробами в пятнадцать футов высотой. «Хотя у нас было одиннадцать проводников, я не раз подвергался смертельной опасности и едва не погиб». Надо, конечно, учитывать склонность Бальзака к преувеличениям, а может быть, это была просто «страшная сказка», предназначенная для Евы Ганской...

Бальзак — госпоже Ганской, 10 мая 1837 года:

Вот я и вернулся к своим трудам. Одно за другим опубликую теперь «Цезаря Бирото», «Выдающуюся женщину» и «Гамбара», закончу «Утраченные иллюзии», потом «Всесильный банк» и «Художников». А затем полечу на Украину, где мне, может быть, улыбнется счастье написать пьесу, которая положит конец плачевному положению моих финансов. Таков мой боевой план, *cara contessina*.

Он и в самом деле задумал написать пьесу, и, казалось, пьесу многообещающую. Действие этой пьесы, которую он хотел назвать «Старшая продавщица», должно было происходить в предместье Сен-Дени, в лавке такого же типа, как «Дом кошки, играющей в мяч». «Старшая продавщица», своего рода Тартюф в юбке, становится любовницей хозяина, царит в доме своего любовника, преследует его жену и дочерей. Сюжет был выбран удачно, тем более что, как говорил Бальзак, Тартюф женского рода куда более опасен, чем мужчина, ибо располагает более действенными способами утверждения своей власти. Героем второй задуманной пьесы должен был стать господин Прюдом — образ, целиком и без стеснения заимствованный у Анри Монье, Жозеф Прюдом, олицетворение луи-филипповской буржуазии, национальных гвардейцев, среднего класса, казался Бальзаку еще более комичным, чем Фигаро и Тюркгаре. Пьесе он хотел дать название «Замужество девицы Прюдом». Интрига была задумана искусно, оставалось только выполнить замысел. Но в глубине души Бальзак предпочитал романы. Он обращался к театру лишь

в надежде (которая всегда бывала обманута) поправить свои денежные дела. Однако в мае 1837 года у него еще было немного денег — маленький гонорар, выплаченный ему из наследства Гидобони-Висконти. Не могло быть и речи о том, чтобы умиротворить кредиторов с помощью этой суммы. Ведь деньги, уплаченные займодавцам, потеряны для радостей жизни. Но несчастная мать Бальзака поистине патетически вопияла о своей нужде. Надо признать, что он уже два года очень мало заботился о ней. На улице Батай его ждало письмо от нее, адресованное на имя вдовы Дюран.

Госпожа Бальзак — Оноре, Шантильи, апрель 1837 года:

Затянулось твое путешествие в Италию, милый мой Оноре, а я уже так давно не видела тебя и не получала от тебя весточки. Не могу привыкнуть к таким порядкам.

Вопреки своему обещанию ты не пишешь мне уже более двух лет, и только по газетам, которые приносят мне знакомые дамы в Шантильи, я узнаю, где ты и что делаешь. Если не жаловаться, ты сочтешь меня бесчувственной, а жаловаться — пожалуй, буду тебе докучать. Ох, как печально, сын мой, стать ненужной или не очень-то любимой...

Милый сын, раз ты мог тратиться на каких-то приятелей вроде Жюля Сандо, на любовниц, на оправы для тростей, на перстни, на столовое серебро, на мебель, то твоя мать может со спокойной совестью потребовать, чтобы ты исполнил свое обещание. Она ждала до последней крайности, но вот крайность эта пришла...

Богатство — последний оплот нелюбимых стариков. Эта фиктивная сила заменяет им все, что они потеряли. «О Боже мой, почему ты не дал мне богатства!» — наивно жалуется матушка Бальзака. У нее больше ничего нет, она уже не обладает умением пугать своих детей пристальным взглядом, она едва сохранила способность растрогать их. Сюрвили помогали ей сколько могли, но они сами нуждались. Генерал Померель и его супруга не раз проявляли щедрость к Сюрвилю, строителю каналов, финансируя его проекты. Они беспокоились, потом стали возмущаться, видя, что работы все не начинаются. «Самое печальное то, что даже перспектива денежной выгоды никого не привлекает», — наивно писала Лора. Такого же мнения держался и генерал Померель. Пытаясь задобрить его, Лора бралась покупать в Париже для генеральши баронессы Померель «платья, шали, ткани, ночные чепчики, кружевные наколки, которых не найдешь в магазинах Фужера».

Лора стойко переносила превратности судьбы и радовалась, что ее муж «нисколько не утратил бодрости...». И все же ее мучили заботы. Две дочери... их надо вырастить, воспитать... Денег нет... Мать разорена... Брат — расточитель... В 1836 году Лора заболела от тоски и печали. Анри причинял своим родным столько неприятностей, что они поручили Оноре избавить их от него, убедив младшего брата возвратиться на остров, куда он наконец и отправился в декабре 1836 года. Но из Пембефа, где Анри ждал прибытия корабля, он написал, что ему нечем заплатить за номер в гостинице: «Помоги мне, добрая моя сестричка!» А «добрая сестричка» сама бедствовала и нуждалась в помощи. Сюрвиль старел, от забот его голова поседела. «Он все в хлопотах, все бегает, пишет, ночами не спит... «Как я благодарен господину Померелю и его супруге за их доверие», — все твердит он». Доверие, однако, сильно поколебалось. Баронесса Померель даже стала сомневаться в таланте Оноре Бальзака. Тогда семейные чувства взяли верх надо всем, и Лора вступилась за своего брата: «Оноре намерен нарисовать полную картину нашего времени... Судить о его творении в целом мы сможем, лишь когда оно будет завершено...» В этой мужественной отповеди выражена верная мысль. И все-таки с марта 1837 года госпожа де Померель перестала отвечать на письма Лоры. Нужно обладать душевным величием, чтобы сохранить дружбу к тем, кто нанес ущерб нашим материальным интересам.

Лору связывала с братом нежная и неизменная дружба — их великое утешение. В сентябре 1836 года Лора в день своих именин решила доставить себе удовольствие навестить брата.

Дела ее мужа идут неважно, — писал Бальзак Ганской, — да и жизнь у Лоры не ладится, вяло течет где-то в сумраке, и прекрасные силы этой женщины иссякнут в никому не ведомой, бесславной борьбе. Какой алмаз пропадает в житейской грязи!.. В день ее именин мы вместе поплакали. Да еще бедняжка держала в руке часы — она могла побыть у меня лишь двадцать минут. Муж ревнует ее ко мне. Подумайте! Прибежала навестить брата тайком! Точно на любовное свидание!

Ждать помощи от Сюрвилей матери уже не приходилось, они сами сидели на мели. На ее сетования сын отвечал так:

Дорогая матушка, я как на поле битвы, сражение идет ожесточенное. Не могу ответить тебе подробным письмом, но я хорошо

взвесил и обдумал, как нам лучше поступить. Полагаю, что тебе надо прежде всего приехать в Париж, потолковать со мной часок и мы договоримся. Мне гораздо легче беседовать устно, чем писать, и думается, все может устроиться так, как того требует твое положение. Приезжай, куда тебе захочется, на улицу Батай или на улицу Кассини, и там и тут тебя ждет комната сына, у которого сейчас от каждого слова твоего письма все переворачивается внутри. Приезжай как можно скорее. Прижимаю тебя к сердцу. Хотел бы я сейчас быть на год старше, тогда тебе не пришлось бы беспокоиться за меня: ты бы увидела, что передо мной самое надежное будущее...

Письмо было сердечное и полное доброты, но, как сказал бы сам Бальзак, от него не прибавлялось «наличных» у старухи, сидевшей без хлеба и без огня.

XXIV

СИЗИФОВ ТРУД

И настал час, когда Сизиф уже не мог больше ни плакать, ни улыбаться, ибо натура его уподобилась тем каменным глыбам, которые он вечно перетаскивал.

— Бальзак

Возвращение из Италии после трех месяцев *dolce vita*¹ было ужасным. В отсутствие Бальзака на улице Батай накопилась гряда непоплаченных счетов. А он в 1837 году был беднее, чем в 1828-м; несмотря на то, что он трудился девять лет и достиг известности, у него было долгов на 162 000 франков, и он не мог рассчитывать на поступление денег в ближайшее время, так как романы, за которые уже заранее был выплачен гонорар, только еще зарождались в его воображении. И вдобавок он натолкнулся на свирепого кредитора в лице Даккета, желавшего во что бы то ни стало добиться его ареста. Неужели же писатель, который был триумфатором в Милане и в Венеции, гостем итальянских князей, закончит свою жизнь в долговой тюрьме? «Оставьте, оставьте эту бездну скорбей! Ведь я же говорил вам, не подступайте к ней близко! — писал он таинственной Луизе. — Принимать во мне участие — это значит страдать».

Прежде всего нужно было ускользнуть от судебных

¹ Сладостной жизни (ит.).

приставов. Они уже знали о двух его квартирах. Где укрыться? Во Фрапеле, у преданной ему Зюльмы Карро? Там его тотчас обнаружат. Ах, если бы его бывший секретарь из «Кроник де Пари», де Беллуа, мог обеспечить ему «комнату, тайну, хлеб и воду»! Беллуа подсказал ему сюжет для рассказа «Гамбара», но комнаты не мог предоставить. Оставалось прибегнуть к неизменным друзьям — Гидобони-Висконти. Contessa великодушно приютила Бальзака в своих апартаментах — она жила тогда на Елисейских Полях, в доме номер 52. Поступок героический: они с мужем «совсем обнищали», кроме того, она бросала вызов общественному мнению и рисковала очень многим. Она не побоялась этого. «Как и многие англичанки, она любила все блестящее и экстравагантное. Ей хотелось перцу, остроты в сердечных утехах, вроде того как многие англичане добавляют в пищу жгучие приправы, чтобы подстегнуть свой аппетит...»¹. Все романтическое, трудное, эксцентричное страстно увлекало Сару Лоуэлл. Бальзак тайком поселился в ее доме и тотчас принялся за работу.

Одной из самых удивительных черт бальзаковского творчества надо считать то, что, работая под гнетом неотложной необходимости, он никогда не забывал о своей основной задаче и уверенно воздвигал колоссальный монумент, стройный, соразмерный во всех своих частях. В 1837 году он должен был, согласно договору, написать несколько рассказов, чтобы дополнить «Философские этюды», закончить роман «Выдающаяся женщина», который ждала газета «Ла Пресс», и дать Альфонсу Карру, новому издателю «Фигаро», роман «Цезарь Бирото». И как не восхищаться, что, работая «на хозяев» как батрак, он создавал одну за другой чудесные книги.

Из своих путешествий по Италии Бальзак привез образы и сюжеты для новых рассказов. Больше чем когда-либо его преследовала мысль, что слишком страстная любовь художника к искусству может убить его произведение. Когда музыкант пытается воспроизвести ангельскую музыку, люди перестают понимать его. Бальзак и сам изведal такую опасность и такую неудачу, создав «Серафиту» — неудачу благородную. Он уже пробовал в «Неведомом шедевре» изобразить слишком большого художника Френхофера, который в жажде

¹ Б а л ь з а к. Лилия долины.

совершенства губит свое творение, ибо отходит от природы. Но в первом варианте этого рассказа недоставало теории художественного творчества, которую мог бы создать себе художник. Теофиль Готье поделился с Бальзаком своим опытом художника-любителя и критика-искусствоведа, и это помогло Бальзаку превратить рассказ в философский этюд.

В повести «Гамбара» он берет тот же сюжет. Героem ее является гениальный музыкант, гениальный, но непонятный, потому что понять его невозможно. Огюст де Беллуа сделал набросок этого рассказа. Морис Шлезингер напечатал его в своей музыкальной газете. Бальзак совершенно переделал рассказ и с помощью немецкого композитора Якова Штрунца добавил к нему два пространных анализа опер. «Магомет» и «Роберт-дьявол». Бальзак говорил себе, что он полнейший невежда в музыкальной технике.

Музыкальная партитура мне неизменно представляется колдовской тарабарщиной, оркестр всегда кажется каким-то нелепым, странным скопищем уродливых деревянных инструментов, более или менее изогнутых труб, более или менее молодых физиономий оркестрантов с пудренными волосами или подстриженных в кружок, над лицами возвышаются грифы контрабасов, или их перечеркивают очки, или же физиономии приникают к медным спиральям и кольцам, а то наклоняются над бочками, которые почему-то именуются барабанами; на всем этом сборище играют отблески света, отраженного рефлекторами, все оно усеяно нотными тетрадами, производит более или менее в лад какие-то странные движения, сморкается, кашляет.

На самом-то деле Бальзак знал толк во всех искусствах, он восхищался самой Жорж Санд, когда высказывал свои взгляды на музыку. Яков Штрунц взял на себя техническую сторону в рассказе «Гамбара», но оказался слишком многоречив.

Только Бальзак мог сделать приемлемыми для читателя эти длинные технические отступления: «Квартет гуррий (ля мажор)... Модуляции (фа диез минор). * Тема начинается на доминанте ми, затем повторяется в ля мажоре» — и так далее, на протяжении десяти страниц. Вписать в свой рассказ эти термины не представляло большого труда для автора. У всякого другого они были бы просто невыносимы, но в потоке захватывающего бальзаковского драматизма проходили незаметно.

В рассказе «Массимила Дони», опубликованном в 1839 году (написанном, однако, в 1837 году), Бальзак

применил эти идеи и к любви, и к музыке. Избыток страсти убивает искусство, так же как он убивает иногда мужскую силу. Мужчина может «спасовать» перед обожаемой женщиной и проявить себя темпераментным любовником с куртизанкой, которую он не любит; так и прекрасный тенор может самым жалким образом сорваться в ту минуту, когда он испытывает возвышенное музыкальное волнение.

Если художник, на свою беду, полон страсти, которую хочет выразить, ему не удастся передать ее, ибо он сам воплощение страсти, а не образ ее. Искусство идет от ума, а не от сердца. Если сюжет произведения властвует над вами, вы становитесь его рабом, а не господином. Вы тогда подобны королю, замок которого осажден народом. Чересчур сильно чувствовать в ту минуту, когда надо осуществлять замысел,— это равносильно мятежу чувств против дарования...

Словом, воображение истощает силы человека, и он уже не способен действовать. Мысль не только убивает, она лишает мужественности.

Этот рассказ Бальзака, один из самых лучших и самых «смелых», разворачивается в двух планах. Эмилио, князь Варезский, безумно влюбленный в Массимила Дони, герцогиню Катанео, знает, что его ждет неизбежное фиаско, если он попытается овладеть ею; Дженовезе, первый тенор оперы, великолепно поет, когда на сцене нет его партнерши Клары Тинти (которую он любит, тогда как она любит Эмилио); но возле Клары он ревет, как осел. Один французский врач подсказывает спасительный выход. Массимила Дони, чистая и непорочная красавица, для спасения Эмилио должна сыграть неприглядную роль куртизанки (которая согласна на этот подлог), лечь в ее постель и таким образом обмануть своего возлюбленного с ним самим. «Только и всего? — с улыбкой отвечает она врачу. — Если нужно, я превзойду Клару Тинти, чтобы спасти жизнь своему другу...» Быть может, роман Стендаля «Арманс» подсказал писателю этот скользкий сюжет. Бальзака всегда преследовали мысли о физиологии любви. Гениальной выдумкой было уподобить бессилие любовника бессилию художника и приписать их неудачи избытку страсти. Рассказ был подкреплён прекрасными тирадами об искусстве Россини, которыми Бальзак вновь обязан был Якову Штрунцу. Как того требовал принцип перехода персонажей из одного произведения в другое, рас-

сказ был связан с другим рассказом, «Гамбара», где Массимиλλα Дони, перескочившая из одного повествования в другое, спасает жизнь старому музыканту.

Бальзаку всегда было достаточно нескольких часов, чтобы понять характер города или общества. В рассказе «Массимиλλα Дони» он описал венецианское дворянство, когда-то первое в Европе, а теперь, увы, вконец разорившееся. Среди гондольеров встречаются потомки былых дождей, принадлежащие к более древней знати, чем нынешние властители. «Знатные люди Венеции и Генуи,— писал Бальзак,— не носили титулов. Самым высокомерным гордецам достаточно было называться Квирини, Дориа, Бриньоле, Морозини, Мочениго...» Он описывает, как грустит его герой Эмилио Мемми, который оплакивает старую Венецию и не может не думать «о прежних днях, когда из всех окон старинного дворца Мемми лились потоки света, когда у столбов его причала на канале теснились сотни привязанных гондол; когда на лестнице, которую лобзали волны, толпились нарядные маски; когда в большой зале, уставленной накрытыми столами, раздавались веселые голоса пирующих, а в окружавшей зал ажурной галерее звучала музыка и, казалось, вся Венеция стекалась в дом, оглашая смехом мраморные лестницы...».

А ныне голые стены, лишившиеся прекрасных гобеленов, потемневшие потолки безмолвно льют слезы. Больше нет в покоях турецких ковров, нет красивых люстр, украшенных гирляндами цветов, нет статуй, нет картин, нет больше ни веселья, ни денег — могущественного посредника веселья! Венеция, этот Лондон средневековья, падала камень за камнем, человек за человеком. Мрачная зелень, которую лагуна поддерживает и ласкает у подножия дворцов, казалась князю черной каймой, которую провела природа в знак траура. И вот наконец обрушился на Венецию, как ворон на труп, великий английский поэт и прокаркал ей в лирической поэзии, которая служит первым и последним языком человеческого общества, стансы мрачного *De Profundis*¹! Английская поэзия, брошенная в лицо городу, который породил итальянскую поэзию!.. Бедная Венеция!..

Быстро угадывая интуицией чувства своих друзей, Бальзак понял гордую печаль угнетенной Италии. Рассказывая в повести «Массимиλλα Дони» о представлении в театре Феличе оперы Россини «Моисей», он показал, насколько эта тема — стремление поработенных евреев вырваться из неволи — была созвучна тайным

¹ Из глубины [воззвал] (лат.) — погребальный псалом.

страданиям слушателей. «Не возносится ли музыка ближе к небу, чем все другие искусства, раз она может в двух музыкальных фразах сказать, что́ значит родина для человека?» Когда раздаются первые аккорды арф в прелюдии к молитве освобожденных евреев, Массимилла Дони замирает и, облокотившись на бархатный барьер ложи, слушает, подпирая голову рукой. Зрительный зал бурными аплодисментами требует повторения молитвы.

«Мне кажется, будто я присутствовал при освобождении Италии», — думал обитатель Милана.

— Эта музыка заставляет поднять склоненную голову и порождает надежду в самых унылых сердцах! — воскликнул римлянин...

— Пойте! — шептала герцогиня, потрясенная последней строфой, исполнявшейся так же, как ее слушали, с мрачным энтузиазмом. — Пойте! Ведь вы свободны...

Нельзя не восхищаться тем, что Бальзак, когда дела его были так расстроены, когда его преследовали кредиторы и издатели, нашел в себе силы столь замечательно воплотить свои итальянские впечатления. Он всегда любил музыку; в Италии он почувствовал, как много музыка говорит душе, пробуждая в ней воспоминания и смутные, быть может, никогда еще не изведенные волнения.

Бальзак — Ганской:

Вчера пошел послушать бетховенскую симфонию до минор. Бетховен — единственный человек, вызывающий у меня зависть. Я скорее хотел бы быть Бетховеном, чем Россини или Моцартом. Есть у этого человека дивное могущество... Нет, дарование писателя не дает таких радостей, ведь мы рисуем что-либо законченное, определенное, а Бетховен бросает нас в беспредельность!..

Кроме итальянских рассказов, он написал за один месяц (а не за четыре дня, как надеялся) «Выдающуюся женщину» («Чиновники»); роман занял в газете «Ла Пресс» семьдесят пять столбцов.

В этом проклятом месяце я провел почти без сна тридцать ночей — вряд ли я спал больше шестидесяти часов за все это время. Мне некогда было бриться, и при всем моем отвращении ко всякой рисовке я все-таки хожу с козлиной бородой, как члены «Молодой Франции». Лишь только закончу это письмо, приму первую за месяц ванну; думаю об этом с некоторым страхом, боюсь, что ослабеют все фибры моего существа, ведь я дошел до предела, а надо снова впрячься в работу, чтобы закончить «Цезаря Бирото» — он

становится просто смешным из-за постоянных отсрочек. К тому же «Фигаро» уже десять месяцев тому назад уплатила мне за него деньги.

Сначала Бальзак намеревался придать героине романа «Выдающаяся женщина» некоторое сходство со своей сестрой Лорой Сюрвиль, написав историю привлекательной и честолюбивой женщины, пытающейся добиться продвижения по службе мужа, человека более скромного, чем она, и протолкнуть его к труднодоступным вершинам. В романе Селестина Рабурден вышла за чиновника, правителя канцелярии в министерстве финансов. Так же как и Сюрвиль, Рабурден не знал своего отца, этот невидимый и влиятельный сановник помог Рабурдену в начале его карьеры, а затем перестал о нем заботиться, вероятно потому, что умер. Селестина, порядочная и красивая женщина, с трудом сводит концы с концами. Утром, в капоте, в старых шлепанцах, кое-как причесанная, она сама заправляет лампы, сама ставит кастрюли на огонь (портрет усердной хозяйки, застигнутой врасплох среди ее тайных утренних хлопот, Бальзак списал с Лоры Сюрвиль). И вот на сцену выступает Клеман де Люпо, секретарь министра, который насильно врывается к Селестине и находит, что в небрежном одеянии она прелестна, что плохо застегнутая ночная кофточка заманчиво приоткрывает грудь. Де Люпо, от которого зависит карьера Рабурдена, ведет себя дерзко.

Селестине Рабурден хочется и сохранить добродетель, и добиться для мужа повышения по службе. К несчастью, Рабурден наделен своего рода административным талантом. Дарование весьма опасное для чиновника, Бальзак хорошо знал чиновничий мир. Этот мир описывали ему и Эмиль Жирарден, и Лоран-Жан, и Анри Монье. Он вывел на сцену министерство и создал из этого блестящую комедию. Образу Рабурдена недостает выпуклости и силы, но второстепенные персонажи — Бисиу, Дюток, Пуаре и десяток других фигур — набросаны рукою мастера, показаны и в служебной обстановке, и в частной жизни.

Бальзак не может только затронуть сюжет, он всегда идет вглубь, и роман, который должен был нарисовать семейную драму, стал широким историческим полотном. При Наполеоне всевластие императора отсрочило развитие бюрократии, задержало «тяжелый занавес,

который, опустившись, должен был отделить осуществление полезных замыслов от того, по чьему приказу они осуществляются». При конституционном правительстве у министров положение шаткое, они заняты борьбой за свое существование, защищаются от нападков палаты, поэтому повсюду царят чиновники канцелярий, сотворившие себе из косности кумир, который именуется «докладной запиской» и убивает любое мероприятие. «Самые прекрасные деяния в истории Франции совершались тогда, когда не существовало еще никаких докладных записок и решения принимались немедленно», — говорится в «Чиновниках». Бюрократия, сплошь состоявшая из посредственных умов, обратилась в препятствие к процветанию страны; бюрократия по семь лет мариновала в своих папках проект какого-нибудь канала (намек на мытарства Сюрвиля), старалась увековечить различные злоупотребления, надеясь тем самым увековечить собственное существование.

Такие размышления привели Рабурдена (и Бальзака) к мысли о необходимости коренной перестройки административного аппарата. Число министерств сократить до трех, держать в них поменьше чиновников, зато удвоить и даже утроить им оклады — вот что требуется. Надо установить личный налог и налог на движимое имущество, косвенные же налоги, по мнению Бальзака и Рабурдена, необходимо отменить. «Во Франции о личном состоянии человека вполне можно судить по его квартире, по количеству слуг, по лошадям и роскошным выездам, и все это поддается обложению». Налоги будут тяжелыми. Но это не страшно. «Бюджет нельзя представлять себе в виде несгораемого шкафа, он, скорее, подобен лейке: чем больше она зачерпывает и выливает воды, тем больше земля процветает». Надо отметить, что эти идеи, весьма новые в ту пору, противоречили взглядам легитимистской партии. Автор романа, так же как его герой, плыл против течения. Ксавье Рабурдена ждет неминуемая опала, но в несчастье его утешит верность жены, красавицы Селестины. А кто утешит Бальзака?

Пока он разрабатывал финансовые планы Рабурдена, приставы коммерческого суда, на которых возлагалась обязанность заключать в тюрьму несостоятельных должников, ухитрились добраться до Бальзака даже в квартире супругов Гидобони-Висконти. Последние приказа-

ли своим слугам говорить, что господин де Бальзак тут не живет. Но в дело замешались предательство и хитрость. Некая «ревнивая Ариадна» выдала тайну писателя. Пристав коммерческого суда, переодетый в форму служащего почтовой конторы, заявил, что он пришел не для того, чтобы требовать деньги с господина де Бальзака, наоборот, он сам принес ему посылку и 6000 франков. Такой уловки оказалось больше чем достаточно, чтобы выманить волка из леса. Бальзак прибежал. Мнимый почтовый агент схватил его за полу халата и сказал: «Именем закона арестую вас, господин де Бальзак, если только вы не уплатите мне сейчас же 1380 франков и сумму новых судебных издержек». Дом уже успели оцепить. Надо было выполнить требование или идти в тюрьму. Госпожа Гидобони-Висконти заплатила, хотя и сама находилась в стесненных обстоятельствах.

Эти схватки с кредиторами и эти волнения убивали Бальзака, и все же он мог гордиться выполненной работой. «Гамбара», «Массимилла Дони», «Выдающаяся женщина». . . «Надеюсь, дровосек достаточно нарубил дров? Надеюсь, чернорабочий не сидит сложа руки?!» И тем не менее, когда Бальзак осмеливался выйти из своего тайника, еще находились парижане, которые спрашивали у него: «Ну что? Ничего новенького не собираетесь выпустить?» На бульваре он встретил Джеймса Ротшильда, и тот осведомился: «Что вы сейчас поделяете?», хотя роман «Выдающаяся женщина» уже две недели как печатался в газете «Ла Пресс»! Ах, как изнурял его этот сизифов труд, как мучительно было непрестанно вкатывать на гору каменную глыбу! В письмах к госпоже Ганской он все перебирал свои вечные обиды: «Неужели мне надо в пятый или шестой раз объяснять вам причины моей нищеты?..» И вновь начались жалобы: в 1828 году родные отказали ему в куске хлеба; позднее его закабалил скаредный Латуш, потом обанкротился Верде; ростовщики, давая деньги в долг, драли по двадцать процентов; потом случился пожар на улице По-де-Фер; потом произошел ужасный крах «Кроник де Пари»! Эвелина упрекает его за расточительность? Но ведь для человека, у которого каждый час стоит пятьдесят франков, траты на лошадь и экипаж — сущая экономия; да и если писатель не имеет вида богатого человека, издатели будут его обирать.

Если в вас не вызывает восхищения человек, который, неся бремя такого долга, одной рукой пишет, другой сражается, никогда не совершает подлости, не унижается ни перед ростовщиком, ни перед журналистами, никого не умоляет — ни кредитора, ни друга, не падает духом в самой недоверчивой, самой эгоистичной, самой скупой в мире стране, где дают займы только богачам, где писателя преследовали и преследует клевета, где говорят про него, что он сидит в долговой тюрьме, тогда как он в это время был возле вас в Вене, — если такой человек не вызывает в вас восхищения, значит, вы ничего не знаете о делах мира сего!..

Ева Ганская и в самом деле ничего не знала о делах парижского мира, и Бальзак втайне жалел, что больше нет у него драгоценной советчицы — великодушной Лоры де Берни, которая вселяла в него бодрость в дни его юности, помогла стать писателем, воспитала его вкус... Никогда она не боялась написать на полях рукописи: «Плохо!.. Фразу надо переделать...» Ему так хотелось, чтобы Эвелина Ганская заменила умершую.

*Сага сагіна*¹, поймите же своим светлым умом, озаряющим сиянием ваше прекрасное чело, поймите, что я полон слепого доверия к вашим суждениям о литературе; в этом отношении я считаю вас наследницей ангела, утраченного мною; все, что вы мне пишете, тотчас становится предметом долгих моих размышлений. И поэтому я жду «с обратной почтой» вашей критики по поводу «Старой девы». Как хорошо умела все подмечать та, что была мне очень дорога, та, которую я считал своей совестью и голос которой все еще звучит в моих ушах! И вот прошу, перечтите роман и страница за страницей делайте свои замечания, отмечая точно, какие образы, какие мысли вас коробят, указывая, следует ли их убрать и заменить другими или только внести в них поправки. Говорите без всякой жалости и снисхождения. Смелее, дружочек!

Госпожа Ганская отнюдь не была глупа или недостаточно образованна для того, чтобы стать «литературной совестью» Бальзака, ей недоставало того, что отличало Лору де Берни, — бескорыстного восхищения писателем и вместе с тем ласковой откровенности в своих суждениях. В переписке Бальзака с Чужестранкой, да и во всех их взаимоотношениях, несмотря на любовные воспоминания, не чувствуется душевного согласия. Эвелина порицала, проповедовала, рассуждала, а он все вздыхал, что их разделяют и взгляды, и расстояние.

И снова он пускался в жалобные сетования. Поток фраз, где глаголы поставлены в настоящем времени, напоминал порою монолог из «Женитьбы Фигаро».

¹ Милая душечка (ит.).

В 1827 году я хочу оказать услугу фактору типографии, а из-за этого в 1829 году оказываюсь обремененным долгами на сумму в сто пятьдесят тысяч франков и остаюсь без куска хлеба в жалкой чердачной каморке. Мимоходом я уподобляюсь Дон Кихоту, защитнику слабых, надеюсь поднять дух в Жюле Сандо и трачу на это слабое существо четыре-пять тысяч франков, которые могли бы спасти кого угодно, но уж только не его!.. Мне тридцать восемь лет, я погряз в долгах... Уже седина серебрится в моих волосах... Ах, Эвелина, Эвелина, как ты мучаешь меня!

К началу лета 1837 года Бальзак мечется, как раненый зверь. Великолепный мозг отказывается работать. В одном легком при выстукивании слышна целая симфония хрипов. Добряк доктор Наккар, неустанный спаситель, встревожен и посылает своего пациента в Саше, предписав ему не работать, развлекаться, совершать прогулки. Разумное предписание! Не работать! Да ведь нужно закончить «Цезаря Бирото» и написать «Банкирский дом Нусингена»!

Развлекаться, совершать прогулки? Но ведь он кашляет «по-стариковски»! Бывают минуты, когда у него пропадают все силы, вся энергия. И он жалуется в письме к Ганской:

Я дошел до того, что больше не хочу жить; надежды у меня слишком отдаленные, достигнуть спокойствия я могу только ценою непомерного труда. Если б можно было поменьше работать, я безропотно подчинился бы своей участи; но у меня еще столько горестей, столько врагов! Поступила в продажу третья книга «Философских этюдов», а ни одна газета ни словом не обмолвилась об этом...

Главное же — его приводит в ужас Париж. Париж — это кредиторы. Париж — это мерзкая национальная гвардия, которая все-таки разыскала его и пишет ему с коварной насмешкой: «Господину де Бальзаку, именуемому также «вдова Дюран», литератору, стрелку первого легиона...» Но ведь Париж — это еще и бесподобное зрелище, покрытые асфальтом бульвары, освещенные фигурными бронзированными фонарями, в которых горит газ. Нет, Бальзак не может обойтись без этой царицы всех городов, без ее непрестанной и пестрой ярмарочной суеты; только надо укрыться от драконовских требований национальной гвардии, поселившись в трех лье от грозной властительницы.

По возвращении из Саше его мечта принимает определенную форму. Он решил купить скромный домик в одном из пригородов, достаточно близко от Парижа,

чтобы можно было вечером, когда захочется послушать музыку, за час доехать до Итальянской оперы, но эта «хижина» должна находиться и достаточно далеко от столицы, чтобы служить убежищем от приставов коммерческого суда и от старших сержантов буржуазного воинства. А чем же человеку, погрязшему в долгах, заплатить за купленный дом? Но когда Бальзак чего-нибудь страстно хочет, он не желает заниматься подсчетами. Жизнь представляется ему тогда романом, в котором он придумывает один эпизод за другим. Прежде всего затевается великолепное дело: скоро начнут издавать полное собрание его сочинений с виньетками и премией для подписчиков; издание будет основано на тех же началах, что и тонтин Лафаржа, столь любезная сердцу Бернара-Франсуа Бальзака. Кто же откажется подписаться, когда лица, дожившие до конца издания, получают вместе с собранием сочинений Бальзака еще и тридцать тысяч франков дохода? Затем он напишет для театра две, три, пять комедий, а ведь каждому известно, сколько денег приносят пьесы. А потом может умереть Венцеслав Ганский, и тогда Бальзак женится на его вдове, станет владельцем Верховни и у него будут полны карманы золота. И наконец, в Сардинии высятся целые горы отходов на серебряных рудниках Древнего Рима, и отвалы эти ждут только Бальзака, чтобы из них заструилось серебро. Раз у него столько возможностей, он должен купить дом.

Но какой дом? Он знал очаровательную, утопающую в зелени деревню Виль-д'Авре на дороге в Версаль. Олимпия Пелисье часто принимала его там. Живя в этой деревне, он находился бы близ Версаля и, следовательно, близ супругов Гидобони-Висконти и за полтора часа мог бы на «кукушке» доехать до Итальянской оперы. Сначала Бальзак снял тут квартиру (разумеется, на имя Сюрвиля), а в сентябре 1837 года он нашел в местности, именуемой Жарди, участок земли и лачугу, принадлежавшие ткачу по фамилии Варле. Цена владения — 4500 франков плюс издержки. На следующий же день он купил и соседний участок, заплатив 6850 франков. И в конце концов в 1839 году он уже владел сорока акрами земли. Стоимость всего приобретения — 18 000 франков. «Называется мой скромный уединенный уголок Жарди, и на этот клочок земли я забрался, как червяк на лист салата...» Бальзак задум-

мал предоставить домик ткача своим друзьям Гидобони-Висконти, финансировавшим покупку, для себя же построить флигель, поручив это дело Сюрвилю, который был инженером, а следовательно, и архитектором. Живя в Жарди, он был бы, в сущности, в Париже и вместе с тем не жил бы там. Ему не пришлось бы платить ни ввозных пошлин, ни чрезмерных налогов; он бы укрылся здесь от нахального любопытства маленьких газет. Постройка дома обошлась бы в 12 000, а с земельным участком и меблировкой — 40 000 франков. Квартирная плата и то бывает больше. Правда, у Бальзака не имелось 40 000 франков. Но, получив задаток в 1500 франков, подрядчик согласился начать работы. Что ж, оставалось только закончить роман «Цезарь Бирото» и написать «Банкирский дом Нусингена». Сизиф засучил рукава и ухватил свой обломок скалы.

XXV

ОХОТА ЗА СОКРОВИЩЕМ

Бальзак был воплощением желания, вечно возрождающегося желания, устремления к будущему, уверенности, что в силах преодолеть любые препятствия, с которыми он непрестанно вынужден бороться: вся жизнь его обращена к будущему.

Гаэтан Пикон

Еще в 1833 году Бальзак рассказывал Зюльме Карро о «Цезаре Бирото», а в 1834 году он писал Ганской: «У меня в работе капитальное произведение — «Цезарь Бирото»; его герой — брат того Бирото, которого вы знаете; так же как и первый, он жертва, но жертва парижской цивилизации, тогда как старший брат («Турский священник») — жертва лишь одного человека... ангел, которого попирают ногами, затравленный честный человек. Замечательная получится картина!» Тогда он рассчитывал дать этот роман Верде для тома своих «Философских этюдов». Затем он написал другие книги, путешествовал, а тем временем Верде обанкротился, и «Бирото» был отложен. Верде уступил за 63 000 франков компании книгоиздателей эксплуатацию будущих произведений Бальзака. Консорциум согласился выдать

Бальзаку аванс в сумме 50 000 франков и, кроме того, платить ему ежемесячно по 1500. Писатель должен был получать не авторский гонорар, а половину прибылей. В 1836 году газета «Фигаро», которая перешла в руки другого издателя, купила «Бирото» у консорциума, чтобы дать роман своим подписчикам в качестве премии. Газета поместила «уведомление»: «При трехмесячной подписке на «Фигаро» (20 франков) подписчикам бесплатно высылается премия: «История величия и падения Цезаря Бирото», владельца парфюмерной лавки, кавалера ордена Почетного легиона, помощника мэра второго округа города Парижа, новая «Сцена Парижской жизни», написанная господином де Бальзаком, еще ни разу не издававшаяся, в двух томах, в одну восьмую листа».

Бальзак — госпоже Ганской, 14 ноября 1837 года:

Мне предлагают двадцать тысяч франков за «Цезаря Бирото», если он будет готов к 10 декабря; у меня написано только полтома, остается написать еще полтома, но нужда заставила меня обещать. Придется работать двадцать пять ночей и двадцать пять дней...

В это время Бальзак уже получил корректурные оттиски романа, но поправкам предстояло разрастись во всех направлениях. Горькая нужда заставила писателя обещать, а счастье творчества побудило развернуть сюжет. «Бирото» был этюдом, посвященным парижской торговле, сначала носившей семейный характер, какой ее знали господа Саламбье и владелец лавки скобяных товаров Даблен, затем такой, какой она стала в те времена, когда перемещается центр ее тяжести, который, по словам Мориса Бардеша, «постепенно удаляется от улицы Сен-Дени и осторожно приближается к Фобур-Сент-Оноре, когда крупный торговец уже не называется купцом, но еще не именуется негоциантом... когда над витринами с выставкой товаров красуются живописные вывески с развевающимися флажками; когда приказчики обедают в комнате за лавкой, а ночуют в мансарде; когда старший приказчик, прослужив десять лет, женится на хозяйской дочке, — словом, торговле, соответствующей гибридной фазе французской экономики, ибо торговля еще сохраняла свои патриархальные привычки, а на улицах уже появлялись чудовища и чудеса, возвещающие об успехах капитализма, велико-

лепные омнибусы, особняки, занятые коммерческими банками или акционерными обществами...»

Цезарь Бирото — крестьянин, который «подался» из деревни в Париж и преуспел в кустарной парфюмерии. Но его ждало разорение, когда он бросил свое дело и пустился в спекуляцию, ставшую язвой нового времени. В те годы менялись прежние нравы. Бирото и его жена, их друзья — Рагон, Пильеро, их приказчик Ансельм Попино в глазах Бальзака люди добродетельные. Добродетель их весьма относительна. Цезарь Бирото, например, знает, что его «кефалическое масло» не оказывает никакого влияния на волосяной покров; чтобы выпустить свое снадобье на рынок, он пользуется невежеством покупателей, молчанием ученых и глупостью лысеющих стариков. Позднее он выдает так называемые «дружеские» векселя, что, по мнению судьи Попино, представляло собою «начало мошенничества». Бальзак прощает ему такие приемы. Дела — это дела. Но банкротство остается в глазах героя романа и в глазах автора нестерпимым позором. Родители Бальзака разорились ради того, чтобы избавить сына от такого несчастья. Цезаря Бирото, рыцаря буржуазных понятий чести, позор банкротства убил, подобно выстрелу из пистолета. Роман этот с полным основанием отнесен к «Этюдам о нравах», ибо он рисует среду, прекрасно знакомую Бальзаку, который и сам вышел из нее, рисует тот мир, «где невидимые нити связывают две вывески: „Королеву роз” и „Кошку, играющую в мяч”»; а вместе с тем это «Философский этюд», поскольку лавка противопоставлена банку, архаическая «чистота нравов» — современной развращенности, а главное — здесь анализируется сила навязчивой идеи, которая послужила причиной смерти Цезаря Бирото, сраженного чрезмерной радостью нежданного оправдания.

Самая большая беда Цезаря Бирото состоит в том, что он прост, как и его брат, турецкий священник; он наивно доверился Нусингену, Клапарону и дю Тийе, так же как аббат Франсуа Бирото доверился вероломному Труберу. Цезарь Бирото не предвидел возможности разорения, к которому его привело собственное тщеславие, зато он благородно реабилитирует себя, отдав в уплату долгов весь имеющийся у него актив, вместо того чтобы нажиться на своем банкротстве, как это сделали бы на его месте Гранде или Нусинген. В рома-

не возникает также, говорит Ален, «тень Катона Старшего в образе москательщика Пильеро», прототипом которого Бальзаку послужил дядюшка Даблен. «Не нашлось бы, пожалуй, другого состояния, нажитого более достойным, более законным, более честным путем, чем состояние Пильеро. Никогда он не запрашивал цену, никогда не гонялся за покупателями». Таков был и Даблен, «торговец скобяными товарами, человек большой души» и верный друг.

Итак, с одной стороны — Катон из скобяной лавки и античные добродетели, а с другой — банкиры, дельцы, дисконтеры, ростовщики. Замечательная книга! Какое в ней превосходное знание предмета (Бальзак мог вложить в нее и пережитые им самим тревожения должника, преследуемого кредиторами, свой опыт по части просроченных векселей и быстро надвигающегося краха)! Какое широкое историческое полотно и какая строгость построения! Медленному восхождению Цезаря к вершинам успеха противопоставляется симметрически построенная картина его постепенного упадка. Величие и падение. Первая часть кончалась балом, который дают супруги Бирото, желая отпраздновать награждение парфюмера орденом Почетного легиона, и, несомненно, отдаленным образцом этого празднества явился бал, данный Дабленом по случаю бракосочетания своей племянницы, девицы Пепен-Леалер. Бальзак писал тогда Ганской: «Нынче вечером иду на бал! Я — и вдруг бал! Ничего не поделаешь, придется пойти, любовь моя. Дает этот бал единственный мой друг, с готовностью оказывавший мне услуги».

Чтобы выразить счастье Цезаря Бирото, Бальзак в романе обратился к Бетховену, к торжественному финалу его симфонии до минор, и передал ее в зрительных образах. В конце второй части романа Цезарь, добрая слава которого восстановлена благодаря его честности и стараниям преданных друзей, вдруг слышит, как у него в голове и в сердце отдаются могучие звуки симфонии. «Эта возвышенно-прекрасная музыка заискрилась, засверкала, запела трубными звуками в его усталом мозгу, для которого ей суждено было стать трагическим финалом...» Никогда французская литература не создавала такую великолепную буржуазную эпопею, картину до мелочей точную и величественную. Но автор порой сомневается в своем творении. «Не знаю, как

у меня получится «Цезарь Бирото», — пишет он Ганской. — Скажите свое мнение до того, как мне удастся его издать и прочесть в напечатанном виде. Сейчас я питаю к нему глубочайшее отвращение и могу только проклинать его — так он меня утомил».

Рядом с «Бирото» Бальзак рисует другую створку диптиха — «Банкирский дом Нусингена», или искусство наживать богатство, поставив себя выше законов; агнца, обреченному на заклание, каким оказался Цезарь Бирото, противостоит хищный волк: банкир Нусинген нарочно прекращает платежи, желая напугать кредиторов и выкупить по дешевке свои векселя; этот финансист возвысился не путем усердного труда, а благодаря своей смекалке. Нусинген не страшится волнений на бирже, как моряк не страшится бури. Он знает, что курс ценных бумаг повышается и понижается, как морской прилив. Волны прилива и отлива несут его. Вокруг Нусингена теснятся честолюбцы, понявшие суть игры: Растиньяк и дю Тийе обогащаются; жертвы — Боденор и Рагон — разоряются, следуя глупым мнениям советчиков. Всю эту историю рассказывают в отдельном кабинете ресторана четыре циничных кондотьера прессы и финансового мира: Андош Фино, Эмиль Блонде, Жан-Жак Бисиу и начинающий, но уже посвященный в стратегические маневры, банкир Кутюр. Эти свидетели, насмехаясь над Бирото, утверждают, что в тех обстоятельствах, при которых Бирото умер от волнения, Нусинген стал бы пэром Франции и получил бы офицерский крест Почетного легиона. Блонде в заключение приводит слова Монтескье: «Законы — это паутина; крупные мухи сквозь нее прорываются, а мелкие застревают». Что касается Бальзака, мы его находим повсюду в этих двух пророческих книгах: он был Цезарем Бирото, но он понимает и психологию Нусингена; он хотел бы стать Растиньяком и оживляет своим остроумием реплики Бисиу и Блонде. И разве сам Бальзак не является одним из тех «дерзких бакланов, рожденных в пене, венчающей гребни изменчивых волн» его поколения? Но долги захлестывают его, он боится, что кончит так же, как Бирото, и в утешение себе создает фигуру Нусингена.

Очень тяжел был 1837 год. Огромная правка в корректурных листах «Цезаря Бирото», которые нужно было сдавать в определенные сроки, заставляла Бальзака

работать день и ночь, и он работал, поставив ноги в горчичную ванну, чтобы избежать опасности кровоизлияния в мозг. Седины в волосах у него еще прибавилось — он чувствует, что силы его иссякли. Первого января 1838 года он пишет Зюльме Карро: «Привет 1838 году, что бы он нам ни принес! Какие бы горести ни скрывались в складках его одеяния, не стоит сетовать! От всего есть лекарство, этим лекарством служит смерть, и я не боюсь ее». Спасаясь от таких мыслей, Бальзак ищет убежища во Фрапеле. Он надеется поработать там над продолжением «Утраченных иллюзий», но он так устал, что чувствует непреодолимое отвращение к писательскому труду. И уж очень обидна ему несправедливость критики! Напрасно он создает шедевр за шедевром, критика отказывается поставить его в один ряд с Шатобрианом, Ламартином или Виктором Гюго. Ему предпочитают Эжена Сю — на литературном горизонте уже поднималась, поблескивая фальшивыми камушками, звезда этой новой знаменитости.

Зачем же ему убивать себя таким неблагодарным трудом, когда он видит перед собою огромные богатства — протяни руку и бери — серебряные рудники в Сардинии? Стоит только приобрести концессию, и он достигнет свободы, он будет богат. Но Бальзак не решается поговорить о своих замыслах с финансистами — какой-нибудь дю Тийе украдет у него идею. Он открылся только майору Карро, славному и ученому человеку, инженеру, окончившему Политехническое училище, проект Бальзака не показался ему нелепым, однако он не захотел участвовать в изысканиях или финансировать предприятие. Карро не отличался энергией, он обладал «огромным умом математического склада», принадлежал к числу людей, которые судят о жизни без всяких иллюзий и, «не видя в ней логической цели, спокойно ждут смерти, чтобы быть в расчете со своей эпохой». Как же сколотить необходимые для путешествия деньги? Бальзаку пришлось прибегнуть к последним оставшимся ему верными друзьям — доктору Наккару и портному Бюиссону. «Матушка и одна небогатая родственница тоже пришли на помощь, отдав последние крохи».

Перед отъездом из Фрапеля Бальзак, находившийся так близко от Ноана, решил повидать Жорж Санд. Некоторое время у них были довольно холодные отноше-

ния из-за Жюля Сандо, но теперь Бальзак разделял те чувства, которые великая Жорж питала к «маленькому Жюлю». «Это конченный человек», — говорил он. К тому же госпожа Ганская коллекционировала автографы, а ей хотелось получить автограф писательницы. В феврале 1838 года Бальзак из Фрапеля написал Жорж Санд, прося у нее разрешения совершить «паломничество в Ноан... Я не хотел бы уехать, не увидев львицу Берри в ее логове или соловья в его гнездышке». Жорж Санд тоже не любила ссориться с гениальными людьми, она тепло пригласила Бальзака. Он приехал 24 февраля.

Бальзак — Ганской:

Я добрался до замка Ноан в субботу на масленице, в восьмого вечера; Жорж Санд я нашел в огромной одинокой спальне, она была в домашнем костюме, курила после обеда сигару у камелька. На ней были красивые домашние туфли из желтой кожи, отделанные бахромой, ажурные чулки и красные шаровары. Нравственный ее облик все тот же. Зато отрастила двойной подбородок, словно каноник. На голове ни одного седого волоска, несмотря на ужасные ее несчастья; все такое же смуглое лицо, все так же блестят прекрасные глаза; по-прежнему у нее глупый вид, когда она задумывается; изучив ее хорошенько, я ей говорил когда-то, что у нее весь ум сосредоточен в глазах. Она живет в Ноане уже год, живет печально, очень много работает. Ведет приблизительно такой же образ жизни, как и я. Ложится спать в шесть утра, встает в полдень, а я ложусь в шесть часов вечера и встаю в полночь. Но я, разумеется, приноровился к ее привычкам, и мы с ней в течение трех суток разговаривали; начинали после обеда, с пяти часов вечера, и кончали в пять утра, и за эти три дня наших бесед я лучше узнал ее (да и она меня), чем за четыре года, когда она приходила ко мне ради Жюля Сандо, которого тогда любила, и потом, когда была близка с Мюссе. Мы встречались и в ее доме, так как я изредка бывал у нее.

Для нас полезно было увидеться, так как мы откровенно поговорили о Жюле Сандо. Я меньше всех осуждал ее за то, что она покинула Жюля. Могу лишь глубоко сочувствовать ей, так же как и вы посочувствуете мне, узнав, с каким человеком нам пришлось иметь дело — ей в любви, а мне в дружбе...

Все глупости, которые она натворила, могут только послужить к ее славе в глазах людей прекрасной и высокой души. Она была обманута Мари Дорваль, Бокажем, Ламенне и т. д. Из-за той же доверчивости она обманулась в Листе и госпоже д'Агу, но только теперь она поняла свое заблуждение как в отношении этой четы, так и в отношении Дорваль — ведь Жорж Санд блещет умом только у себя в рабочем кабинете, а в реальной действительности ее легко надуть...

Два великих человека, столь опытные в женской психологии, проговорили всю ночь о браке, о любви, об условиях существования женщины. Бальзак полагал,

что он обратил Жорж Санд в свою веру и убедил ее в социальной необходимости брака. Из Ноана он привез сюжет для романа «Каторжники любви» (история Франца Листа и Мари д'Агу, которую Жорж Санд рассказала Бальзаку и отдала ему этот сюжет, так как сама воспользоваться им не могла). Кроме того, она заразила его модным пороком. «Она научила меня курить кальян и латакию,— писал Бальзак госпоже Ганской.— Это сразу стало моей потребностью. Новое увлечение позволило мне отказаться от кофе, разнообразить возбуждающие средства, необходимые мне для работы...» Когда Бальзак курил, мысли его текли легко, он не чувствовал усталости.

Прекраснейшие надежды рождаются в душе, и уж не как иллюзии — они воплощаются в живые образы, порхают, как Тальони, и не уступают ей в грации! Вам ведь это знакомо, курильщики! Глаза ваши видят в природе дивные красоты, трудности бытия исчезают, жизнь становится легкой, голова ясной, серая атмосфера умственного напряжения делается голубой. Но вот странное явление: занавес этой чудесной оперы сразу опускается, как только угаснет кальян, сигара или трубка...¹

По правде говоря, ему не нужен был кальян, для того чтобы надежды его становились уверенностью. История с серебряными рудниками в Сардинии лишней раз показывает, каков был Бальзак в столкновении с действительностью. Странное явление! Человек такого большого ума, так прекрасно разбиравшийся во всяких хитростях делового мира, умевший угадать с точностью прокурора все уловки какого-нибудь Нусингена, не способен был, едва он сам делал какие-нибудь шаги в практической жизни, принять простейшие меры предосторожности. Он обладал самым пронизательным умом своего времени и проявлял столько здравого смысла в отношении создаваемых им персонажей и их действий, но не в отношении самого себя и своих дел, «подобно тем великим адвокатам, которые плохо ведут в суде свои собственные дела!» А ведь сколько было оснований проявить недоверчивость и осторожность в задуманной аванюре!

Встреченный в Генуе итальянский негоциант Джузеппе Пецци заронил искру в легко воспламеняющееся

¹ Balzac. Pathologie de la vie sociale. Traité des excitants modernes. (Патология социальной жизни. Трактат о современных возбуждающих средствах.)

воображение Бальзака, Пецци обещал прислать образцы горной породы. Он их не прислал. А где же, собственно, находятся горы отходов, о которых шла речь? Бальзак этого не знает. Да как же ему, профану, определить ценность руды и ценность обвалившихся копей? У него нет никаких специальных инструментов, он не ведаёт, к кому обратиться за получением разрешения на разработку; он очень плохо знает итальянский язык и не может поэтому собрать сведения на месте.

Он просто воплощает в жизнь романтическую историю, которую уже написал в 1836 году для «Кроник де Пари», дав ей название «Фачино Кане». В этой новелле рассказчик встречается старика музыканта, играющего на кларнете; музыкант называет себя последним потомком старинного венецианского рода, давшего Республике многих сенаторов, и говорит, что он якобы знает, где спрятаны сокровища прокураторов, где хранятся миллионы, принадлежащие Светлейшей Республике. Но Фачино Кане слеп и не может отправиться один на поиски клада. Ошеломленный такой тайной, рассказчик взволнованно смотрит на седовласого старика музыканта, считая несчастного сумасшедшим, и ничего не отвечает ему. Схватив свой кларнет, Фачино Кане «заиграл печальную венецианскую песенку — баркаролу, для которой вновь обрел талант своей молодости, талант влюбленного патриция. Мне пришло на память «На реках Вавилонских»...

— Мы поедem в Венецию! — воскликнул я, когда он встал.

— Наконец-то я встретил настоящего мужчину! — вскричал он, весь вспыхнув».

Но Фачино Кане умер, проболев два месяца, и рассказчик забывает о венецианском кладе. Бальзак-романист считает Фачино Кане помешанным, Бальзак-человек поддается, как Фачино Кане, безумной мечте о реках серебра. «Он теперь только и грезит что о потоках золота, о горах алмазов», — говорит Теофиль Готье. Он просит своих «ясновидящих» искать зарытые сокровища: он уверяет, что ему известно, где Туссен-Лувергюр после восстания на Сан-Доминго зарыл свою добычу. Он так хорошо описал все обстоятельства дела и место действия, что просто заморозил Теофиля Готье и Жюля Сандо. Было условлено, что они купят кирки, зафрахтуют бриг и втайне отплывут на нем. Словом,

целый роман. «Надо ли говорить, — замечает Готье, — что нам не удалось откопать клад Туссен-Лувертюра... У нас едва хватило денег на покупку кирок...»

Рассказчик в «Фачино Кане» не едет в Венецию. Бальзак же отправляется в Сардинию с такими ничтожными средствами, что должен спешить. Из Марселя он пишет 20 марта Зюльме Карро: «Наконец-то я в двух шагах от цели и могу вам сказать, вы плохо знаете меня, полагая, что мне необходима роскошь. Пять ночей и четыре дня я ехал на империале, выпивал молока на десять су в день; сейчас пишу вам из марсельской гостиницы, где номер стоит пятнадцать су, а обед — тридцать су! Но вот увидите, при случае я буду ненасытным...» В Марселе он узнает, что оттуда в Сардинию суда не отплывают, надо плыть через Корсику. «Через несколько дней у меня, к сожалению, одной иллюзией станет меньше — ведь всегда, когда дело подходит к развязке, вдруг перестаешь верить. Завтра еду в Тулон, а в пятницу буду в Аяччо. Из Аяччо постараюсь пробраться в Сардинию». Матери он пишет: «Я остановился в отвратительной гостинице — просто дрожь берет; но с помощью бань выкручиваемся...»

На Корсике ему пришлось пробыть пять дней в карантине из-за холеры, вспыхнувшей в Марселе. В утешение себе он осматривает дом Наполеона — «жалкую лачугу» — да читает в библиотеке Аяччо английские романы «Грандисон» и «Памела», «ужасно скучные и глупые». Но Корсика — великолепная страна — ему понравилась, так же как и первобытные нравы ее обитателей: «Здесь нет ни гулящих девок, ни театров, ни читальных залов, ни общества, ни газет, зато нет и никаких мерзостей, свидетельствующих о цивилизации. Женщины не влюбляются в иностранцев; мужчины целый день прогуливаются и покуривают. Лениость невероятная! В городе восемь тысяч душ, кругом нищета, крайнее невежество в вопросах самых злободневных. Я пользуюсь здесь полнейшим инкогнито...» — сообщает он в письме к Ганской. Но один офицер и один студент узнали его: «Увы! Какая досада! Теперь уж людям невозможно вести себя плохо или хорошо так, чтобы это не стало достоянием гласности!» Наконец ловцы кораллов переправили его на Сардинию, причем все питались только рыбой, пойманной в пути.

Добраться до копей оказалось тяжким делом. В Сар-

динии тогда не было ни дорог, ни экипажей, ни постоянных дворов. Бальзаку пришлось ехать верхом, а он не садился в седло уже четыре года. Девственные леса, гигантские вечнозеленые дубы; никакой еды. А прибыв в Арджентьеру, он узнал, что некая марсельская фирма, вошедшая в компанию с генуэзцем Пецци, уже произвела анализ отходов, нашла там подтверждение надежд Бальзака и выхлопотала через местных властей королевский декрет, разрешающий возобновить разработку копей. Как и во всех своих деловых предприятиях, Бальзак проявлял зоркость взгляда, но терпел поражение, едва только приступал к осуществлению своих замыслов. Компания Арджентьерских серебряных копей в скором времени принесла ее основателям прибыль в миллион двести тысяч франков, которой так жаждал Бальзак. Но и Бальзак получил возмещение за свои труды и убытки. Пока негоциант Пецци осаждал префектуры, романист Бальзак писал «Цезаря Бирото». Два творения были несовместимы: второе, более высокое, приводило к неудачам в житейских делах. Госпоже Ганской он сообщал: «Не очень браните меня, когда будете отвечать на это мое послание, написанное в дороге, помните, надо утешать побежденных. Я очень часто думал о вас во время своего путешествия, полного приключений, и воображал, что вы всего только один раз скажете: „Кой черт понес его на эту галеру”».

Он возвратился во Францию через Геную и Милан, где мог рассчитывать на банкира супругов Висконти. Второе пребывание в Милане было менее приятным, чем первое. Однако братская приязнь князя Порчия избавила его от гостиницы — в его распоряжение была предоставлена комнатка, где он мог спокойно работать. Гостеприимному князю Порчия и графине Болоньини он позднее посвятил один из лучших своих романов — «Блеск и нищета куртизанок» и повесть «Дочь Евы», где в посвящении он говорит: «Французов обвиняют в легкомыслии и забывчивости, но, как видите, постоянством и верностью воспоминаниям я сущий итальянец».

Роман «Блеск и нищета куртизанок» со временем станет одной из самых широких фресок Бальзака, но в 1838 году еще не было ни заглавия, ни плана этого произведения. В Милане, немного скучая о парижских бульварах, он набросал первый эпизод — «Торпиль». То была история любви красавца Люсьена де Рюбамп-

ре из «Утраченных иллюзий» и Эстер Гобсек, проститутки в доме терпимости, прозванной Торпиль, то есть электрический скат, из-за того, что ее небесная прелесть наэлектризовывала мужчин и приводила их в оцепенение. Однажды в свой свободный день она встретила Люсьена в театре Порт-Сен-Мартен и сразу влюбилась в него до безумия. Она вырвалась на волю и прожила с ним счастливо три месяца. Но на бале-маскараде в Опере ее в домино узнали и разоблачили жестокие насмешники. Чувствуя, что для нее все погибло, Эстер попыталась покончить с собой; ее спас некий священник и, поняв, как глубока и смиренна ее любовь, решил отдать Торпиль в монастырский пансион, превратить проститутку в благовоспитанную девицу. Повесть должна была появиться в 1838 году в газете «Ла Пресс», но Жирарден убоился возмущения подписчиков, и без того уже шокированных романом «Старая дева». Просто возмутительно! Воспитанница монастырского пансиона была в недавнем прошлом обитательницей дома терпимости! Повесть «Торпиль» была напечатана Верде в том же томе, что и «Выдающаяся женщина» и «Банкирский дом Нусингена». В Милане у князя Порчия Бальзак отделал только первую ее половину.

Радужные хозяева предоставили ему, однако, полную возможность работать. Милан, в котором австрийскому императору в скором времени предстояло короноваться как королю Ломбардии, на этот раз уделял Бальзаку мало внимания, и он затосковал по родине. При виде безоблачного лазурного неба у него сжималось сердце, по контрасту вспоминались мглистые небеса Франции. У него как будто отняли душу, отняли жизнь, он мечтал вновь очутиться «в своем дорогом аду» — в неблагоприятном и жестоком Париже. Двадцатого мая ему исполнилось тридцать девять лет. «Начинается для меня год, в конце которого я буду принадлежать к большой армии смирившихся душ, — писал он Ганской, — ведь в дни моей несчастной юности, тяжких мук, сражений, веры в будущее я дал себе клятву прекратить всякую борьбу, когда достигну сорокалетнего возраста...» Никогда еще так, как на этом роковом рубеже, приближаясь к сорока годам, он не испытывал столь острой потребности где-то прочно обосноваться, иметь, наконец, собственный домик и жить в нем с «женщиной своих грез».

Но кто бы мог стать теперь «женщиной его грез»? Те, которые его поддерживали в дни молодости, ушли из жизни одна за другой. В 1836 году, вернувшись из Италии, он узнал о смерти Лоры де Берни, а возвратившись из поездки в 1838 году, узнал, что умерла Лора д'Абрантес. «Парижская наставница» кончила, бедняжка, весьма печально. После нескольких лет литературного успеха она извела горечь неудач. Бальзак больше не работал на нее. Она знала, что должна потерять его как возлюбленного, к этому она была готова, но ей хотелось сохранить его как друга и правщика ее произведений. «Моя старая дружба не обидлива, Бог мой! Старая дружба и молодая любовь — радость душе». Госпожа д'Абрантес сняла на улице Ларошфуко нижний этаж дома и попробовала вновь создать у себя салон. Многие друзья откликнулись на приглашение: Жюльетта Рекамье, Брольи, Ноай, даже Виктор Гюго, верный воспоминаниям о временах Империи. Теофиль Готье прозвал хозяйку салона «герцогиня Абракадабрантес». Она руководила у графа Жюля де Кастеллана труппой актеров-любителей, принадлежавших к светскому обществу, но в число актрис приняла слишком много дам почтенного возраста. Маленькие газетки называли эту затею «театром Полишинелей». Игра старости и случая всегда печальна.

Потом пришла нужда. Книгоиздатель Лавока отказывался от рукописей герцогини и не давал ей субсидий. Пришлось выехать из красивых апартаментов, удовольствоваться крошечной квартиркой. Наступил день, когда кредиторы продали с молотка всю обстановку на глазах у герцогини, которая болела желтухой и была прикована к постели. Больную положили в клинику, а так как денег у нее не было, поместили ее там в мансарде. В больнице она и умерла в возрасте пятидесяти четырех лет. За гробом ее шли Гюго, Шатобриан, Дюма, госпожа Рекамье. Друзья умершей хотели похоронить ее на кладбище Пер-Лашез и поставить там памятник, но муниципалитет отказался отвести участок для могилы, а министр внутренних дел отказал в глыбе мрамора для памятника. Почему? Виктор Гюго выразил свое возмущение в прекрасных стихах с плавным ритмом:

У мрачного пророка и у музы
Прославленной — у нас одни права.
Вовек нерасторжимы наши узы:

Я — сын солдата, а она — вдова.
И так же, как взывал я к Вавилону,
Целуя знамя легендарных дней:
Верните Императору колонну! —
Кричу теперь: «Могилу дайте ей!»¹

В ночь смерти Лоры д'Абрантес Бальзак ехал при лунном свете через перевал Сен-Готард, занесенный снежными сугробами. Два месяца спустя он написал Ганской: «Из газет вы, вероятно, узнали о печальной участи бедной герцогини д'Абрантес. Она кончила так же, как кончила Империя. Когда-нибудь я расскажу вам об этой женщине. Мы проведем с вами славный вечерок в Верховненской усадьбе». Какое забвение! Какой урок! Жизнь возлюбленной, когда-то страстно желанной, станет предметом уютной беседы в «славный вечерок». Но ведь Бальзак никогда не любил Лору д'Абрантес так, как любил Лору де Берни. Первая пользовалась его услугами, вторая преданно служила ему. С какой грустью вспоминал он в письме к Ганской дорогого своего друга.

15 ноября 1838 года

Душевное мое состояние менее удовлетворительно, чем телесное; я старею, чувствую потребность в дружеском обществе и каждый день с грустью вспоминаю обожаемое создание, которое спит вечным сном на сельском кладбище близ Фонтенбло. Моя сестра очень меня любит, но никогда не сможет приютить брата. Все-му преградой неистовая ревность мужа. Мы с матерью совсем не подходим друг другу. Единственной опорой мне остается труд, если только не будет возле меня родной семьи, а я очень хотел бы, чтобы она была у меня. Добрая жена, счастливое супружество — увы! Я уже не надеюсь на это, хотя кто больше меня создан для семейной жизни.

Полное счастье в любви всегда оставалось для Бальзака только надеждой, только мечтой. Конечно, *Dilecta*, существо совершенное, ангельское сердце, сама грация и изящество, подарила ему много счастливых часов, давала ему драгоценные советы. «Но ведь она была на двадцать два года старше меня, — писал Бальзак Ганской, анализируя свое чувство. — И если нравственный мой идеал был превзойден в ее лице, то телесная сторона, которая много значит, оставалась непреодолимой преградой. И вот беспредельная страстная любовь, жажда которой живет в моей душе, до сих пор еще не нашла

¹ Перевод Г. Плисецкого.

утоления. Мне недоставало половины всего ее блаженства...» У Зюльмы Карро, конечно, прекрасная душа, но дружба не заменяет любовь, «ту простую, повседневную любовь... когда тебе доставляет бесконечное удовольствие слышать в твоём доме ее шаги и ее голос, шелест ее платья — словом, все то, что я, хоть и не в полной мере, изведаль несколько раз за последние десять лет». Вот что Ева Ганская могла бы дать ему, если бы верила в него. Но она недоверчива, она преувеличивает любую опасность, вместо живого Оноре Бальзака выдумывает какое-то воображаемое существо, журит его, наставляет, обвиняет.

Сага, объясните мне, пожалуйста, чем я заслужил нижеследующие относящиеся ко мне слова в вашем последнем письме: «Природное легкомыслие вашего характера...» В чем же состоит мое легкомыслие? В том, что уже двенадцать лет я без отдыха тружусь над огромным литературным творением? Или в том, что уже шесть лет у меня в сердце только одна привязанность? Или в том, что уже двенадцать лет я работаю день и ночь, чтобы уплатить огромный долг, который мать навязала мне из-за самых нелепых расчетов? Или в том, что, несмотря на все свои мучения, я не повесился, не пустил себе пулю в лоб, не утопился? Или в том, что, непрестанно работая, я делаю хитроумные, хотя и неудачные попытки сократить срок своих каторжных работ? Объясните же мне! Может быть, в том мое легкомыслие, что я избегаю всяких развлечений, всякого общества и всецело отдаюсь своей страсти, своей работе и уплате долга? Или в том, что я написал двенадцать томов вместо десяти? Или в том, что книги эти не выходят регулярно? Или в том, что я пишу вам с неизменным упорством и постоянством и всегда посылаю вам чей-нибудь автограф? В этом мое невероятное легкомыслие?.. Ради Бога, скажите, не бойтесь...

Легкомыслие характера! Право, ваше суждение подобно мнению добропорядочного буржуа, который, видя, как Наполеон озирает поле битвы и поворачивается направо, налево, во все стороны, изрек бы: «Этот человек не может спокойно постоять на месте. Удивительное непостоянство характера!»

Сделайте мне удовольствие, пойдите в ту комнату, где вы повесили портрет бедного своего мужика, взгляните на него. Посмотрите, какие у него широкие плечи, широкая грудь, широкий лоб, и скажите себе: «Вот человек самый постоянный, совсем не легкомысленный и очень положительный!» Это будет вам наказанием...

Совсем не легкомысленный человек?.. Может быть, но человек, которого очень нелегко удовлетворить. Он живет такими обширными замыслами, что никакие силы, даже сверхчеловеческие, не могут их осуществить. Чего же он хочет? Всего. «Он был безрассуден, — говорит Гозлан, — и так естественно, по самой природе своей, был существом всеобъемлющим; он не хотел иметь

дело с каким-нибудь отдельным фактом, для него этот факт связан был с другим фактом, а тот, другой,— с тысячью других... Все, что он писал: статьи, книги, романы, драмы, комедии,— было только предисловием к тому, что он рассчитывал написать...» И потому он мог сказать о своей жизни то же, что говорил о каждом своем произведении,— она была лишь предисловием к его жизни. Охота за сокровищем была для него только эпизодом в его поисках абсолюта.

XXVI

В ЖАРДИ

Жизнь терпима лишь при условии,
что ты всегда отстраняешься от нее.

Гюстав Флобер

«Маленький домик... женщина моих грез...» В отсутствие Бальзака каменщики построили ему маленький домик, и Бальзак лирически описал его «женщине своих грез». С возвышенности Виль-д'Авре открывался великолепный вид, внизу простирался Париж, «мой дорогой ад», как называл его Бальзак; повисшая над городом дымка затушевывала очертания знаменитых медонских холмов. «Удивительная красота и такой чудесный контраст»,— писал он Ганской. В конце владения Бальзака находилась железнодорожная платформа ветки Париж — Версаль, так что за десять су он в десять минут мог доехать от Жарди до центра Парижа, тогда как с улицы Батай ему для этого нужно было потратить по меньшей мере час и заплатить сорок су. По этой причине участок всегда будет представлять огромную ценность. «Я тут останусь до тех пор, пока не составлю себе состояния. ...И тут я в тишине и покое кончу свои дни, отказавшись втихомолку от надежд, от честолюбия и от всего...»

На доме — черная мраморная доска, и на ней вырезано золотыми буквами: Ж а р д и. В воображении Бальзака это было Марли, это был Версаль. В глазах его критически настроенных друзей, да и в его собственных глазах, когда он смиренно соглашался видеть правду, это было шале с зелеными ставнями, узкое двухэтажное строение, с тремя комнатами на каждом

этаже, с наружной весьма неудобной лестницей, которую называли парадным входом, «маленький и мрачный уголок», где зеленый участок, скорее надел, круто спу­скался к дороге и весь состоял из многоярусных террас, готовых весело сползти одна на другую при первом же грозном ливне. Сделанные с большими затратами опор­ные стенки, которые должны были удерживать эти скользящие террасы, удивляли опытных людей своим упорным стремлением обрушиться. Ни одно дерево не могло укорениться в этих диагональных пластах почвы. Бальзак хотел выписать из Венеции сваи и балки из негниющего дерева, на которых покоятся великолепные венецианские дворцы. Разумный подрядчик отговорил его от этого фантастического намерения. Садовники по­тратили несколько месяцев на то, чтобы с помощью своего искусства и каменной кладки удержать от опол­зания столь неудобный глинистый пик. Актер Фреде­рик Леметр, приехав посмотреть Жарди, все время, по­ка прогуливался там, держал в руках два камня и, как только хозяин останавливался, тотчас подкладывал их себе под ноги для опоры.

Лишь один Бальзак был невозмутим и не скользил на дорожках. Его поддерживала вера. По его мнению, он владел лучшим в мире земельным участком: на нем когда-то был прославленный виноградник, крутой склон благоприятствовал действию солнечных лучей. Поэтому Бальзак собирался разводить в Жарди тропические рас­тения. Он намеревался посадить в теплицах сто тысяч саженцев ананасов. Ананасы продавались тогда в Па­риже по 20 франков, ну что ж, он будет отдавать свои ананасы по 5 франков, то есть получать на каждом уро­жае доход в 500 000 франков. Расходы на рамы для теплиц, на уголь, на обработку земли составят 100 000 франков. Следовательно, чистого дохода за год — 400 000 франков. И ни малейшего риска! Верное дело!

Вместе с Теофилом Готье он искал на бульваре Мон­мартр лавку для продажи своих будущих ананасов. По­мещение нужно будет выкрасить в черный цвет, по чер­ному пустить золотую сетку, а на вывеске огромными буквами написать: «Ананасы из Жарди».

В воображении Бальзака,— писал Теофиль Готье,— сто тысяч ананасов уже вздымались под огромными хрустальными сводами зе­леные султаны из зубчатых листьев над крупными золотыми ко­нусами с квадратными наростами; он их видел, он наслаждался теп-

личной жарой, Он вдыхал тропические ароматы, жадно раздувал ноздри и, когда, возвратившись домой, стоял у окна и смотрел, как бесшумно падает снег на голые склоны Жарди, с трудом расставался со своей иллюзией...

Первым жилищем, построенным в Жарди, был крестьянский домик прежних его владельцев, он стоял в той же ограде, что и шале Бальзака, в шестидесяти футах от него. В домике поселилась графиня Висконти со своей семьей. Бальзак поставил там самую лучшую свою мебель и часть библиотеки — разумная предосторожность на случай возможной описи имущества. А в его коттедже, кроме кровати, стула, рабочего стола, не было никакой обстановки. На голых стенах он написал углем: «Здесь — облицовка из паросского мрамора. Здесь — резная панель из кедра. Здесь — роспись на потолке кисти Эжена Делакруа. Здесь — обюссоновский гобелен. Здесь — камин из полированного мрамора. Здесь — двери по трианонскому образцу. Здесь — мозаичный паркет из самых редкостных пород тропических деревьев...» — рассказывает Леон Гозлан. На полках были расставлены переплетенные в отдельные тома рукописи и корректурные оттиски произведений Бальзака во всех стадиях — от первой корректуры до окончательно выправленного текста. Около этих томов Готье заметил мрачного вида книжицу в черном переплете. «Возьмите ее, — сказал Бальзак, — это неизданные произведения, имеющие, однако, некоторую ценность». На титульном листе значилось: «Грустные расчеты» — там были собраны списки векселей с указанием сроков уплаты процентов и всей суммы долга, счета поставщиков, перечень долгов. Этот «сборник», стоявший рядом с «Озорными рассказами», «отнюдь не являлся их продолжением», как, смеясь, пояснил Бальзак.

Да, он по-прежнему смеялся, он не утратил своей «могучей жизнерадостности». Все счета из «грустного сборника» скоро будут оплачены — он примется писать пьесы для театра. Правда, драматургия не была его призванием: бальзаковский гений меньше блистал в диалогах, чем в описаниях, в анализе характеров или в широких исторических картинах. Но ведь пьеса, имеющая успех, приносила автору сто и даже двести тысяч франков, то есть в десять раз больше, чем роман, и он; Бальзак, конечно, быстро научится ремеслу драматурга, как научился он мастерству романиста. К тому же в пьесах

очень мало текста, писать их можно гораздо быстрее. Он живо состряпает три-четыре пьесы при содействии подручных и вместе с тем будет продолжать свое главное творение.

В запасе у него было множество драматических сюжетов. В тетради «Мысли и фрагменты» их перечню была посвящена целая страница. Он набрасывал планы: например, «Оргон» — продолжение «Тартюфа» (первый акт был задуман неплохо); набросок «Ричард Губчатое Сердце», представлявший собою канву многообещающей драмы из времен Консульства. Необходимость вынуждала его быстро осуществлять свои замыслы, он решил тотчас же написать пьесу «Старшая продавщица» — буржуазную трагедию, происходящую в торговом мире квартала Марэ; Бальзак рассказал сюжет госпоже Ганской, у которой он не встретил одобрения, а потом — Жорж Санд, и та пришла в восторг; пьеса получила название «Школа семейной жизни». Первоначальный замысел — обольщение хозяина лавки старшей продавщицей и ярость его возмущенной родни — казался Жорж Санд превосходным. В работе все изменилось. Продавщица, которую Бальзак собирался изобразить неким Тартюфом в юбке, стала в пьесе чистой девушкой, «приказчицей с нежным сердцем», искренне полюбившей негоцианта, и Бальзаку пришла злосчастная идея использовать в развязке пьесы историю, которую ему рассказал Меттерних: двое разлученных влюбленных сошли с ума и не узнавали друг друга! Буржуазная комедия заканчивалась плохой мелодрамой. А в первоначальном замысле были зачатки бальзаковского театра.

Бальзак пригласил в Жарди для совместной работы над «Школой семейной жизни» Шарля Лассайи, молодого, совершенно бездарного писателя, которого он почему-то считал «подающим надежды». У Лассайи был, по словам Алеви, «огромный рост и огромный нос. Вперед! Шагом марш! Нос предшествовал, дурак за ним шествовал». Помощник ужаснулся, когда увидел, какими темпами работает его наниматель. В час ночи слуга в ливрее будил его: «Барин просит вас встать». Потом Лассайи вели в столовую подкрепиться, на стол подавали отбивные котлеты, шпинат, очень крепкий черный кофе. Затем являлся Бальзак в монашеской сутане и уводил его в другую комнату. «Ну,

пишите... Школа семейной жизни». И он принимался диктовать наброски сцен. Диктовал до семи часов утра. Такова была жизнь в Жарди. Перепуганный Лассайи, так же как некогда Сандо, как Борже, обратился в бегство. Простые смертные не могут сосуществовать со сверхчеловеком.

Зато прекрасным помощником оказался остроумный Лоран-Жан, который был на девять лет моложе Бальзака; настоящее его имя было Жан Лоран. Длинный, худой, сутулый, хромой, он ходил подпрыгивая и опираясь на палку. «Серые глаза его метали пламя», а язык — сарказмы. Он был рисовальщик и писатель, но рисовал мало и ничего не писал. Гаварни смеялся: «Бальзак держит его при себе для того, чтобы говорить людям при случае: „У меня в Жарди есть бесплодная смоковница”». Но Бальзак главным образом «держал» Лоран-Жана за то, что этот представитель богемы умел развлечь его и был ему предан. Так же как и Леон Гозлан, он входил в ту веселую компанию, которая пировала на улице Кассини, когда Бальзак, забывая своих герцогинь, «с удовольствием и с пользой для себя якшался со всяким сбродом». Лоран-Жан со свойственной ему фамильярностью говорил Бальзаку «ты», называл его «миленький» или «дорогуша» и в конце письма ставил: «Прижимаюсь к твоей толстой груди». Матушка Бальзака обижалась, когда Лоран-Жан называл ее «дитя мое», и недовольно ворчала: «Разговаривай он с папой-римским, и то называл бы его „дитя мое”». Однако этот чудак, фантазер и остролов был воплощением преданности. Он потихоньку платил мелкие долги Бальзака у Фраскати *, выпроваживал неприятных посетителей. Взяв на себя обязанности посредника, он предложил «Школу семейной жизни» в Комеди-Франсез, но управляющим театра стал в это время Бюлоз, и Бальзак не мог ждать ничего хорошего от своего личного врага. Затем пьеса была предложена театру Ренессанс и после долгих переговоров отвергнута им. Однако ж она имела свои достоинства. Жерара де Нерваля восхищало то, что в этой буржуазной трагедии возродилась неистовая ярость Атридов. Бальзак читал «Школу семейной жизни» писателям (Стендалю, Готье), посланникам и светским людям — сначала у госпожи Кутюрье де Сен-Клер, а затем у маркиза де Кюстина. Он не пал духом и ни-

сколько не удивился, что первые шаги в драматургии оказались для него столь же трудными, как и на поприще романиста.

В Жарди он закончил роман «Музей древностей», начатый в Женеве. Местом действия, так же как и в «Старой деве», был избран Алансон. Центральной фигурой вместо мадемуазель Кормон стала мадемуазель д'Эгриньон; Бальзак любил сочетать симметрии и контрасты. Когда он описывал, как Диана де Мофриньез в мужском костюме, с хлыстом в руке посетила старого судью, любителя цветов, ему пригодились воспоминания о Каролине Марбути, которую он в Турине водил в оранжерею адвоката Луиджи Колла. Большой мастер мизансцен, он прекрасно знал, какая бутафория скопилась у него на складе аксессуаров, и, порывшись там, отыскивал под слоем пыли полезную подробность и нужный образ.

В превосходном предисловии автора указана основная тема романа: все провинциальные знаменитости устремляются в Париж.

«Музей древностей» — это повесть о небогатых молодых людях, носителях знатного имени, которые приезжают в Париж и гибнут там: одного разоряет азартная игра, другого — желание блистать, того затягивает омут наслаждений, а этого — попытка увеличить свое состояние, кто пропадает из-за любви, счастливой или несчастной. Граф д'Эгриньон — прямая противоположность Растиньяку, другому типу молодого человека из провинции. Растиньяк ловок и дерзок, он добивается успеха там, где д'Эгриньон терпит поражение.

Настала полоса творческих удач: после «Музея древностей» Бальзак тотчас взялся за вторую часть «Утраченных иллюзий» — «Провинциальная знаменитость в Париже». Он вложил в этот роман воспоминания о начале своего литературного пути, о жадных и нищих репортерах, о своем стремлении всех ослепить, о желчной злобе продажной прессы. Сонеты Люсьена де Рюбампре он попросил написать своих друзей — Дельфину де Жирарден, Готье, Лассайи. («Я вижу в этом, — говорит Ален, — своего рода презрение профессионала».) Фатовство Люсьена (трости, украшенные драгоценными камнями, бриллиантовые запонки, тонкие обеды и ужины) напоминает образ жизни самого Бальзака в 1835 году и приводит героя романа к такой же катастрофе. Но не мешает лишний раз напомнить, что хороший роман никогда не бывает авто-

биографией. «Утраченные иллюзии» — это «жестокое крещение» любого провинциала, двинувшегося в поход на завоевание Парижа. Конечно, Бальзак думал о Ле Пуатвене, о Рессоне, о Жюле Сандо, когда писал роман; конечно, он вспоминал Лавока, Рандюэля, Верде, рисуя книгоиздателей, которым Люсьен предлагал свои стихи. Чтобы создать образ Люсьена, он взял некоторые черты Жюля Сандо (послужившего ему также натурой и для Лусто), одного из подопечных Зюльмы Карро, молодого Эмиля Шевале, да еще уроженца Гренобля, некоего Шодзегга, «приехавшего в Париж, — как пишет Антуан Адан, — с глубокой верой в свои таланты и неотразимую свою красоту, бешено закружившегося в вихре света, влюблявшегося в маркиз и в один прекрасный день, когда он отрезвел, обнаружившего, что он остался без гроша и стоит на пороге самоубийства». Итак, живых натурщиков кругом было достаточно.

В рукописи романа можно напасть на кое-какие следы, которые потом были нарочно запутаны. Газета Финно сначала носила действительно существовавшее название: «Курье де Театр». Сам Финно похож на доктора Верона, на Амедея Пишо, на Виктора Боэна, но Бальзак постарался, чтобы в образе Финно не было портретного сходства с этими людьми. Блонде, Лусто, Натан, Рюбампре — его собственные создания, более живые, чем живые люди. Д'Артез, великий писатель Содружества, походил на сен-симониста Бюше. Создавая этот характер, Бальзак и в нем слил черты нескольких реально существовавших людей, но главное — в д'Артезе запечатлено лучшее, что было в самом Бальзаке. В предисловии к «Музею древностей» он писал:

Наблюдение это чудесно выражает итальянская пословица: «Это хвост от другой кошки» («Questa coda non è di questo gatto»). Литература пользуется приемом, применяемым в живописи, когда для создания прекрасного образа берут руки одной натурщицы, ноги — другой, грудь — у этой, плечи — у той. Задача художника — вдохнуть жизнь в тело, воссозданное им, и сделать изображение правдивым. Если же он вздумает всего лишь скопировать реальную женщину, то его произведение ни в ком не вызовет интереса...

«Утраченные иллюзии», пожалуй, лучший из романов Бальзака. Сюжет был ему очень близок. Лусто руководил Люсьеном де Рюбампре в его хождениях по

лавкам книгоиздателей, так же как Латуш посвящал Бальзака в тайны книжного рынка. Колебания Люсьена между Содружеством и низкой журналистикой отражали колебания самого Бальзака, смутно надеявшегося примирить республиканцев с легитимистами (как сблизилась Мишель Кретьен и Даниель д'Артез) для борьбы против буржуазного индивидуализма. Любовь Корали к Люсьену, картина ее смерти, та сцена, где любовник умершей пишет рядом с ее трупом веселую песенку, чтобы заплатить за похороны, исполнены высокой поэзии.

А в уме Бальзака уже созревали замыслы других романов: «Сельский священник», «Кто с землей, тот с войной», «Дочь Евы», «Беатриса». Каждая из этих книг должна была стать (и остается до сих пор) предметом восхищения и восторженного удивления. Этот человек знал все. Ему ведомо было соперничество, разгоравшееся вокруг богатой невесты в Алансоне, подоплека жизни в Лиможе, среда куртизанок, журналистов и книгоиздателей, любовные увлечения женщин и укоры их совести. Он встречал в жизни светских львов Парижа и почти не отличал их от персонажей своих романов. Кто это, Делакруа или Бридо? Дюпюитрен или Деппен? Жорж Санд или Камилл Мопен? Гюстав Планш или Клод Виньон? Пуповина, соединявшая мир живых людей с творчеством писателя, не была перерезана. Он был полновластный господин существ, которые жили в нем, и ему оставалось только выбирать среди них персонажей для нового произведения. Их прошлое порождало их будущее. В выборе им руководило не только личное желание, но и требования газет или необходимость дополнить том, и он находил это вполне естественным. Он возмущался тем, что казалось ему лицемерием Тартюфа, когда такой писатель, как Астольф де Кюстин, который получил большое наследство, позволявшее ему пренебрегать состоянием, какое он мог бы составить себе пером, когда этот богатый человек восхвалял бедность и гордость Руссо и осуждал «людей, жадных до денег, торгующих своим талантом»! Подождите-ка, отвечал Бальзак, но ведь Руссо в своей «Исповеди» весьма подробно рассказывает о переговорах, которые обеспечили ему шестьсот франков пожизненной ренты, а Расин и Мольер так же, как и Буало, принимали денежные милости короля.

В 1837 году любой писатель вынужден был под страхом нищеты считаться с капризными законами вкуса читателей и с требованиями книгопродавцев. Такая-то газета, такой-то журнал требуют, чтобы авторский текст был не слишком длинен и не слишком короток... Автор роется на своем складе и говорит: у меня есть «Банкирский дом Нусингена»! Но вот досада — «Банкирский дом Нусингена», хоть он и подходит по размерам в длину и в ширину, подходит и по цене, но говорит о вещах слишком щекотливых, совсем не соответствующих политической линии газеты. Автор опять заглядывает на склад и предлагает роман «Выдающаяся женщина» и повесть «Торпиль». «Ну что? Вы смаетесь над таким положением вещей? Вам кажется, что оно наносит ущерб искусству? Но искусство может приноровиться ко всему, может ютиться повсюду, оно забивается в уголки пекарной печи, в изгибы каменных сводов; оно может блистать во всем, какую бы форму ему ни придали...» Случай — превосходный мастер. Леонардо да Винчи и Микеланджело сто раз это доказали. Голая стена послужила поводом для создания «Тайной вечери»; из бесформенной глыбы мрамора изваян был «Скованный раб».

Учитывая положение, существовавшее тогда в издательском деле, автор должен был начинать несколько вещей сразу из опасения, что иначе не пристроит ни одну. В голове у него была настоящая мастерская художника. Посмотрите: в углу — группа «Утраченные иллюзии»... Не удивляйтесь, что ее участники стоят, выдвинув одну ногу вперед, как контрфорсы в каменных стенах парижских домов: дело в том, что издатель пожелал взять только один том, а не два. Второй выпустят в свое время. Если «Торпиль» что-то долго не появляется, то в задержке виноваты газеты: они боятся романов о любви проститутки. Вот почему в мастерской некоторые картины повернуты лицом к стене. Раз художнику не отпускают средств из государственного бюджета, раз ему не дают пособий из собственной «шкатулки короля» и нет у него наследственного поместья (стрела в адрес Кюстина), он вынужден кормиться своим творчеством. Что поделаешь, если те статуи, какие он принялся лепить, несколько меняются в его руках. В «Выдающейся женщине», над которой он стал работать по возвращении из Италии, много чи-

новников и мало выдающихся женщин. Дело в том, что фигуры чиновников уже были готовы, закончены, отделаны, а выдающуюся женщину еще нужно было вылепить. Между тем газета «Ла Пресс» ждет этот роман; «Фигаро» заранее заплатил двадцать тысяч франков за «Цезаря Бирото», да еще нужно написать несколько рассказов и новелл, чтобы дополнить «Философские этюды». Все эти работы приходится вести одновременно, и художник бежит от мольберта к мольберту. Что бы ни говорил Бальзак, а все же искусство порой страдает от рабского подчинения фельетону. Подписчики ежедневных газет берут на себя роль цензуры над произведением писателя на том основании, что газета «валяется повсюду и может попасть в руки женщин и детей». Читатели «Ла Пресс» жалуются, что роман «Выдающаяся женщина» («Чиновники») слишком серьезное произведение. А подписчики газеты «Сьекль» хотели бы выхолостить содержание «Беатрисы». Эти свободомыслящие пуритане боятся слова «грудь» и слова «сладострастие». «Экое шутовство и глупость», — пишет Бальзак госпоже Ганской.

Однако он не меняет своих приемов работы. В уме у него всегда много сюжетов, сформулированных в нескольких словах: «Любовь человеческая, которая приводит к любви божественной» (сюжет так и не написанного романа «Сестра Мария от ангелов»). «Славный старик, всего себя лишивший ради дочерей, умирает как собака» (сюжет «Отца Горио»). «Для «Сцен политической жизни»: министр ради политической комбинации приносит в жертву свою дочь, зятя и своих друзей» (роман остался ненаписанным). Иногда Бальзак пишет два произведения на один и тот же сюжет, но с разными концовками. В «Беатрисе» выведена графиня д'Агу, бросившая мужа и маленькую дочку, пожертвовавшая своим блестящим положением в свете ради великого музыканта Франца Листа; в «Дочери Евы» Мари де Ванденес подвергается такому же соблазну, но дипломатическая ловкость мужа вовремя спасает ее от грехопадения.

Сюжеты романов живут в его мыслях, как форели в садке, и по мере надобности он вылавливает их. Иной раз это не сразу удается. «Цезарь Бирото», например, долго не поддавался. Если книга «шла плохо», Бальзак отбрасывал ее в садок и переходил к другой вещи.

Зачем упорствовать? Его мир богат. Иногда он по-новому перерабатывает сюжет. Рассмотрим роман «Беатриса». Зерно замысла заронила Жорж Санд, описывая Бальзаку чету Лист — Мари д'Агу. Тотчас же он задумал написать роман «Каторжники любви» (или «Любовь поневоле»). Но нужно было транспонировать тему, чтобы обеспечить себе творческую свободу. Роли уже определены: чета любовников и образ Жорж Санд, гениальной женщины, которая наблюдала это любовное приключение и рассказывает о нем. Кому же дать эти роли? И где развернуть действие?

Бальзак сделал два наброска. В первом он местом действия выбрал Париж и начинал роман картиной легитимистских кругов после революции 1830 года. Баронесса Эмма де Резо, молодая дама из хорошего дворянского рода, «тоненькая и стройная женщина с овальным личиком и острым подбородком... со светло-голубыми глазами, которые нередко бывают окружены темной тенью, с изящным носиком, украшенным горбинкой, с запавшими ноздрями; она хранила вид гордой принцессы, что очень ей шло» (это портрет Мари д'Агу); она любит писателя Натана (одну из привычных марионеток Бальзака, приятеля Растиньяка, Блонде и Максима де Трай) и намеревается убежать с ним. Здесь фрагмент обрывается (замысел был использован в «Дочери Евы»). Бальзак нашел более интересный зачин: ему представит чету любовников некая писательница, подобие Жорж Санд, и, будучи гениальной женщиной, она лучше всех расскажет начало этой знаменитой связи.

Но Бальзак не может описывать Ноан или Берри. Это значило бы снять маску с Жорж Санд, а ведь сама она не захотела написать роман, чтобы не ссориться с Листом. Тогда Бальзак вспомнил о своем путешествии в Геранду, которое он совершил в 1830 году в обществе Лоры де Берни. Почему бы не подарить воображаемой Жорж Санд какую-нибудь усадьбу на побережье Бретани? Так создан был бретонский Ноан, старинный замок господ де Туш. Жорж Санд будет называться Камилл Мопен; в этом кроется ирония — ведь Теофиль Готье наделил героиню своего романа «Мадемуазель де Мопен» некоторыми чувственными наклонностями, приписываемыми Жорж Санд, а имя Камилл — одно из трех имен этого литературного гер-

мафродита. Наконец, Мопен походит на Дюпен, девичью фамилию Авроры Дюдеван. Камилл Мопен одевается в мужское платье, любит долгие верховые прогулки, обожает музыку. В юности она росла дичком, на полной свободе, так же как Жорж Санд; так же как и Жорж Санд, она маленького роста, у нее смуглый цвет лица, черные волосы, иной раз глуповатый вид, а в минуты страстного волнения — дивный взор. В общем, внешность Камилл Мопен так пленительна, что Жорж Санд не могла обидеться. Возле нее нарисован ее возлюбленный, знаменитый критик Клод Виньон. Прототипом его является Гюстав Планш, но Клод Виньон значительно его превосходит. Какой чудесной силой обладает писатель! Зачем чрезмерно тревожиться из-за того, что творится в обыденной жизни, когда можно так легко все поставить на свое место в мире романических вымыслов?

Геранда, древний укрепленный город, вызывает в воображении картины феодального мира. Бальзак производит оттуда старинный род барона дю Геник. Сам барон появляется во всеоружии благородных качеств, которые сразу можно угадать по системе Лафатера. Фигура кажется скорее вымышленной, чем списанной с натуры. Это воплощение рыцарства Бретани. Что касается баронессы, то она ирландка, и многое в ее образе взято у графини Гидобони-Висконти. Госпожа дю Геник (все еще красивая в сорок два года) старше, чем Contessa, родившаяся в 1804 году, но обе обладают «жаркой красотой августа, богатого красками», обе отличаются прелестной белизной, у обеих глаза голубые, как бирюза, и обе носят имя Фанни. В «Беатрисе», так же как это было в «Лилии долины», сразу можно разгадать алхимию романиста. Он берет из действительности, из реального любовного приключения (хорошо ему знакомого благодаря Жорж Санд) множество подробностей. Все создавать путем вымысла было бы напрасной тратой сил, к тому же не всегда выдуманное звучало бы правдиво. Но задача была не в том, чтобы попросту перенести в роман действительность в чистейшем ее виде, нет, надо было по-своему подать ее: тут усилить свет, там сгустить тени, поднять изображаемые характеры до высот типов и, наконец, связать отдельный случай со всей картиной, показав, как современный мир разрушил патриархальный

мирок Геранды. Может, впрочем, случиться, что на некоторых стадиях работы действительность не даст художнику нужной ему натуры. Тогда Бальзак откладывает свое полотно в сторону до тех пор, пока вдохновение или случайная встреча не помогут ему закончить работу. «Беатриса» ждала развязки пять лет — пять лет, в течение которых Мари д'Агу и ее двойник постарели. И тогда мы увидим, как другая женщина станет прототипом Беатрисы и как Каллист дю Геник, наивный бретонец, который бросил свою юную супругу ради распутной любовницы, «будет исцелен от иллюзий» и возвращен к семейному очагу благодаря добродетельному заговору, в который вошли его теща (герцогиня де Гранлье), умудренный жизнью кюре и авантюрист Максим де Трай. В труппе Бальзака имелись актеры на любые амплуа.

Но каким бы счастьем ни было для Бальзака «носить в голове целый мир», ему, увы, приходилось иногда спускаться на глинистые дорожки Жарди, и это становилось настоящей катастрофой. Долги, которые он сделал для покупки и благоустройства этого дома, в 1839 году уже достигли пятидесяти тысяч франков. Бальзак должен всем своим приятелям, должен и привратнице дома в Шайо, и садовнику Бруэту (привезенному из Вильпаризи), и даже полевому сторожу в Виль-д'Авре. Этот низший блюститель закона неосторожно дал займы писателю шестьсот франков, и Гозлан застал Бальзака, когда тот «прятался в своем садике, как затравленный заяц, не смея погулять в лесу» из страха столкнуться со своим кредитором. Этот долг фигурирует в списке «неотложных», в конце которого Бальзак наивно добавляет: — «забыл, кому сколько, но всего 4 000». Затем следовали долги «спокойные», из них десять тысяч графине Гидобони-Висконти. В бухгалтерии Бальзака сумма этой деликатной денежной помощи сопровождается пометкой: «Уплатить еще до конца года, без процентов». Он подарил прекрасной англичанке переплетенные оттиски корректуры «Беатрисы», а в самой книге напечатано в посвящении: «Саре», что вызвало ревнивые опасения госпожи Ганской.

Однако Бальзак надеется и даже питает уверенность расквитаться со всеми своими долгами, если он станет писать пьесы для театра. Перед тем как начать

в 1839 году новую драму «Вотрен», взятую им из своих романов, он смело предложил Арелю, директору театра Порт-Сен-Мартен, эту еще не написанную пьесу. И совершилось чудо: Арель согласился — ему до зарезу была нужна новая пьеса, а иллюзиями он обольщался, пожалуй, не меньше самого Бальзака. «Никакого риска, — уверял себя Арель, — герой пьесы известен публике по «Отцу Горио»; играть его будет Фредерик Леметр; успех обеспечен».

Теофиль Готье, честный и дружелюбный свидетель, описал, какие невероятные приемы применял Бальзак в качестве драматурга. Романы свои он переделывал и отделявал по десять раз, но совсем не обрабатывал свои пьесы. Накануне того дня, когда он должен был читать «Вотрена» в театре Порт-Сен-Мартен, он созвал Готье, Беллуа, Урлика и Лоран-Жана; собрал он их у портного Бюиссона на улице Ришелье, в доме сто четыре. У Бальзака было там пристанище — кокетливо и со вкусом убранная мансарда, со штофными обоями, с ковром в синих и белых разводах. Готье так описывает эту сцену:

— Ну, наконец и Тео пришел! — воскликнул Бальзак, увидев нас. — Ленивец, тихход, ай, унау! Поторапливайтесь! Вы должны были пожаловать час назад... Завтра я читаю у Ареля большую пятиактную драму.

— И вы хотите знать наше мнение? — спросили мы, с удовольствием располагаясь в креслах, как оно и подобает, когда люди готовятся слушать долгое чтение.

Угадав по этим позам нашу мысль, он сказал с самым простодушным видом:

— А драма еще не написана.

— Вот дьявол! — воскликнул я. — Придется отложить чтение на полтора месяца.

— Нет, мы живо смастерим драмораму, чтобы получить денежки. У меня как раз подошел срок векселям на солидную сумму.

— Но ведь к утру невозможно сочинить пьесу. Переписать и то не успеют.

— Мы вот как устроим: вы напишите первый акт, Урлик — второй, Лоран-Жан — третий, де Беллуа — четвертый, я — пятый, и завтра в полдень я прочту пьесу, как было условлено. В одном действии бывает не больше четырехсот или пятисот строк; пятьсот строк диалога прекрасно можно сделать за сутки — за день и ночь.

— Ну, рассказывайте сюжет, намекните план, обрисуйте в нескольких словах действующих лиц, и я примусь за работу, — ответил я, порядком испугавшись.

— Ах, так?! — воскликнул Бальзак с великолепными интонациями удрученности и гордого презрения. — Вам еще сюжет рассказывать?.. Этак мы никогда не кончим...

Из всех приглашенных за дело взялся только незаменимый Лоран-Жан. Может быть, он даже сделал больше, чем Бальзак. Конечно, на следующий день читка не могла состояться, разумеется нет! Пьеса была представлена в цензуру в январе 1840 года и сначала была отвергнута по соображениям морального характера: обнаружено было сходство главного героя с Робером Макэром, торжествующим вором и насмешником; в конечном счете Вотрен оставался безнаказанным. После некоторых незначительных поправок автор получил разрешение на постановку. Премьера состоялась 14 марта, и атмосфера в зале была враждебной. Из страха перед журналистами (затаившими злобу на него за «Утраченные иллюзии», где Бальзак дал беспощадную картину их нравов) он вздумал рассадить их вперемешку с платными зрителями. Но его противников оказалось в зале большинство. Три первых акта были встречены холодно. В четвертом акте появление на сцене Фредерика Леметра в мундире мексиканского генерала, с хохлом на голове, как у Луи-Филиппа, вызвало бурю возмущения. Герцог Орлеанский демонстративно вышел из ложи и, вернувшись во дворец, разбудил короля. «Батюшка,— сказал он,— вас выводят на театре в карикатурном виде. Неужели вы это потерпите?» На следующий день пьеса была запрещена. Бедняга Бальзак очутился, как Перетта в басне, перед разбитым кувшином! Эта басня преследовала его.

Провал «Вотрена» был тяжелым ударом для всего «небесного семейства». Из-за безденежья Сюрвиль не может ни прокладывать каналы, ни строить железные дороги, и от этого он совсем теряет голову, становится все более раздражительным и вспыльчивым. Он «со всеми на ножах и рычит как лев»,— пишет теща своим живописным слогом. Жена, которую он оскорбляет, в утешение себе говорит дочерям, что у него «мостовое настроение». После резких выходок Сюрвиль чувствует угрызения совести и готов просить прощения, но характер у него гордый, а Лора обидчива, «так что лед все не тает». Бедняжка Лора! Ей уже не двадцать лет, она постарела, красота увяла; ее одолевают печальные мысли об ушедшей молодости, о потерянных возможностях. По счастью, ее дочь Софи так мила и нежна с матерью. Она тоже твердит: «Это все мост виноват!» И в самом деле, инженер Сюрвиль достоин жа-

лости. Он работает день и ночь, и все же он на грани разорения. У зятя госпожи Бальзак и шурина Оноре Бальзака положение трудное. Лора это прекрасно понимает; она признает, что ее муж — славный человек, но не блещет талантами, больше всех дарований он наделен сердечным жаром. После очередной супружеской стычки она говорит служанке: «Вот они, прелести супружеского счастья!» Она отказывается от балов, от вечеров, от спектаклей; она начинает беспокоиться о замужестве дочерей. Словом, Лора Сюрвиль становится такой же, какой была когда-то в Вильпаризи ее мать.

Оноре доставил им обоим много беспокойства. После запрещения «Вотрена» Лора дала ему займы шестьдесят франков из той скромной суммы в пятьсот франков, которую муж выдавал ей ежемесячно «на стол». Если бы Сюрвиль узнал об этом, какую сцену ревности он устроил бы! А когда Бальзак заболел от неудачи в театре, Лора храбро приняла его в свой дом, уложила в постель, обеспечила ему хороший уход, но зачастую слышала за это укоры мужа: «Я же тебе говорил, что так и будет!» Госпожа Бальзак пишет: «Ты и представить себе не можешь, сколько «Вотрен» причинил мне горя (о деньгах я уже не говорю)! Репутация Оноре погибла! Теперь он конченный человек, если только новой своей пьесой не завоюет блестящего успеха». Можно подумать, что дело происходит в Байе в 1820 году. Мать величайшего в мире романиста портит себе из-за него кровь, как и во времена «Наследницы Бирага» или «Арденнского викария».

XXVII

АРЬБЕРГАРДНЫЕ БОИ

Одно из несчастий высокого ума состоит в том, что он неизбежно понимает все — и пороки и добродетели.

Бальзак

Вполне естественно, что великий писатель, страдающий оттого, что у него нет морального и общественного престижа, на который он имеет право, иной раз мечтает об апофеозе Вольтера. В 1839 году Бальзак,

казалось ему, нашел свое «дело Каласа». Спасти невинного — задача не менее славная, чем создать образ бандита. Дело Пейтеля привлекло внимание Бальзака, потому что он знал обвиняемого. Он встречался с ним в Париже в 1831 и 1832 годах, когда Пейтель, тогда еще очень молодой человек, приобрел пай в журнале «Волер» и вел в нем театральное обозрение. Пейтель казался ему человеком тщеславным, горячим, вспыльчивым, но добрым. Расставшись с Парижем, Пейтель работал у нотариуса в Лионе, потом в Маконе и наконец устроился нотариусом в Белэ. 7 мая 1838 года он женился на креолке Фелиси Алькасар, «бесспорно привлекательной особе, — пишет Перрод. — Она была смуглянка, как все женщины, родившиеся на Антильских островах, где в минуты страстного волнения девичьи щеки пылают, скрадывая матовую бледность, свойственную этим хрупким созданиям. Она была капризна и переменчива». Даже в родной семье ее считали «лживым и очень опасным существом».

В ночь с 1 на 2 ноября 1838 года Пейтель внезапно разбудил практикующего в Белэ врача Мартеля — он привез к нему из Макона свою молодую жену, смертельно раненную, и умолял врача оказать ей помощь. Он заявил, что его слуга Луи Рей выстрелил из пистолета по фаэтону; увидев, что госпожа Пейтель ранена, нотариус бросился преследовать убийцу. Как всегда во время поездок, он был вооружен шахтерским молотком и этим молотком ударил Луи Рея. «Не знаю, сколько ударов я нанес ему по голове, пока он не упал у моих ног».

Жандармерия и судебные власти не поверили объяснениям Пейтеля. Общественное мнение Белэ настроено было крайне враждебно по отношению к этому нотариусу, чужаку, недавно поселившемуся в городе. На судебное следствие оказали влияние политические страсти. Обвинительный акт создал некую воображаемую фигуру Пейтеля, человека скрытного, лицемерного, который вел в Париже распутную жизнь, промотал свое состояние и женился на очень богатой дурнушке (что было неверно), желая раздобыть таким образом деньги на покупку нотариальной конторы. Бальзак и Гаварни, которые знали Пейтеля, не могли поверить, что он был таким чудовищем, каким изображала его прокуратура. Когда суд присяжных в Бурке приговорил Пейтеля

к смертной казни, оба друга поехали навестить его в тюрьме, а Бальзак, встав на его защиту, написал длинное «Письмо о процессе Пейтеля, белэйского нотариуса».

Он попытался нарисовать более верный портрет осужденного: «Пейтель получил такое же воспитание, какое обычно дают детям в порядочных семьях; родители оставили ему состояние в сто тысяч экю; как нотариус, он принадлежит к той буржуазии, которая теперь почти что полновластно царит во Франции; в молодости он занимался литературой, работал в парижской прессе; разве мы не обязаны защитить его?» Проявляя большую осведомленность в юридических вопросах, Бальзак доказывал, что Пейтелю совсем не нужно было приданое Фелиси для того, чтобы заплатить за нотариальную контору, что недвижимое имущество в Маконе, доставшееся ему по наследству, осталось нетронутым и, наконец, что Ламартин, великий Ламартин, прислал «единодушное свидетельство людей, знавших Пейтеля и подтверждавших чистоту его прошлого и безупречность жизни».

Все усилия были тщетными и, быть может, только раздражали судей. Луи-Филипп не забыл, что Пейтель как журналист «лез в политику» и однажды опубликовал под псевдонимом *Луи Бенуа, садовник*, «Физиологию Груши», где крайне непочтительно говорилось об очертаниях королевской физиономии, да еще эта статья сопровождалась иллюстрациями Анри Монье. Роже де Бовуар написал ядовитую песенку:

Увы, увы! Никак
Не подыщет Каласа Бальзак.

Манеры и внешность Бальзака не понравились судейским чиновникам Бурка. «Ну да, Бальзак,— говорил Гаварни,— почему у вас нет приятеля, какого-нибудь тупоголового и преданного буржуа, который вымыл бы вам руки и завязал как следует галстук...»

Пейтеля казнили 28 октября 1839 года. Кажется, он действительно был виновен, но иначе, чем об этом говорилось в обвинительном акте, и преступление его носило менее гнусный характер. Пейтель не захотел открыть, что его жена была в связи со слугой (быть может, связь эта существовала еще до брака, так как Луи Рей состоял в услужении у маркизы де Монри-

шар, сестры Фелиси). Убийство из ревности все же было не так омерзительно, как убийство ради денег. Бальзак писал Чужестранке, что «этот бедный малый» мог бы спасти свою голову, если б сказал всю правду.

Да, у Пейтеля имелись обстоятельства более чем смягчающие, но сослаться на них было невозможно. Люди ведь не хотят верить некоторым благородным чувствам. Ну, теперь уж все кончено. Я вам когда-нибудь дам прочесть то, что он написал мне перед тем, как взойти на эшафот... Он был мучеником своей чести. За такие чувства, обуревающие героев Кальдерона, Шекспира и Лопе де Веги, театр рукоплещет, а в Бурке за них человеку отрубили голову.

Бальзак великодушно отдавал ради защиты обвиняемого и свое время, и свое перо, и деньги.хлопоты по делу Пейтеля, поездки в Бурк, напечатание «Письма» обошлись ему в 10 000 франков и, как он наивно говорил, принесли еще убытку на 30 000 франков, замедлив его работу. И произошло это в такое время, когда ему нужно было мобилизовать все средства. В июне 1840 года общая сумма его долгов, поднимающаяся, как морской прилив, достигла 262 000 франков, среди этих долгов на 115 000 франков было «дружеских» долгов (госпоже Бальзак, госпоже Делануа, доктору Наккару, портному Бюиссону и т. д.) и на 37 000 — неоплаченных, но «спокойных» векселей (как, например, супруги Висконти). Но был по крайней мере один весьма «неспокойный кредитор», некий Фуллон, домовладелец, своего рода Гобсек, который под ростовщические проценты дал Бальзаку 5000 франков под залог его авторских прав на «Вотрена»: не получив долга, он пустил в ход, как это делал некогда Даккет, все средства судебного воздействия, включая и наложение ареста на имущество должника. В Жарди эта комедия возобновилась. Садовник Бруэт сказал судебному приставу, что флигель со всею находящейся в нем мебелью принадлежит графу Гидобони-Висконти; в доме Бальзака нет никаких вещей, пригодных для продажи с молотка, кроме китайской вазы с щербатыми краями и разрозненных книг. Тогда безжалостный Фуллон добился наложения ареста на недвижимое имущество, то есть на оба флигеля. Бальзаку надо было спешно продать Жарди и переселиться в другое место. Улица Батай была окружена, красивая мебель, поставленная у Бюиссона на улице Ришелье, вывезена по постановлению суда, в который обратился свирепый кредитор.

Даже госпожа Бальзак держала себя не так спокойно, как того хотелось ее сыну. Вот что она писала ему 22 октября 1840 года: «Нынче, дорогой и любимый сын мой, мне исполнилось шестьдесят два года... Я начала этот день молитвой за вас, дети мои, и мысленно благословила вас... Каждый день молю Провидение, чтобы оно поддержало тебя в твоей борьбе...» Она хранила молчание «более двух лет» и не виделась с сыном из страха, что ей «будет оказан холодный прием», но как она страдала из-за того, что живет на средства зятя. Не мог бы сын дать ей приют? Эта мысль привела Бальзака в ужас. Если под одной кровлей с ним будет жить такая неуравновешенная женщина, как его мать, это будет жестокой угрозой его душевному покою! А ведь ему еще так много надо написать! Чем больше он продвигался по своему пути, чем больше создавал, тем больше цель как будто отдалялась от него. Однажды он написал Зюльме Карро: «Будущее начинает приближаться», а через несколько месяцев уже сообщал: «Все одно и то же: бесконечные ночи, ночи и по-прежнему впереди целые тома! То, что я хочу построить, так высоко, так обширно!» По правде сказать, раз он хочет соперничать с самим Богом, то ему не закончить своих произведений, проживи он хоть сто лет.

А кто, кроме Зюльмы Карро, понимает его? Его отношения с Гидобони-Висконти становятся менее теплыми. Хотя Contessa и любит Бальзака, она устает от этой беспокойной жизни, от этих постоянных долгов, от этих судебных исполнителей, осаждающих его со всех сторон. Да, кажется, и Бальзак уже исчерпал все радости этой любовной связи. Сара никогда не требовала и не обещала верности. Она втайне применяла в жизни свои собственные, британские принципы морали. Ей было известно о романе Бальзака с Ганской, и он ее не смущал. Впрочем, переписка Бальзака с его Евой стала более вялой. Надежды неизменно сменялись разочарованием, и их затягивал туман забвения. Появлялись другие женщины, ибо Бальзак не умел противиться соблазну любовного приключения, которое могло стать сюжетом романа.

В апреле 1839 года он напечатал в «Ле Сьекль», директором которого был его приятель Дютак, первую часть «Беатрисы». По поводу этого романа Бальзак получил письмо. Его корреспондентка была, как она со-

общила, молодая девица, уроженка Геранды, а посему поклонница, вдвойне заинтересованная книгой: во-первых, история, описываемая там, развертывалась в ее родных краях, а во-вторых, героиню романа зовут так же, как и ее, — Фелисите. Странная причина для восхищения глубоким произведением, но находятся и такие читательницы. Бальзаку доставляла удовольствие эта переписка, потому что «юная солеварка» выступила в роли боязливой влюбленной, очарованной великим и недоступным человеком. Зная, что он находится в Жарди и выздоравливает там, после того, как вывихнул себе ногу, барышня послала ему вышитый коврик с цветочным узором, и Бальзак подтвердил получение посылки.

3 июля 1839 года:

Мадемуазель! Я еще не могу ходить, и этим плачевным обстоятельством объясняется запоздание в присылке моих жалких цветов риторики взамен ваших прелестных букетов, которые стоят безумного труда и прекрасны, как творение волшебницы, заточенной в темницу.

Чувства, выраженные в вашем письме, конечно, извинят меня за то, что я бегу из Парижа в деревню, ибо Париж губителен для некоторых душ. В конце недели я вышлю книги, если они к тому времени будут переплетены, по адресу, указанному вами.

Поскольку вы подражаете Господу Богу и дарите смертным свои щедроты, не показываясь им, я выражу в письме то, что хотел бы сказать вам устно: меня растрогали чувства, которым я обязан вашим письмом, и я ответил на него лишь потому, что чувства эти отличаются, на мой взгляд, от любопытства, которому дают волю авторы других посланий ко мне.

То, что вы говорите на прощанье, показывает, какая у вас поэтическая душа. Искренние порывы сердца всегда красноречивы, и, когда я думаю обо всем, что мне пришлось потерять, я нахожу, что вы поступаете хорошо. Но смею уверить вас, не увидев вашего таинственного личика, я больше и думать не стану ни о Бретани, ни о тех прекрасных краях, где вы живете.

Я подал повод к некоторым сплетням обо мне, но если ваша крестная мамаша, может быть, и права в своих утверждениях, умоляю вас поверить мне, мадемуазель, что не только среди писателей, но и вообще среди мужчин я принадлежу к числу тех, кто может лишь бескорыстно восхищаться вами, даже если б я не оказался предметом, как вы говорите, *романтической направленности* вашего ума. Наш брат больше, чем все прочие вместе взятые, знает, как редко встречается это благородное чистосердечие, которое выгодно отличается от пошлых условностей. Прошу вас, гоните от себя мысль, которая была бы для меня горькой. Позвольте мне выразить вам свою признательность и поблагодарить за все ваши знаки внимания...

Письма этой новой незнакомки представляли собой весьма любопытную смесь подлинных фактов и бесстыдной лжи. Хвастаясь тем, что она принадлежит к старинному дворянству, Элен-Мари-Фелисите де Валет говорила правду. И тут же она лгала, сообщая, что мать ее «жива и находится при ней». Госпожа де Валет умерла за двадцать один год до этого.

Элен называла себя бретонкой и говорила, что она не замужем. Она действительно по происхождению бретонка, так как родилась в Рошфор-сюр-Мер и воспитывалась в монастырском пансионе в Ванне. Но то, что она никогда не была замужем, — чистейшая ложь. Она была единственной дочерью морского офицера, который, овдовев, постригся в монахи, и вышла замуж рано, в семнадцать лет, за пятидесятилетнего вдовца-нотариуса, у которого был юноша сын. В 1839 году, когда Элен задумала завоевать Бальзака, ей было тридцать лет, она заказывала гравировать на своей почтовой бумаге графскую корону и больше уж не желала, чтобы ее называли «вдова Гужона».

Ее супружеская жизнь была недолгой: замуж она вышла 18 января 1826 года, а 25 ноября 1827 года овдовела. По завещанию покойный муж оставил ей в полную собственность четвертую часть своего движимого имущества, которую она могла передавать и по наследству. Он оставил ей также, но лишь в пользование, четвертую часть недвижимого имущества; все остальное ваннский нотариус назначил своему сыну от первого брака. Особым пунктом завещания оговаривалось, что молодая вдова, достигшая всего лишь девятнадцати лет, теряет право на пользование недвижимым имуществом, если выйдет замуж второй раз. Элен Гужон не хотела признаваться Бальзаку ни в том, что она вдова, ни в том, что у нее есть любовник и внебрачный сын. Она состояла в постоянной связи с дворянином, владельцем замка на берегах Шера, графом Мулине д'Ардемаром, и от него у нее в 1831 году родился мальчик, нареченный Эженом. С графом она обращалась, как с супругом, то есть питала к нему больше уважения, чем любви, и бессовестно изменяла ему.

В ее жизни был еще и второй покровитель — барон Ипполит Ларэ, военный врач (так же как его знаменитый отец) и «самый обаятельный человек на свете» питал к ней глубокую привязанность, длившуюся всю

его жизнь. В 1839 году Прекрасная Солеварка жила то в Бретани, то в Париже, где у нее было пристанище — «простая мансарда художника» в доме номер 12 по улице Кастильон. В конце осени она получила от Бальзака разрешение посетить его в Виль д'Авре. Когда она явилась туда, писателя не было в Жарди. Она смело проникла в дом и даже дерзнула взять там какую-то вещь на память. «Я чувствовала все неприличие воровства, которое я позволила себе совершить у вас. Но я была как безумная, да, я как безумная плакала от радости, от счастья, что я вдруг оказалась в тех местах, которые вам нравилось устраивать по своему вкусу, которые вы любили. Простите же мне, как прощают безумцам...»

Должно быть, Элен присвоила себе чернильницу Бальзака, потому что «взамен» подарила ему ту чернильницу, которую ей завещала ее крестная мать, госпожа де Ламуаньон. Из письма в письмо смелая мистификаторша продолжала сочинять историю своей жизни. Вот она сообщает, что вышла замуж. Ей придется расстаться с Бретанью, и на прощание она раздала приятельницам «все свои девичьи безделушки»... «Буду ли я счастлива? Одному Богу это ведомо! Мне жаль расставаться с родным краем, и, однако ж, единственная радость, которую я там извела, исходила от вас. Я найду ее повсюду...» Такое восторженное поклонение, предметом которого оказался Бальзак, не могло не соблазнить его. В начале 1840 года Элен явилась к нему собственной персоной, великодушно предложила денежную помощь и не проявила неприступной добродетели. В марте Бальзак уже называет ее «моя дорогая Мари» (симптом безошибочный), занимает у нее десять тысяч франков — тоже разоблачающая примета; обещает вернуть деньги после торжества «Вотрена» и, так как не может расплатиться, дарит ей корректурные оттиски «Беатрисы», собственноручно правленные им.

Моя дорогая Мари! Вот отработанные корректурные оттиски «Беатрисы», книги, к которой я благодаря вам питаю такую привязанность, какой никогда не чувствовал ни к одному своему произведению, и которая оказалась связующим звеном, породившим нашу дружбу. Я дарю такие вещи только тем, кто любит меня... и среди тех, кому я дарил их, не знаю сердца более чистого, более благородного, чем ваше... Шлю тысячу поцелуев. Addio, cara.

Эти излияния, это подношение рукописей составляют в глазах Бальзака доказательство любви. И они ни к чему не обязывают. Однако ему приятно было думать, что его любит ангел чистоты, дочь первобытной Бретани. Через месяц он сообщает Элен, что пишет новую пьесу, «Меркаде», и из доходов за нее заплатит долги, которые не мог погасить «Вотрен». «В октябре я заплачу по своей театральной закладной... Пишу об этом наспех, чтобы успокоить вас, бесценное мое сокровище. Спасибо за письмо, милая душечка...»

Но «очень скоро бретонскому ангелу подрезали крылышки». Некий Эдмон Кадор (кажется, это был не кто иной, как Роже де Бовуар, журналист, писавший под разными псевдонимами) сделал Бальзаку неоспоримые и неприятные разоблачения: Элен де Валет — вдова, фамилия ее по мужу Гужон; она признала своим незаконного ребенка, рожденного ею вне брака; ее открыто содержат два богатых человека; у нее было много мимолетных увлечений, и в числе ее любовников состоял и сам доносчик. Бальзак, жертва мистификации, написал мистификаторше (которая проводила то лето в Бретани), потребовал от нее объяснений. Она потеряла самообладание.

Элен де Валет — Бальзаку, Батц, 29 июля 1840 года:

После вашего письма моя жизнь стала сплошным кошмаром, и когда я отвечала вам, то сама не знала, что делаю! Мне важно было одно: уверить вас, что я никогда не любила господина Кадора. Теперь вы просите меня рассказать подробно и правдиво обо всем... Я никогда не принадлежала этому человеку... Он забавлял меня, я терпела его возле себя из страха и из кокетства. В первый же день, как мы познакомились, он мне заявил, что был любовником Жорж Санд и что он стегал ее хлыстом! Это привело меня в ужас... Дорогой, вот и все, больше мне нечего об этом сказать... Кадор — тщеславное существо. Вы могли бы вырвать у него мои письма, но не можете помешать ему болтать. Он почитал бы счастьем для себя оказаться замешанным в приключении, где его имя будет связано с именем такого человека, как вы. А мне этого совсем не хочется, я готова нести последствия своего преступного легкомыслия, но вы, мой любимый, должны оставаться в стороне...

Элен де Валет, мистификаторша, опьяневшая от своей поэтической лжи, продолжала сочинять себе подкрашенную жизнь.

Элен де Валет — Бальзаку, август 1840 года:

Мне следовало понять вас и питать к вам больше доверия. Мы с вами побеседуем, раз вы так добры, что проявляете интерес к

моему положению. Я буду благоразумна... Я хотела сохранить свою независимость. Я бываю свободна десять месяцев в году. Я живу одна... Мне приходится иметь дело с честнейшим в мире человеком; ради меня он принес огромные жертвы как по части состояния, так и своего положения в обществе... У меня есть обязательства по отношению к нему. Ни за что на свете я не согласилась бы причинить ему хоть малейшее горе, и поэтому я трепетала, как бы этот гнусный Э. К. не скомпрометировал меня!.. У меня нет к графу тех чувств, которые я так желала бы иметь, но я знаю, что мне нужно окружать его доказательствами моей нежности к нему. Я хотела молчать обо всем и быть для вас видением, навсегда остаться для вас дикаркой, дочерью дикой Бретани... Но вот явился некий Кадор, назвал вам мое имя, рассказал о моем ребенке, и вы пожелали, чтобы я все открыла вам. Теперь вы все знаете обо мне — и хорошее, и дурное...

В конце концов и сам Бальзак никогда не был образцом верности и не выказывал чрезмерного уважения к добродетели. Два актера нуждались друг в друге — для реплик. Элен была приятной подругой в путешествии, Бальзак должен был ей деньги. Зачем разрывать? В апреле 1841 года он съездил с Элен в Бретань, чтобы еще раз посмотреть на Геранду, на Круазик и Батц, которые осматривал когда-то с госпожой де Берни. Он задумал закончить роман «Беатриса», последняя часть которого еще не была написана. 16 июля 1841 года Бальзак писал Ганской: «Душевная и телесная усталость заставили меня совершить маленькое путешествие по Бретани, занявшее две недели в апреле и несколько дней в мае. Я вернулся совсем больным. Весь конец мая провел в ванной, ежедневно сидел в ванне по три часа, чтобы избежать воспаления». Тогда ходили неприятные слухи о состоянии здоровья Элен де Валет.

В последней части романа «Беатриса» в образе героини гораздо больше воплощена Элен де Валет, чем Мари д'Агу. Бальзак рисует неуравновешенную особу, обезумевшую от жажды мести, женщину, у которой жестокость внезапно берет верх над кокетством. «И может быть, Элен де Валет имеет отношение к этой метаморфозе», — пишет Морис Регар в своем предисловии к «Беатрисе». Она талантливо умела играть комедию любви, и слова Максима де Трай в беседе с герцогиней де Гранлье выражают собственные мысли Бальзака: «Подлинная любовь говорит: «Я люблю ее, пусть она низкое существо, пусть обманывает меня и будет обманывать впредь, пусть она видала виды, пусть она

прошла огонь и воду!» И все-таки бежит к ней и видит синеву небес, райские цветы...» В 1841 году Бальзак посвятил «Сельского священника» Элен. Но в рабочем экземпляре, по которому он в 1845 году готовил роман к переизданию, он вычеркнул это посвящение. Любовники поссорились, и госпожа де Валет весьма резко требовала, чтобы Бальзак возвратил ей с процентами десять тысяч франков, которые она ему дала в долг. Жалкое и некрасивое любовное приключение!

А благородная Зюльма Карро, казалось, совсем была принесена в жертву новым увлечениям. Оноре не только не приезжал больше во Фрапель, но, даже когда госпожа Карро жила в Версале — так близко от Жарди, — он не находил времени хоть на минутку заглянуть к ней. Высокими душами всегда пренебрегают, потому что они никогда не жалуются, им противно плакаться.

Вы, конечно, понимаете, что, если я не мог приехать в Версаль повидаться с вами, значит, я был связан неотложной работой; я едва сумел вырваться посмотреть диву. У меня в моих кампаниях нет ни времени, ни места для привалов и бивуаков. Вот я и тружусь. Написал «Дочь Евы», «Беатрису», «Провинциальную знаменитость» — всего пять томов *in octavo*¹ — и печатаю сейчас «Сельского священника». Судите сами, какова моя жизнь...

Зюльма Карро больше винила любовные интриги Бальзака, чем его труд.

My dear, — писала она, — вы счастливы, я это знаю и не хочу, чтобы какие-нибудь посторонние мысли примешивались к теперешнему вашему блаженству... Узнав, что «Провинциальная знаменитость» вышла в свет, я раздобыла книгу. Это произведение, целиком продиктованное умом, но умом очень здравым, простое, без претензий. Давно уже ни одна из ваших книг не доставляла мне такого удовольствия... Мы идем с вами разными дорогами, и неудивительно, что нам не удастся протянуть друг другу руку...

Бальзак — Зюльме Карро, ноября 1839 года:

Вы считаете меня счастливым? Боже мой! А ко мне пришло горе, тайное, глубокое горе, о котором и сказать нельзя. Что касается материальной стороны жизни, то написанных шестнадцати томов и созданных в этом году двадцати актов театральных пьес оказалось недостаточно! Сто пятьдесят тысяч франков, заработанные мною, не принесли спокойствия!. Жарди должно было составить мое счастье во многих отношениях, а оно разорило меня. Больше не хочу иметь сердце. Поэтому я весьма серьезно подумываю о женитьбе. Если вам встретится девушка лет двадцати двух,

¹ В восьмую долю листа (лат.).

богатая невеста с приданым в двести тысяч или хотя бы в сто тысяч франков, лишь бы ее приданое можно было употребить для моих дел, вспомните обо мне. Я хочу, чтобы моя жена могла приноровиться к любым обстоятельствам моей жизни, могла бы стать женою посла или усердной хозяйкой в Жарди. Но никому не говорите — это секрет. Она должна быть девушкой честолюбивой и умной...

Эюльма Карро — Бальзаку, 2 декабря 1839 года:

Я не знаю ни одной девицы, отвечающей поставленным вами условиям, да если бы и знала такую, то меня остановили бы ваши слова: «Больше не хочу иметь сердце и поэтому подумываю о жснитьбе». В моих глазах, еще больше, чем прежде, брак — дело серьезное. Я много размышляла над вашей «Физиологией брака», и как же мне оказались знакомы все несчастья и бедствия, которые мужья сами насаждают в семье. И у меня теперь слезы подступают к горлу, всякий раз как я бываю на свадьбах. Позвольте же мне не принимать никакого участия в деле, которое, может быть, станет для вас мучением всей жизни.

Как могла госпожа Карро, прекрасно зная своего друга, принимать всерьез его мимолетные настроения? Он больше и не думал об этом «деле», так как весь был поглощен «Сельским священником» и многими рассказами. Бальзак уже давно обещал Ганской написать роман «Католический священник». И теперь он исполнил обещание, но действие романа развертывалось на мрачном фоне трагической любви и преступления (воспоминание о деле Пейтеля), о котором пронизательный священник Бонне догадывается только во второй части романа. Первая часть — это история Вероники Граслен, жены богатейшего лиможского банкира, которой противен ее муж, человек отталкивающей внешности и грубый деспот; от всех скрыта ее любовная связь с рабочим фарфорового завода Жаном-Франсуа Ташероном. Любовь приводит его к тому, что он непредумышленно совершает убийство. Он арестован, приговорен к смертной казни и, боясь скомпрометировать Веронику, притворяется сумасшедшим до того дня, когда аббату Бонне, приходскому священнику вымышленной деревни Монтеньяк, удастся тронуть его суровую душу. Ташерон идет на казнь, как христианин.

Читателю ничего не известно об этой трагически завершившейся связи, он только становится свидетелем раскаяния Вероники. Овдовев, она удаляется в Монтеньяк, феодальное владение, проданное герцогом Наваренским банкиру Граслену. Из окон замка

она видит могилу своего казненного любовника. Руководимая аббатом Бонне Вероника пытается добрыми делами искупить свою вину. Край гибнет из-за отсутствия воды и стародавних способов обработки земли. Вероника заручается содействием молодого инженера Грегуара Жерара, окончившего Политехническое училище, человека, которому надоели парадные мундиры студентов училища и высокое начальство и который счастлив был посвятить себя великому начинанию (в образе Жерара есть черты Сюрвиля). Католицизм и деятельность спасут Веронику, а на смертном своем одре она всенародно покается в своем грехе. Ни один из романов Бальзака, даже «Лилия долины» и «Сельский врач», не показывает так ясно, чем была для него религия. Он не верит в формальные истины догматов, но думает, что милосердие таких священников, как аббат Бонне, возрождает надежду в людях, которые считают себя бесповоротно погибшими и потому бывают озлоблены. Душа священнослужителя — смиренная душа, полная любви и самоотверженности, — может возродить к новой жизни даже преступников при том условии, чтобы «они тоже участвовали в жертвоприношении».

Эту возвышенную идею Бальзак проводит в «Сельском священнике» с неослабной ясностью мысли и слога. Лесные пейзажи, каменистые пустоши, картины сельских красот чередуются с удивительными техническими докладами о совместных благих делах аббата Бонне и инженера Жерара. В длинейших и скучных тирадах Бальзак подробно излагает способы распашки целины и методы ирригации: «Это «Георгики» молодого инженера». Сельский священник, так же как и сельский врач, верит в спасительное воздействие труда. «Вашими молитвами должны быть труды ваши», — говорит Бонне. Здесь Бальзак недалек от заключительной мысли второй части «Фауста», где превозносятся те же моральные принципы, какие выдвигает инженер Жерар. Бальзак всегда был ближе к Гёте, чем он думал.

Еще раз он пустился в практическую деятельность, основав «Ревю паризьен». Как будто уж достаточным уроком должен был оказаться для него крах «Кроник де Пари», но вот в 1839 году Альфонс Карр основал бсевой политический и литературный ежемесячный журнал «Ле Геп»; первый номер его тотчас был распродан в количестве двадцати тысяч экземпляров, а за-

тем его стали раскупать и по тридцать тысяч экземпляров. У Бальзака было больше таланта, чем у Карра, больше работоспособности и не меньше смелости. Почему же ему одному не взяться за журнал? Во вступительной статье он определил свои задачи: описывать «комедию управления», показывать, что делается за кулисами политической жизни, говорить правду в области литературы, где критике зачастую «недостает искренности», и, наконец, публиковать фрагменты своих собственных романов. «Журнал не ограничится обещанием привлечь самых знаменитых писателей. Он уже привлек их». В действительности же к услугам журнала имелось перо лишь одного писателя, зато отточенное на славу.

Журналу нужен был администратор, за это дело взялся Дютак, и он же занялся технической стороной. Доходы решено было делить пополам. Бальзак надеялся, что, став владельцем журнала, он завоюет прежнюю независимость. В ежедневной прессе у него были опасные соперники: Александр Дюма, Эжен Сю, Фредерик Сулье. Они не отличались такой глубиной ума, как он, но им легче было применять рецепты газетной кухни: отрывки, фельетоны с продолжением. Бальзак еще фигурировал среди «маршалов фельетона», но уже с трудом удерживал в своей руке маршальский жезл. И вот «Ревю паризьен» должно было стать линией отступления.

В журнале Бальзак напечатал прекрасную новеллу «З. Маркас» — это имя он нашел, читая вывески в квартале Сантье. «Хоть это имя странно и дико, у него все права на то, чтобы сохраниться в памяти потомства; оно звучит стройно, оно легко произносится, ему присуща та краткость, которая подобает прославленным именам...» Черт возьми, оно походит на фамилию Бальзак! Что касается изломанной линии буквы З, то «не отображают ли очертания этой буквы неверный и причудливый зигзаг бурной жизни»? Маркас — республиканец, патриот; у Маркаса, как у Бальзака, большая голова, крупные черты лица, широкий нос, раздвоенный на конце, как у льва, почти что грозное лицо, которое озаряют черные, бесконечно ласковые глаза, спокойные, глубокие, полные мысли. Бальзак любит своего героя так же, как любит он Мишеля Кретьена. «Подобно Питту, которому Англия заменяла жену, Маркас носил в своем сердце Францию: она бы-

ла его кумиром». Надо отметить, что восхищение, которое у Бальзака вызывает Э. Маркас, не противоречит его монархизму. И Бальзаку, и Э. Маркасу противны были «медикратия» и «геронтократия». Политический строй, порожденный Революцией, которую совершили молодежь и интеллигенция, отстранил молодежь и интеллигенцию. «Сейчас всю молодежь толкают к республиканским идеям...» Она вспоминает молодых делегатов Конвента и молодых генералов 1792 года. При Луи-Филиппе в парламенте нет тридцатилетних депутатов. Вот что возмущает и Бальзака, и его героя.

Бальзак вел также в своем журнале литературную критику, и это была критика громовая, блестящая, несправедливо суровая по отношению к бедняге Латушу и к Эжену Сю, чудесным образом угадавшая, однако, гений Стендаля, тогда еще мало известного. Бальзак писал о Латуше в номере своего журнала от 25 июля 1840 года: «Неистовую пляску невозможных преступлений и глупостей — вот что покажет вам жалкий неволшебный фонарь под названием «Лео»... «Лео» доказывает, что... искусство подготавливать сцены, намечать характеры, создавать контрасты, поддерживать интерес автору совершенно неведомо»¹.

Латуш и Бальзак не только были в ссоре, они терпеть не могли друг друга. Латуш давал Бальзаку слишком много советов — это трудно простить. Бальзак не следовал этим советам — это невозможно простить. «Берегитесь, — говорил о нем Бальзак Жорж Санд, — вот увидите, в одно прекрасное утро он неизвестно почему окажется вашим смертельным врагом». А все дело было в том, что Латуш любил своих молодых лошадок лишь до тех пор, пока они не начинали брать призы на скачках, на которых сам он всегда проигрывал. Но надо сказать, что лошадки безжалостно кусали своего учителя.

Бальзак жестоко ополчился против Сент-Бёва, всегда отзывавшегося о нем пренебрежительно. Статья Бальзака о «Пор-Рояле» была просто ужасна: «...Г-н Сент-Бёв возымел удивительную идею возродить скучный стиль... Когда читаешь г-на Сент-Бёва, скука порой поливает вас, подобно мелкому дождику, в конце концов пронизывающему до костей... В одном отношении

¹ Бальзак. Письма о литературе, театре и искусстве.

автор заслуживает похвалы: он отдает себе должное, он мало бывает в свете... и распространяет скуку лишь с помощью пера... Стихи г-на Сент-Бёва всегда казались мне переведенными с иностранного языка человеком, который знает этот язык поверхностно»¹. «Пор-Рояль» — хорошая книга, и критика Бальзака несправедлива.

Единственным оправданием этой сосредоточенной злобы было то, что тут пример подал сам Сент-Бёв. Он называл Бальзака врачом, специалистом по тайным болезням. «Да, да, он позволяет себе фамильярности, как эти доктора, заглядывающие за полог алькова, и допускает такие же вольности, как торговки-старьевщицы, как маникюрши, как кумушки-сплетницы». И Сент-Бёв еще добавляет: «Самому плодовитому из наших романистов понадобилась навозная куча высотой с дом, чтобы вырастить на ней несколько болезненных и редких цветков». В «Ревю паризьен» Бальзак в отместку сравнивает Сент-Бёва с моллюсками, у которых нет «ни крови, ни сердца... чья мысль, если только она есть, скрывается под противной беловатой оболочкой». Что касается стиля, то его «вялые, беспомощные и робкие фразы, соответствующие сюжетам произведений, плохо раскрывают идеи автора»².

Но этюды Бальзака о Бейле (Фредерике Стендале) могут порадовать благородные умы. Знаменитый романист бросил весь авторитет своего имени на весы литературной критики, чтобы поставить в первые ряды писателей мало известного публике автора, написавшего за десять месяцев до появления статьи «Пармскую обитель», не удостоенную благосклонного внимания ни одного журналиста, — никто не понял, никто не исследовал этот роман.

Я — а я думаю, что кое-что в этом понимаю, — прочел на днях это произведение в третий раз: я нашел его еще более прекрасным и испытал чувство, похожее на счастье, возникающее в душе человека, когда его ждет доброе дело... Господин Бейль написал книгу, прелесть которой раскрывается с каждой главой. В том возрасте, когда писатели редко находят значительные сюжеты, и после того, как им написано уже два десятка в высшей степени умных книг, он создал произведение, которое могут оценить только души и люди поистине выдающиеся. Он написал современную книгу «О князе» — роман, который написал бы Макиавелли, живи он,

¹ Бальзак. Письма о литературе, театре и искусстве.

² Там же.

изгнанный из Италии, в девятнадцатом веке... Я знаю, сколько насмешек вызовет мое восхищение¹.

А госпоже Ганской он сообщал в письме: «Бейль недавно опубликовал, по-моему, самую прекрасную книгу из всех, какие появились за последние пятьдесят лет».

Бальзак был знаком со Стендалем, он встречался с ним около 1830 года в салоне художника Жерара, а потом у Астольфа де Кюстина. В 1840 году Анри Бейль, занимавший пост французского консула в Чивита-Веккиа, поблагодарил Бальзака: «Это удивительная статья, такую еще никогда писатель не получал от другого писателя; могу теперь признаться вам, что, читая ее, я хохотал от радости. Всякий раз, как я наталкивался на чересчур сильную похвалу, а они попадались на каждом шагу, я представлял себе, какие физиономии состроят мои приятели, читая эту статью».

В 1857 году Сент-Бёв (это было через пятнадцать лет после смерти Стендаля), вероятно, все еще удивлялся, отчего придают столь «важное значение этим неудавшимся романам — ведь, несмотря на отдельные интересные страницы, они в целом отвратительны». Однако ж два человека ясно увидели, что представляет собой Стендаль: Гёте (в «Беседах с Эккерманом») и Бальзак, выступление которого было тем более благородно, что Стендалю удалось в картинах битвы при Ватерлоо сделать то, о чем Бальзак мечтал уже десять лет, замыслив создать «Битву» — наполеоновский роман, так и оставшийся ненаписанным. Испытываешь живую и чистую радость, видя такое взаимопонимание у трех великих писателей, столь различных, но прекрасно понявших друг друга, несмотря на выпад мелочных натур. К несчастью, «Ревю паризьен» скончалось в отроческом возрасте, просуществовав лишь три номера. Двое компаньонов разделили между собою убытки, довольно, впрочем, маленькие — 1800 франков. Бальзак лишний раз потерпел неудачу в журналистике, так же как в коммерческих делах и в политике.

А как обстояли его любовные дела? Чужестранка жила так далеко и почти безмолвствовала. Он дерзнул пожаловаться на ее молчание.

Вот уже три месяца нет писем от вас... Ах, как это мелко с вашей стороны! Я вижу, что и вы обитаете на нашей грешной земле. Ах так! Вы не писали мне потому, что мои письма стали при-

¹ Бальзак. Письма о литературе, театре и искусстве.

ходить редко? Ну что ж, скажу откровенно: письма мои приходили редко, потому что у меня не всегда бывали деньги на оплату почтового сбора, а я не хотел вам этого говорить. Да, вот до какой степени доходила моя нищета, а бывало и хуже. Это ужасно, это печально, но это правда, как и то, что существует Украина и вы там живете. Да, да, бывали дни, когда я с гордым видом обедал грошовым хлебцем на бульварах... Господи Боже, прости ее, ведь она-то *ведает*, что творит...

Эвелина Ганская корила его за связь с госпожой Висконти и за посвящение романа «Беатриса»: *Саре*. А он утверждал, что равнодушен к красавице англичанке.

Дружба, о которой я вам говорил и над которой вы смеялись по поводу посвящения, совсем не то, чего я ждал. Английские предрассудки ужасны и лишают англичанок всего, что приятно художникам: непосредственности, беспечности. Никогда я так хорошо не видел, что в «Лилии» очень верно обрисованы в нескольких словах женщины этой страны...

Тут многое следует отнести за счет осторожности, но надо также признать, что Contessa все больше уставала, да и его утомила. «Дикарка, дочь Бретани» (Элен де Валет) была воплощением лжи и двуличности. Ганский казался бессмертным, а Эвелина Ганская ускользала из рук. Решительно все не ладилось. А Бальзаку уже было сорок лет. Сорок лет страданий. «Я вздыхаю о земле обетованной, о тихом супружестве, я больше не в силах топтаться в безводной пустыне, где палит солнце и скачут бедуины...» — писал он Ганской. Он совсем пал духом и собирается «сложить свои кости в Бразилии в каком-нибудь безумном предприятии». Ему нужны были деньги, женщины, слава. У него нет денег, больше нет женщин, а глупцы оспаривают его славу.

Я сожгу все свои письма, все свои бумаги, сохраню только мебель, Жарди и уеду, оставив безделушки, которыми дорожу, дружеским попечением моей сестры. Она будет самым верным драконом, стражем этих сокровищ. Дам кому-нибудь доверенность вести мои литературные дела, а сам поеду на поиски богатства, которого мне недостает. Или я вернусь богатым, или же никто не будет знать, что со мною случилось. Этот план я зрело обдумал и нынешней зимой непременно приведу его в исполнение. Трудом своим мне не уплатить долгов. Нужно подумать о другом...

Это был очередной роман, каких Бальзак замышлял много, и «Путешествие в Бразилию» так и осталось ненаписанным и не осуществленным в жизни.

XXVIII УЛИЦА БАСС

Писатель не все доверяет своим заветным дневникам и своей переписке; только его произведения рассказывают истинную историю его жизни — не той, какую он прожил, но какую хотел бы прожить.

Франсуа Мориак

Жить в Жарди становилось невыносимо. Напрасно Бальзак, имея надежную опору в лице своего стряпчего мэтра Гаво, старался выиграть время. Главные кредиторы, особенно же отвратительный Фуллон, преследовали его. Маленькие люди — садовник Бруэт, прачка, мясник, полевой сторож — терпели. Богатые безжалостно дергали его. Но у Бальзака было в запасе много уловок. Недаром он написал новеллу «Деловой человек», в которой говорится, как Максим де Трай, самоуверенный, самодовольный и надменный денди, принимал у себя одного из своих кредиторов: «Если вам удастся обокрасть меня на сумму этого векселя... я вам буду весьма признателен, сударь... вы меня научите кое-каким новым предосторожностям... Ваш покорный слуга».

Как и его герой, Бальзак считал борьбу между должником и кредитором войной без стыда и совести. По совету Гаво он пустил Жарди в продажу с торгов, и владение продано было за 17 550 франков, хотя с постройками, земляными работами и насаждениями оно обошлось Бальзаку в 100 000 франков. Но покупка была произведена подставным лицом, неким архитектором по фамилии Кларе, действовавшим по поручению Бальзака. Фиктивная продажа была невыгодным делом для кредиторов; они могли разделить между собой лишь скудную сумму пропорционально доле каждого в их расчетах между собой, а Бальзак втайне оставался владельцем Жарди.

За два года до этого он написал Ганской: «Итак, теперь, и еще надолго, моим адресом будет: Севр, Жарди, господину де Бальзаку. Надеюсь, что я проживу здесь в спокойствии до конца своих дней». В ноябре 1840 года все переменилось: «Пишите мне по следующему адресу: Пасси, близ Парижа, улица Басс, № 19, господину де Бреньолю». Пасси было тогда па-

рижским пригородом, известным своими целебными источниками и красивейшим имением барона Дельсера, построившего там сахарный завод. Бальзак рассчитал, что, поселившись в Пасси, он будет ближе к Парижу, чем в Жарди, а главное — окажется неуловимым для кредиторов, так как домик, скрытый в зелени на обрывистом склоне холма, он снял на чужое имя. Финансист, который когда-то воздвиг для себя особняк на улице Басс, пристроил к нему на задах, среди садов, разбитых уровнем ниже по склону холма, двухэтажный флигель, для которого нижний этаж особняка служил третьим этажом, — в этой пристройке должны были находиться бальный зал и оранжерея. Кровля флигеля, позднее разделенного на пять комнат, как бы увенчивала собою службы (из-за разницы в уровне двух строительных площадок); двор с конюшнями выходил на узкую улицу Рок. Через потайную лестницу дом, снятый Бальзаком, сообщался с этим двором. Как человек затравленный, всегда державшийся настороже, он был в восхищении, что живет в квартире с двумя выходами. Если какой-нибудь судебный пристав заявился бы с улицы Басс, Бальзак мог бежать через улицу Рок и по крутой таинственной тропинке спуститься к площадке, откуда ходил дилижанс до Пале-Рояля.

Феликс Солар, директор газеты «Эпок», описал свое посещение Бальзака, к которому он пришел, чтобы попросить у него фельетон. Назначив Солару свидание, писатель сообщил ему пароль. Нужно было позвонить у двери на улице Басс, спросить у привратницы госпожу де Бреньоль, затем спуститься на два этажа вниз. Госпожа де Бреньоль действительно существовала — не то что воображаемая вдова Дюран. И она действительно носила фамилию Бреньоль, звали ее Луизой, она родилась в 1804 году в Арьеже и происходила из семьи горцев-крестьян. Деятельная, умная, проворная, она обычно вела хозяйство пожилых и одиноких писателей — это сделалось ее профессией. До того как поступить к Бальзаку, которому ее рекомендовала Марселена Деборд-Вальмор, она была экономкой у Латуша — экономкой, а может быть, и чем-то еще.

По словам Феликса Солара, это была «особа лет сорока, с полным и гладким свежим лицом, похожая на сестру-привратницу в монастыре». Разумеется, после госпожи де Берни, герцогини д'Абрантес, графини Гидо-

бони-Висконти, госпожи Ганской это была убогая добыча. Но Бальзак устал от сложных женских натур и полагал, что он обретет мир душевный с этой женщиной, которую Марселина Деборд-Вальмор прозвала «ньюфаундлендом». Впрочем, он прибавил к ее имени дворянскую частицу, унаследовав от своих родителей упорное пристрастие к этому.

Госпожа де Бреньоль играла в жизни Бальзака более значительную роль, чем это говорилось. Она не только по-хозяйски вела дом, в котором Бальзак был «гостем», не только бегала по его поручениям в типографии, в издательства, в редакции газет, выторговывала каждый франк в договорах, но она дарила своему хозяину и любовные утехи. Он даже возил ее с собою путешествовать, как она вспоминала об этом в 1860 году (через десять лет после смерти Бальзака) в письме к стряпчему Фессару, написанном во время ее паломничества в Баден-Баден, куда она некогда ездила со своим незабвенным великим человеком. «Я слышала, как вокруг меня говорили: «Вы его видели?» — «Я? Ну, конечно, видел». — «Смотрите, вот он!» Бедный дружок мой! Ему так докучало это любопытство. Но я была молода и гордилась своим счастьем. В Баден-Бадене меня вдруг охватила ужасная грусть, когда я пошла взглянуть на дом, который мы с ним почти что сняли и в котором предполагали закончить свои дни...» Луиза де Бреньоль долго была всецело предана Бальзаку; он надавал ей обещаний, на которые был так щедр: она воображала, что всю жизнь останется служанкой-госпожой.

Солар рассказывает, что госпожа де Бреньоль сама провела его в рабочий кабинет Бальзака:

Я вошел в святилище; взгляд мой прежде всего устремился на колоссальный бюст создателя «Человеческой комедии», великолепно выполненный из прекраснейшего мрамора; он стоял на цоколе, в который вставлены были часы.

Из застекленной двери, которая выходила в садик, заросший жиденькими кустами сирени, свет падал на стены кабинета, сплошь увешанные картинами без рам и рамами без картин. Напротив двери высился большой книжный шкаф. На полках в живописном беспорядке стояли «Литературный ежегодник», «Бюллетень законов», «Всемирная биография» и «Словарь» Беля. Налево — еще один книжный шкаф, по-видимому, отведенный для современников, среди них я заметил томик Гозлана между Альфонсом Карром и госпожой де Жирарден.

Посреди комнаты стоял небольшой стол, несомненно рабочий, так как на нем лежала лишь одна книга — словарь французского языка.

Бальзак, закутанный в просторную монашескую сутану некогда белого цвета, вооружившись полотенцем, бережно вытирал чашку из севрского фарфора...

Вскоре Бальзак подумал о том, что, поскольку мать находится на его иждивении, более экономно было бы съехаться, несмотря на опасности совместной жизни.

Бальзак — Лоре Сюрвиль:

Скажи маме, пусть она соберет свои вещи, находящиеся у тебя: перину, стенные часы, канделябры, две пары простынь, нательное белье; я пришлю за всем этим 3 декабря... Если она захочет, то может жить счастливо; только скажи ей, чтобы она сама помогала счастью, а не отталкивала его. На нее одну будет выдаваться сто франков в месяц; к ней будет приставлена экономка и, кроме того, служанка. Уход за ней будет, какой только она пожелает. Ее комната обставлена так изящно, как я умею обставлять. На полу у нее тот персидский ковер, который был в моей спальне на улице Кассини.

Намерения с обеих сторон были благие, но опыт продлился только полгода. Между матерью Бальзака и домоправительницей не могло быть мирной жизни. А что касается самого писателя, то неровный характер госпожи Бальзак мог, по его словам, «свести с ума любого человека, склонного к такому состоянию по множеству мыслей, осаждающих его, по множеству своих трудов и неприятностей». И в начале июля 1841 года мать сама поспешила уехать.

Госпожа Бальзак — Оноре:

Когда я согласилась, дорогой мой Оноре, жить у тебя, я думала, что могу быть счастлива в твоём доме. Вскоре я убедилась, что мне не под силу переносить ежедневные мучения и бури твоей жизни; однако я терпела до тех пор, пока думала, что страдаю только я одна. Но насколько мне стало тяжелее, когда твоя холодность показала мне, что мое присутствие ты терпишь лишь по необходимости, что оно не только не доставляет тебе удовольствия, но почти неприятно тебе! Из-за таких обстоятельств у меня и вырвались слова, огорчившие тебя. После этой минуты я приняла решение покинуть твой дом. Пожилым людям трудно ужиться с молодыми!

Госпожа Бальзак — Лоре Сюрвиль:

Хочу еще сказать тебе, что я никого не виню. Госпожа де Бренволь по природе своей добрая женщина. Если она, случится, и заденет, то невольно. Она воплощенная честность и деликатность.

Я без опасений уступаю ей свое место. Она любит Оноре и будет хорошо заботиться о нем... Думаю, что близость ее с Оноре никогда не окажется опасной. Эта бедная женщина была так несчастлива, испытала столько мучений и превратностей судьбы.. Право, она достойна сожаления; надеюсь, что, как только Оноре сможет, он обеспечит ее... Это будет вполне справедливо, так как она удерживает Оноре от лишних расходов и многих сумасбродств.

Ошибка госпожи Бальзак состояла в том, что ей хотелось принимать участие в жизни своего сына. А у него не было, как он твердил ей, иной жизни, кроме работы: «Работать — это значит вставать ежедневно в полночь, писать до восьми часов утра, потратить четверть часа на завтрак, работать до пяти часов вечера, пообедать, а в полночь начать все сначала!.. Такая работа дает за сорок дней пять томов!»

Каких томов? Он писал несколько романов одновременно, бросал, снова за них принимался. В письмах, относящихся к этому периоду, он чаще всего приводит следующие названия: «Воспоминания двух новобрачных», «Мнимая любовница», «Урсула Мируэ», «Баламутка» («Жизнь холостяка»), «Темное дело». Как иных называют «сверхчеловек», так некоторых можно назвать «сверхписатель». Бальзак был «сверхраманист». Его изобильные писательские запасы, казалось, неисчерпаемы. Долгие годы он накапливал сюжеты. Например, «Наследство», которое стояло в его планах уже в 1833 году и называлось тогда «Наследники Буаруж», породило впоследствии во флигеле на улице Басс два романа — «Баламутка» и «Урсула Мируэ».

Выбрав сюжет, Бальзак связывал его с хорошо знакомой ему средой и обстановкой. Затем он населял его задуманными действующими лицами. Так, например, местом действия романа «Баламутка» он избрал Иссуден, город, с которым познакомился во время своих поездок во Фрапель. Там во времена Реставрации шайка отставных наполеоновских офицеров, получавших половинную пенсию, и распущенные повесы — «рыцари безделья» — терроризировали местных обывателей. Но для того чтобы «заинтересовать читателя», нужно было ввести в круг этих бесцветных повес энергичное «чудовище», зловредную и смелую личность. Бальзаку не трудно было извлечь из своего ящика с марионетками Филиппа Бридо, брата художника Жозефа Бридо. Роман рассказывает историю влюбленного старого холо-

стяка Жан-Жака Руже, дядюшки Филиппа, раба красавицы Баламутки, Флоры Бразье, и ее любовника, шалопаю Макса Жиле.

Полковник Филипп Бридо, приехавший в Иссуден защищать свое наследство, убивает на дуэли Макса Жиле, похищает у дядюшки Руже Флору, всецело подчиняет их обоим своей власти, разоряет родную мать и брата, но чересчур злоупотребляет своей силой и, когда полный его триумф уже совсем близко, терпит крах, «потому что перешел границы терпимого». Оставалось только расположить вокруг братьев Бридо художников и писателей, друзей Жозефа, актрис и лореток, плененных Филиппом (и уже вылепленных Бальзаком). Эта «смесь» имела успех, удививший самого автора. Он боялся, что его «ужасный роман», где атмосфера любви отсутствует, оттолкнет читателей. Однако нет, свирепый характер Филиппа, старческое слабоумие дядюшки Руже, его ежедневная потребность в продажных ласках, пышные прелести Флоры, сочная яркость всех сцен привлекли публику. Для нас важна также историческая ценность романа. Отставные вояки, лишние люди, оказавшиеся не у дел, — это типы, появляющиеся при всех крупных политических кризисах. Во времена Реставрации Филиппа Бридо снова зачисляются в армию, и он становится графом де Брамбургом, кавалером ордена Почетного легиона и ордена Святого Людовика — еще один урок истории.

Самому Бальзаку больше нравится роман «Урсула Мируэ» — еще одна история о наследстве, к которой он примешал ясновидение и оккультизм — он верил в эти измышления. Добрый доктор Миноре, находясь вдали от своей воспитанницы Урсулы, узнает через «ясновидящую» о любви Урсулы к красивому соседу и вместе с тем убеждается, что девушка чиста и целомудренна. Вскоре он умирает в твердой уверенности, что обеспечил будущее Урсулы. Один из наследников, смотритель почтовой станции, Миноре-Левро, мошенническим образом завладевает состоянием доктора. Но умерший является во сне Урсуле и разоблачает преступление! Виновник, гигант с бычьей шеей, чувствуя, что все открылось, чахнет и находится на краю гибели. Все кончается возвращением похищенного и свадьбой. Во многих местах история кажется невероятной, но она так хорошо вписывается в реальную действительность,

в ней так жизненно переплетаются все эти родственные связи господ Миноре-Левро, Кремьер-Миноре, Миноре-Миноре, так четко изображена работа почтовой станции в Немуре и так хороша картина сада («„Урсула Мируэ” — роман, развертывающийся под открытым небом», — говорит Ален), что невольно начинаешь верить в описываемые чудеса. «Невероятности Бальзака, — по словам Марсея Бутерона, — это чаще всего вполне вероятные явления, которые наш взгляд, недостаточно пронизательный, менее пронизательный, чем взгляд гения, не может постигнуть. Ведь и в другой области о явлениях, имеющих ныне научное объяснение, раньше подозревали лишь избранные умы или так называемые ясновидящие». Тут нужно верить, но Бальзак требует от нас веры и заслуживает ее.

Сюжет «Темного дела» подсказан ему воспоминаниями детства. Родители Бальзака хорошо знали через префекта генерала Помереля о приключении сенатора Клемана де Ри, таинственно похищенного во времена Консульства. Герцогиня д'Абрантес, прекрасно осведомленная об этом деле, тоже сообщила Бальзаку ценные подробности. Полиция Фуше сделала вид, будто она нашла виновных, и заставила казнить трех молодых дворян, несколько не повинных в похищении. Для чего оно было совершено? Некоторые говорили, что сама полиция состряпала это дело, чтобы найти документы, которые доказали бы сообщничество Клемана де Ри с Пишегрю и другими заговорщиками, готовившимися во времена Маренго сменить Бонапарта, если он потерпит поражение. Сюжет для романа нашелся, но Бальзаку хотелось внести в него романтическую струю. Он обработал и удобрил неблагоприятную, сухую почву. Чтобы оправдать молодых дворян — Поля-Мари и Мари-Поля де Симез, братьев-близнецов, — он придумал, что Мален де Гондревиль (так называется в романе Клеман де Ри) заставил присудить ему якобы из фондов «национального имущества» родовое поместье господ Симезов. И все они смотрят на него как на узурпатора, укравшего их земли; этим объясняется и ярая ненависть к Малену де Гондревиллю всех, кто любит Симезов, особенно ненависть их управителя Мишю, верного слуги, который сложит голову на эшафоте. В романе мы вновь находим атмосферу «Шванов» — тьма, кони, скачущие в ночи, и зловещий Ко-

ранген с лицом желтым, как лимон. Вся эта история непонятна для действующих в ней лиц, она так же темна, как поле битвы для солдат. Время от времени, как при вспышке молнии, возникают те, кто все знает: император накануне сражения под Иеной, а в самом конце министр Анри де Марсе, который рассеивает несколькими фразами все еще густую тьму, по-прежнему окружающую это ужасное дело. На заднем плане драмы любви и верности выступают всемогущие интересы «спекуляторов» эпохи Революции, желающих присвоить себе поместья эмигрантов. Таким образом, реальная история управляет вымышленной, и становится ясным, как даже в этом провинциальном захолустье наполеоновская Империя, по словам Алена, «находит путь к сердцам не столько своей мощью, сколько умением обеспечить порядок и признаками своей долговечности». Приверженность подогревалась прочностью.

В «Темном деле» лишний раз утверждается идея «естественной политики» — единственной, в которую верит Бальзак, извечной политики, диктуемой инстинктами человека, а в «Воспоминаниях двух новобрачных» он подтверждает свои воззрения на брак и ополчается против романтизма. Подруги по монастырскому пансиону Луиза де Шолье и Рене де л'Эсторад ведут переписку и решают, «одна — жить, предавшись безумной страсти, а другая — следуя правилам благоразумия». Рене выходит замуж «по рассудку» за человека, уязвленного жизнью, доброго, но такого, что полюбить его трудно. Однако постепенно в силу существующих нравственных законов в сердцах супругов развивается взаимная привязанность, основанная на отношениях физиологических, экономических и политических, на отказе от мечтаний, на любви к родившемуся у них ребенку, на совместном управлении имением. Под влиянием жены муж перерождается, преодолевая свои слабости. Тут нет, конечно, безумной любви, но это счастье, если считать, как Рене, что напутствие к супружеской жизни заключено в словах «смирение и самоотверженность». Это грустно, но во времена Бальзака это было правдой. Вторая участница переписки — Луиза де Шолье — выходит замуж по любви за некоего таинственного испанца; брак этот, сперва считавшийся безрассудным, затем оказывается блестящей партией. Жена проявляет себя страстной любовницей и губит му-

жа; затем она влюбляется еще раз, выходит замуж вторично, безумно ревнует мужа и, замученная своей нелепой ревностью, кончает самоубийством. Обе трагедии отражены в переписке Рене и Луизы (некоторые из посланий написаны были Лорой Сюрвиль).

Мораль романа сводится к следующему: семейные узы и общие интересы — вот прочная основа брака. Правда, Бальзак писал романтической Жорж Санд по поводу этой книги: «Будьте спокойны, мы с вами придерживаемся одного и того же мнения. Я бы предпочел быть убитым Луизой, нежели жить долго в супружестве с Рене». Можно было бы также сказать, что Бальзак в своей личной жизни искал страсти, но разве это верно? Никогда бы он не согласился быть убитым Луизой. С госпожой де Берни его связывала и разумная и страстная любовь, но ведь Лоре де Берни были близки и его творчество, и его борьба, и даже его практические дела. Его романы с Мари дю Френэ, госпожой Висконти, Элен де Валет скорее можно назвать увлечениями, чем истинной страстью. Сколько раз он говорил Каролине Марбути, что считает любовь, если это не физическая связь, пустячной игрой. С 1833 года он стремился к браку с Эвелиной Ганской и неоспоримому вступлению в «хорошее общество», на что ему не давало право ни его происхождение, ни его гениальность. Его жизнь не противоречила его воззрениям. Вернее сказать, он никогда не жил той жизнью, о которой мечтал и которая соответствовала бы его взглядам.

Откровенно говоря, в Бальзаке было два существа. Одно из них — тучный человек, живущий, казалось бы, как все люди: он ссорится с матерью и с сестрой, делает долги, боится судебных приставов, занят эпистолярной любовью с польской графиней, заводит шашни с экономкой. А другое существо — творец целого мира; его возлюбленные — молодые красавицы с белоснежными плечами и сверкающим взором, актрисы или герцогини; ему ведомы и понятны самые тонкие чувства; не думая о жалких денежных вопросах, он ведет роскошную жизнь. Бальзак — обычный смертный, терпит компанию мелких буржуа, своих родственников. Бальзак — Прометей, частый гость прославленных аристократических семейств, которые он сам и создал. Он всецело поглощен творениями своей фантазии, и ему некогда думать о живых людях. Он не отдал последнего

целования ни Лоре де Берни, ни Лоре д'Абрантес, хотя любил обеих в часы своей земной жизни; но он неумолимо бодрствует у смертного одра Анриетты де Морсоф, Эстер Гобсек и Корали, которые были дочерьми его гения. В обычной обстановке он мог порою казаться неблагодарным или нечутким; в своем мире, единственном, в который он верит, он будет нежным и страстным, ибо только там живет он умом и сердцем, только там разворачивается его напряженная деятельность.

Удивительнее всего то, что обыденный Бальзак, который уединенно живет в Пасси и сочиняет по роману в месяц, а потом, весь перемазавшись чернилами, лишая себя сна, держит корректуру,— что этот занятой человек довольно часто урывает время на то, чтобы добежать по крутым спускам до парижского дилижанса. Пятнадцатого декабря 1840 года он ездил смотреть на перенесение праха Наполеона в Дом Инвалидов. Он писал Ганской:

Начиная от Гавра до Пека, берега Сены были черны от теснившегося на них народа, и все опускались на колени, когда мимо них проплывал корабль. Это величественнее, чем триумф римских императоров. Его можно узнать в гробнице: лицо не почернело, рука выразительна. Он — человек, до конца сохранивший свое влияние, а Париж — город чудес. За пять дней сделали сто двадцать статуй, из которых семь или восемь просто великолепны; воздвигнуто было сто триумфальных колонн, урны высотой в двадцать футов и трибуны на сто тысяч человек. Дом Инвалидов задрапировали фиолетовым бархатом, усеянным пчелами. Мой обойщик сказал мне, объясняя, как всё успели: «Сударь, в таких случаях все берутся за молоток».

Чувствуется, что Бальзак в этот знаменательный день счастлив; он до безумия любит величественные зрелища, императора Наполеона и пышные траурные драпировки.

Двадцать пятого марта 1841 года он провел у Дельфины де Жирарден очаровательный вечер в обществе Ламартина, Гюго, Готье и Карра. «Никогда я так не смеялся со времени встреч в доме Мирабо». Третьего июня он присутствовал на торжественном приеме Виктора Гюго в Академию. Гюго выступал под ее куполом с царственным величием, высоко подняв свое пирамидальное, изрядно обнажившееся чело, но речь его Бальзаку не понравилась. «Поэт отрекся от своих солдат, отрекся от старшей ветви, он пожелал оправдать Конвент. Вступительной речью он глубоко огорчил своих

друзей», — жаловался Бальзак Ганской. И напрасно Гюго так поступил — ведь «этот великий поэт, этот творец героических образов получил удар хлыстом — от кого? От Сальванди!», историка и политического деятеля, о котором Тьер говорил: «Это спесивый павлин». Сальванди, не скупясь, пускал традиционные стрелы по адресу нового академика: «Мы были вам благодарны за то, что вы мужественно защищали свое призвание поэта от всех соблазнов политического честолюбия». Коварные слова, поскольку Сальванди обращал их к человеку, чье политическое честолюбие было всем хорошо известно.

Бальзак и сам стремился сесть в одно из кресел этого ученого сообщества. Еще в 1836 году он говорил: «Я попробую пушечными выстрелами открыть себе двери в Академию». Сто раз он подсчитывал, сколько это принесло бы ему денег: две тысячи франков жалованья, шесть тысяч франков за работу в Комиссии по составлению словаря, а вслед за званием академика ему, разумеется, дадут и титул пэра Франции — это ведь вполне естественно. В 1839 году он было выставил свою кандидатуру, но снял ее, уступая дорогу Виктору Гюго. Поэт приехал к нему в Жарди. Бальзак повел его прогуляться по скользким садовым дорожкам. Стараясь удержать равновесие на опасных скатах холма, Гюго шел молча, пока не натолкнулся на ореховое дерево. Вот как описывает эту сцену Гозлан:

— Ну наконец-то дерево в саду! — сказал он.

— Да, и притом замечательное! Вы знаете, что оно приносит?

— Поскольку это ореховое дерево, я полагаю, что оно приносит орехи.

— Ошибаетесь. Оно приносит полторы тысячи франков в год.

— На полторы тысячи франков орехов?

— Нет, полторы тысячи без орехов.

И Бальзак объяснил, что по старому феодальному обычаю жителям Виль д'Авре полагалось сносить все отбросы и нечистоты к подножию этого дерева. Скапливаясь ежедневно, здесь, пожалуй, образуется целая гора удобрений, и Бальзак, если пожелает, может продать его соседним фермерам, виноградарям и огородникам.

— У меня тут, можно сказать, чистое золото. Скажем попросту — гуано.

— Гуано-то гуано, только без птичек, — заметил Гюго с обычным своим олимпийским спокойствием.

Зазвонил колокол, приглашавший к завтраку. За столом говорили об Академии. Гюго не расточал посулов, в дальнейшем будет, однако, видно, что он сделал больше, чем обещал. Когда Жарди было продано, Баль-

зак продолжал время от времени принимать на улице Басс академиков. «Сколько хлопот! — писал он Ганской. — А все для того, чтобы помнили, что я добиваюсь избрания. Вот какой праздник я готовлю для моей Евы, лучше сказать — для моего волчонка».

Академия — социальное установление; реалист, пусть он даже мечтатель, признавал его существование.

Много драгоценного времени поглотило у него другое объединение писателей — Общество литераторов. Бальзака уже давно занимали профессиональные интересы его собратьев. Еще в 1834 году он опубликовал «Письмо французским писателям XIX века». «Закон охраняет землю, — писал Бальзак, — он охраняет дом пролетария, который проливал пот; он же конфискует работу поэта, который мыслил». Парижские театры делают ежегодно сборы на десять миллионов франков. А в какой сумме выражается ежегодный бюджет «большой литературы»? Бюджет Гюго, Мюссе, Сулье, Эжена Сю? По всей Франции он не составит и миллиона. У десяти тысяч богатых семей не находится ни одного свободного франка, чтобы приобрести двадцать замечательных книг, которые создает ежегодно наша нация! Богачи берут книги по абонементу в читальных залах или же покупают заграничные контрабандные перепечатки книг.

Бальзак требовал, чтобы литературные произведения признавались собственностью наравне с другими ее видами (в те времена авторские права истекали через десять лет после смерти писателя), он требовал также, чтобы закон ограждал литературную собственность от грабительских действий заграничных книгоиздательств (бельгийские контрафакции лишали писателя значительной части доходов) и, наконец, чтобы он имел моральное право распоряжаться своим произведением, которое никому не дозволялось бы переделывать без разрешения автора. Требования ясные, несомненно справедливые, в дальнейшем они вошли в хартию авторских прав. Но надо было повести долгую борьбу, чтобы преодолеть равнодушие к этим вопросам со стороны законодателей. Наконец в 1838 году было учреждено Общество литераторов. Среди первых членов, вступивших в него, были Виктор Гюго, Александр Дюма и Фредерик Сулье. Бальзак в то время отсутствовал, его приняли в декабре 1838 года. В следующем

году он был избран президентом Общества, а заместителем его — Вильмен, ставший министром народного просвещения.

Сент-Бёв, заядлый недруг Бальзака, воспользовался случаем, чтобы высмеять «промысловую литературу» и «демона литературной собственности», являвшейся, по его мнению, «некой пляской святого Витта, пиндарической болезнью». «У каждого сочинителя гордость бьет фонтаном и ниспадает золотым дождем. Этак легко дойти до миллионов. Сочинители не стыдятся выставлять их напоказ или клянчить их». Сент-Бёв издевался над Обществом литераторов, настоящей «цеховой ремесленной организацией», и над «маршалами французской литературы» (выражение Бальзака), над «людьми, которые, — с презрением заявлял Сент-Бёв, — обладают известной коммерческой жилкой и намереваются эксплуатировать свое творчество». По правде сказать, Сент-Бёву легко было пренебрежительно говорить о контрабандных заграничных изданиях, о риске и о чести, ведь он-то никогда не подвергался такому риску и не стяжал подобной чести.

XXIX

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ. I

«Человеческая комедия» — это подражание Богу-Отцу.

Альбер Тибоде

Только в 1841 году Бальзаку удалось наконец подписать договор с группой книгоиздателей (Дюбоше, Фюрн, Этцель и Полен) на публикацию всех его произведений под таким необычайным названием — «Человеческая комедия». Он уже не раз давал своим произведениям объединяющие их наименования. Благодаря этому усиливалось впечатление, которого он хотел достигнуть: он как бы воздвигал монументальное сооружение. Поэтому и появились «Сцены частной жизни», «Сцены парижской жизни», «Сцены провинциальной жизни», «Этюды о нравах», «Философские этюды», которые Бальзак собирался дополнить «Аналитическими этюдами», к сожалению, оставшимися, кроме «Физиологии брака», лишь в стадии замысла. Классификация

была несколько произвольной, что доказывает переброска некоторых романов из одной рубрики в другую. Одно время Бальзак думал дать своим сочинениям общее название «Социальные этюды». Затем «Божественная комедия» Данте подсказала ему другое наименование — «Человеческая комедия»; в первый раз оно упоминается в 1839 году в письме к Этцелю.

Это не было издательской уловкой. Бальзак стремился дать в своих многочисленных произведениях полный обзор человеческих типов. Успеет ли он завершить свой труд? Бальзак этого не знает, но уже то, что существовало к 1841 году, представляет собою организованный мир, который, как мир реальный, сам себя порождает — иногда по закону симметрии («Провинциальная знаменитость в Париже» внушает автору желание написать роман «Парижская знаменитость в провинции» — сюжет, который намечен в «Модесте Миньон» и в «Провинциальной музе»), иногда по закону сходства («Брачный контракт» порождает неосуществленный замысел написать «Раздел наследства»). Этот метод самооплодотворения чудесным образом увеличивал творческую мощь писателя. Морис Бардеш показал, что внутренняя история «Человеческой комедии» становится еще яснее, когда исследователь принимает во внимание планы, оставшиеся в записях Бальзака. Роману «Луи Ламбер», где показан гениальный человек, которого убила мощь собственной мысли, должен был соответствовать роман «Кретин», в котором отсутствие способности мыслить обеспечивает герою долголетие.

Шпельбер де Лованжюль опубликовал названия пятидесяти трех романов, задуманных и не написанных Бальзаком. Некоторые из них оставили кое-какие следы: «Наследники Буаруж», «Знать», «Дома призрения и народ», «Среди ученых», «Театр как он есть», «Жизнь и приключения одной идеи», «Анатомия педагогической корпорации». К этому списку надо прибавить сто набросков в виде коротких заметок. Когда в мозгу писателя бурлит целый мир, сюжеты возникают один за другим, рвутся к жизни. Примеры набросков: девушка, не имеющая состояния, хочет поймать мужа, делая вид, что она очень богата, а выходит она за бедняка, прибегнувшего к такой же хитрости... Девушка, обманутая вниманием молодого человека, думает, что он влюблен в нее, но она ошибается и, убедив-

шись в этом, начинает ненавидеть его, а тогда он влюбляется в нее... Словом, перед нами две превосходные сцены частной жизни. «Подумать только, сколько в воображении Бальзака кишит названий, сколько персонажей, вырастающих, словно грибы, сколько сюжетов,— право, тут есть что-то от плодovitости, расточительности и равнодушия самой природы»,— говорит Морис Бардеш. Как грустно, что Бальзак жил так мало; доживи он до семидесяти лет, у нас были бы великолепные романы о старости его героев.

К изданию, венчавшему титанический труд писателя, длившийся десять лет, Этцель попросил его написать предисловие. Измученный Бальзак предложил перепечатать предисловия Давена. Этцель рассердился: «Да мыслимое ли это дело, чтобы полное собрание ваших сочинений, самое большое, на которое еще никто не осмеливался до сих пор, предстало перед публикой без краткого вашего обращения к ней».

Бальзак уступил и в длинном «Предисловии» попытался рассказать, как зародился его план. Впервые мысль об этом колоссальном сооружении возникла у него в ту пору, когда он изучал труды Жоффруа Сент-Илера. Как вы помните, Бальзака осенила догадка, что существуют не только зоологические виды, но и виды социальные. Различия между рабочим, торговцем, моряком и поэтом столь же характерны, как и различия между львом, ослом, акулой и овцой.

Но «Человеческая комедия» бесконечно сложнее «комедии животного мира». Во-первых, у животных самка принадлежит к тому же зоологическому виду, что и самец. Лев живет со львицей. В человеческом обществе лев может сожительствовать с овцой или с тигрицей. Кроме того, преобразование и усложнение животных видов совершаются лишь в тысячелетние сроки, тогда как лавочник может в несколько лет стать пэром Франции, а герцог — опуститься на самое дно. Наконец, человек, искусно владеющий своими руками и умом, производит орудия, инструменты, одежду, строит жилища, которые «меняются на каждой ступени цивилизации». Следовательно, натуралист, изучающий род человеческий, должен изображать мужчин, женщин и мир вещей.

Вальтеру Скотту удалось возвысить роман до уровня истории, но ему и в голову не приходило связать

друг с другом свои произведения. И вот тут выступает на сцену вторая идея, озарившая Бальзака: написать полную историю нравов своего времени — историю, каждая глава которой будет романом. Соперничая с актами гражданского состояния, Бальзак пустил в свет две-три тысячи персонажей и связал их между собой узами их социального положения и профессии. Единство всего творения просто изумляет, и надо прочесть все целиком, чтобы почувствовать его колдовское действие.

Только тогда увидишь, как широки пределы этого мира, где свет разума не меркнет никогда. Энгельс говорил, что из произведений Бальзака «узнал больше... чем из книг всех специалистов — историков, экономистов, статистиков этого периода, вместе взятых»¹. «Человеческая комедия» остается и самым правдивым изображением извечных свойств человеческой природы, и лучшей историей нравов времен Реставрации. Вы всё найдете тут: дворянство и буржуазию, чиновничество и армию, механизм кредита и механизм торговли, транспорта, прессы, картину жизни судейских, политических и светских кругов. И все это дано не в виде поверхностных эскизов, но разобрано, разложено и выставлено для обозрения, как части гигантского организма, ясно показывающие его строение.

Всезнание автора «Человеческой комедии» охватывает и дома, и города, он знает все кварталы Парижа. «Ночной Гомер,— говорит о нем Анри Фосийон,— он освещает адским пламенем склепы и подземные галереи горящего лихорадочным возбуждением города, где разворачивается зловещая эпопея». Он проникает в студенческие кухмистерские, за кулисы театров, в будуары герцогинь, в альковы куртизанок. Своим персонажам он дает имена действительно существовавших в его время поставщиков: Люсьена де Рюбампре одевает портной Штаубе, а Шарля Гранде — портной Бюиссон (который шил на самого Бальзака). Ювелирная лавка Фоссена, находившаяся в доме номер 76 по улице Ришелье, доставляет красивой даме, госпоже Рабурден, модный убор — гроздья винограда из агата. Бальзаку известны все круги провинциального общества в Ангулеме, в Гавре, в Лиможе, в Алансоне. Никто лучше его не понял мелочную и неумолимую вражду, рождающуюся во всех

¹ Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд. Т. 37. С. 36.

этих городах, судороги, сотрясавшие их с 1789 по 1830 год. Франция периода Реставрации осталась бы непонятой, если бы читатель не видел, какими корнями она уходит в прошлое. «Подлинная жизнь обуславливается определенными причинами». Прием, который применяет Бальзак — появление повторяющихся персонажей, — дает его вымышленным фигурам четвертое измерение — время.

Но описать какое-нибудь общество для Бальзака еще недостаточно. То, что, на его взгляд, делает писателя равным государственному деятелю, а может быть, и возвышает над ним, — это «определенное мнение о человеческих делах». Бальзак знает, что он величайший из романистов, но не только потому, что он дал жизнь такому множеству персонажей (можно представить себе какого-нибудь трудолюбивого, но малодаровитого писателя, который придумал бы еще больше действующих лиц с различными характерами); он видит свое величие в том, что сумел воплотить в созданном им мире человеческих существ свою заветную идею: показал могущество воли, направленной на одну-единственную цель. Воля эта ограничена известными пределами. У наций, так же как у отдельных людей, есть свой лоскуток шагреновой кожи. Народы можно сделать долговечными, только умерив их жизненный порыв. Поэтому Бальзак высказывается в пользу устойчивых политических режимов и законов. «Я пишу при свете двух вечных истин: религии и монархии», — говорит он. Рассуждая о делах государственных, он проявлял мефистофельскую язвительность. «В политике честный человек, — заявляет он, — похож на машину, вдруг вздумавшую чувствовать, или на лоцмана, который, стоя у руля, предался бы нежной страсти, — корабль пойдет ко дну». Но Жорж Санд, хорошо его знавшая, замечает: «Перед грустной укоризной, перед сердечной тоской все его дьявольское могущество рушилось, уступая место наивности и инстинктивной доброте, жившим в глубине его души. Он пожимал вам руку, умолкал или переводил разговор на другую тему». Макиавеллизм шел у него от ума, а великодушие — от сердца.

ПОЛИТИКА И РЕЛИГИЯ

Лучшим политическим строем, по мнению Бальзака, является тот строй, который порождает наибольшую энергию. И он полагает, что максимальное количество

энергии достигается путем сосредоточения всей государственной власти в руках правителя. Вспомним вымышленный им разговор между Екатериной Медичи и Робеспьером. Бальзак приемлет обоих этих ревнителей государственной пользы; по той же причине он восхищается Наполеоном. Как и большинство людей его поколения, он был «дитя Аустерлица», и он не забыл свои первые восторги.

Перечитайте славословие Наполеону во «Втором силуэте женщины». Человек, «которого изображают со скрещенными на груди руками и который совершил столько дел... Кто обладал более славной, более сосредоточенной, более разъедающей, более подавляющей властью?.. Человек, который мог всего достичь, потому что хотел всего... То воплощенный произвол, то сама справедливость, смотря по обстоятельствам! Настоящий король!» Вот вам чистейший Бальзак! Добавьте, говорит он, капельку произвола, иначе справедливость невозможна. Если не можешь защитить свое дело и если законы предают тебя, дойди до самого короля или же проси помощи у Тринадцати.

После революции 1830 года он, может быть, и принял бы режим, возглавляемый королем-буржуа, обладай король силой. Но вст. беда: «Мы совершили большую революцию, а власть попала в руки нескольких ничтожных людишек... Наихудшая ошибка Июльской революции в том, что она не дала Луи-Филиппу диктатуры на три месяца для того, чтобы он мог укрепить как следует права народа и трона». Если стремиться к благосостоянию масс, абсолютизм (то есть наибольшая возможная сумма власти) — единственное средство достигнуть этой цели. «То, что мы называем представительным правлением, — пишет Бальзак в своих заметках, — порождает вечные бури... А ведь основное качество правительства — устойчивость». Через два года после установления конституционной монархии, на вялость и бездеятельность которой Бальзак сетовал, он в 1832 году стал близок к легитимизму не из чувствительной преданности, как Шатобриан, не из светского тщеславия, как это полагала бдительная Зюльма Карро, а потому, что, по мнению Бальзака, абсолютизм законного короля будет принят лучше.

Позднее эти политические взгляды Бальзака возмущали Флобера и Золя. «Он был католиком, легитими-

стом, собственником... Этаким великанище, но второго сорта». Бальзака отнести ко второму сорту! Какое безумие! Ален, больше республиканец, чем Флобер, лучше понимал политические взгляды Бальзака. Говорили: «Бальзак поддерживает трон и алтарь, не веря ни в то, ни в другое». Сказано правильно, если понимать слово «верования» в отвлеченном смысле, и ошибочно, если речь идет о практическом их значении. Бальзак отстаивает традиции, семью, монархию потому, что они существуют, и потому, что они сохраняют энергию наций. То и дело менять главу государства, переносить в практическую деятельность текущесть мысли — это значило в его глазах ослаблять государство. Бальзаку казалось, что прочность уже сама по себе является благом. Это может с одинаковым успехом привести нас и к диктатуре народа, и к легитимизму, к Наполеону или к Марату и к Людовику XIV. Единственная ошибка Наполеона состоит в том, что он не сумел упрочить свою власть. Подлинный монарх может прийти и снизу и сверху. Бальзаку ненавистно непрочное правление посредственностей. Порой он мечтал о коллективной диктатуре. «Если полтора десятка талантливых людей во Франции вступили бы в союз, имея при этом такого главу, который стоил бы Вольтера, то комедия, именуемая конституционным правлением, в основе коей лежит непрерывное возведение на престол какой-нибудь посредственности, живо бы прекратилась». Энергия способствует и могуществу, и законности.

Это не значит, что энергия всегда должна исходить только из одного лагеря. Бальзак понимает Мишеля Кретьена и Э. Маркаса так же хорошо, как графа де Фонтэна или Анри де Марсе. Орас Бьяншон, один из любимых его персонажей, говорит о маркизе д'Эспар: «Я ненавижу эту породу людей! Хоть бы произошла революция и навсегда избавила нас от них!» Бальзаку и самому приходилось испытывать минуты подобной ярости в гостиной маркизы де Кастри. Но в нем говорило уязвленное тщеславие, а не подлинная нищета. Его можно было назвать революционером, потому что он изображал прогнившее общество и пробуждал желание преобразовать его. Однако он изображал это общество как буржуа и как сын буржуа, мечтающий о том, чтобы занять там заметное место.

Итак, монархия и религия... Какая же религия? В предисловии к «Мистической книге» он отвечает: мистицизм, то есть христианство в его чистейшем виде. Он считает Апокалипсис Иоанна Богослова аркой моста, перекинутого между мистицизмом христианским и мистицизмом индусских, египетских, иудейских и греческих религий. Это вероучение было передано через Иакова Бёме госпоже Гийон и Фенелону. В XVIII веке приверженцем его был Сведенборг — фигура столь же колоссальная, как и Иоанн Богослов, Моисей и Пифагор; во Франции его апостолом явился Сен-Мартен. Такова была религия Луи Ламбера и та, которую защищал Бальзак. В 1832 году в письме к Шарлю Нодье он возвратился к философским исканиям своей юности, когда он на двадцатом году жизни читал в своей мансарде Лейбница и Спинозу. К чему его привело это чтение? К следующей дилемме: или Бог и материя существуют одинаковое время, и тогда Бог не является всемогущим, раз он допускал одновременное с ним существование силы, чуждой ему; или же Бог предшествовал всему, а значит, он извлек мир из собственной своей сущности, и, следовательно, ни в человеческом обществе, ни во Вселенной не может быть зла. «В битвах Бог находится, — говорит Бёме, — в обоих сражающихся лагерях и разит самого себя». Всякая схоластика заходит в тупик.

Тогда... как же тогда быть? Надо склониться к пирронизму или с любовью погрузиться в христианство, ни о чем не допытываясь. В юности ум Бальзака склонялся к пирронизму. В 1824 году он писал: «У каждого своя мания; религия — это только самая возвышенная из всех». В 1837 году он говорил: «Я не принадлежу ни к числу обращенных, ни к числу тех, кого можно обратить, у меня нет никакой религии». Он решил «погрузиться» в христианство. Какого толка? В католичество? Бальзак связан с католической церковью воспоминаниями детских лет; в защиту ее он писал прекрасные рассказы, в «Сельском враче» он восславил ее цивилизаторскую силу, а в «Лилии долины» — ее евангельскую кротость. Но всего этого еще недостаточно, чтобы считать его правоверным католиком. «Католическое вероисповедание, — говорит он, — это ложь перед самим собой».

Однако глазам писателя, желавшего вести за собою людей, церковь предстает в качестве хранительницы нравственных и социальных истин. Чтобы понять, какую

роль этот неверующий отводит религии, надо вспомнить, что за общество он описывает, какой свирепый мир он рисует — мир, где властвуют деньги, где слабых попирают ногами, зато осыпают почестями преступление, если оно сумело насмеяться над правосудием. «Какою стала Франция в 1840 году? Страной, целиком поглощенной чисто материальными интересами, страной, где нет ни патриотизма, ни совести и где власть не обладает силой...» Торжествующему Злу Бальзак противопоставляет католицизм как «целостную систему подавления порочных стремлений человека». В своих воззрениях Бальзак не приписывает христианским догмам безоговорочной ценности, он считает их возвышенными и живительными мифами. А что может понять человек, если не мифы? «Нельзя же заставить всю нацию изучать Канта». Вера и привычка ценнее для народа, чем занятия науками и рассуждения.

«Я не забываю, — пишет Франсуа Мориак, — что если Бальзак и был католиком, то из соображений политических и прагматических, подобно всяким Бональдам и де Мэстрам, а это не самый лучший способ веры. Но истинное религиозное настроение прокладывало себе путь в глубинах его жизни и в глубинах его творчества... Достаточно перечесть «Луи Ламбера», «Сельского врача», чтобы увидеть, что, если Бальзак и далеко зашел в познании Зла... он познал также и сущность Добра...» Речь идет не только о куцем католицизме, полезном какому-нибудь буржуа из квартала Марэ для внушения своей жене уважения к супружескому долгу и для охраны своей собственности. В романах, которые должны были дополнить «Человеческую комедию», Бальзак предполагал отвести большое место христианскому милосердию. Спасение души должно происходить в тишине и в тайне, а милосердие совершает явные чудеса. Добрые дела искупят грехи не только Вероники Граслен, но и доктора Бенаси.

Верующего может покоробить снисходительность в рассуждениях этого защитника веры. Однако, хоть Бальзак и не все принимает, он относится ко многому с уважением. В прекрасном рассказе «Обедня безбожника» хирург Деппен, который не верит ни в Бога, ни в черта, ежегодно заказывает мессу за упокой души своего благодетеля — бедняка водоноса. На удивленные вопросы своего ученика Бьяншона Деппен отвечает: «Я...

говоря с искренностью скептика: «Господи, если есть у тебя обитель, где пребывают после смерти люди праведные, вспомни о добром Буржэ...». Вот, мой милый, все, что может разрешить себе человек моего образа мыслей. Бог, вероятно, славный малый, он не обидится, черт возьми! Клянусь, я отдал бы все свое состояние, чтобы вера Буржэ вместилась в моем мозгу...» И Бьяншон, ухаживавший за своим учителем во время его последней болезни, не посмел утверждать, что знаменитый хирург умер атеистом. В Бальзаке к агностицизму Деппена примешивалось кое-что от образов благородных священников, которых он создавал.

Была ли у него своя философия? Очевидно, ведь он не считал, что механический детерминизм способен объяснить все на свете. Бальзак и материалист и спиритуалист одновременно. Он полагает, что дух проникает в материю. Все существующее во Вселенной поднимается по ступеням лестницы — от минерала, который мыслит едва-едва, до человека, у которого душа связана с телом, а затем и до бесплотного ангела, который является только душой. У Бальзака были какие-то смутные верования, что эволюция, которая привела от мрамора к святому, приведет человека к ангелу. Он знает, что еще не разгадана великая загадка мироздания и что в основе жизни лежит нечто более могущественное, чем сама жизнь. Эту загадку мироздания, эту основу жизни он согласен именовать Богом. Человек хотел бы их постигнуть. Но они постижимы для нас лишь через аллегории, символы, знамения. Бог безмолвствует, но на живые существа и неодушевленные предметы возложена передача таинственных вестей. Между материей и человеком есть сокровенная связь. То, что действительно важно во Вселенной, обнаруживается в бесконечно малом. Отсюда эти старания как можно тщательнее описать меблировку, одежду, шляпу, жест. Всё — во всем. Перед лицом абсолюта коммивояжер не менее значителен, чем император.

Мир един. Единая субстанция порождает и мир физический, и мир духовный. Бальзак любит напоминать об этом единстве, показывая воздействие физиологии на движения души. Обманутые любовные желания преобразуются в отцовское чувство, в нравственную энергию; в милосердие, как тепло превращается в свет, в электричество. Мы все обладаем жизненной силой; одни направляют ее на благую цель, другие — на преступле-

ние. Отказ от удовольствий укрепляет волю, этот мощный флюид, который позволяет человеку воздействовать на мир. Мечта Бальзака? Сосредоточить волю, чтобы она стала магической, даже божественной силой.

Стать богом, создать свой собственный мир — вот к чему стремятся, не отдавая себе в том отчета, Луи Ламбер, Валтасар Клаас, Френхофер — персонажи, родственные самому Бальзаку. Но силы человеческие имеют свои пределы, и Прометея подстерегает безумие. Бальзак и сам порой признавался, что страшится этого. Его спасли труд и несколько женщин. Ведь единство природы человеческой и ее равновесие проистекают из слияния двух начал: мужского начала, которое стремится к движению, к борьбе, и женского начала, требующего прочности, наследования жизни. Сен-симонисты, а позднее Огюст Конт тоже придерживались этой доктрины. Бальзак — мыслитель столь же глубокий, как и Конт, но сверх того еще и поэт — выражает свою философию в мифах. Платон не так уж далек и от Данте, и от Шекспира.

ЛЮБОВЬ. БРАК

Бальзак говорит о любви то как мистик, то как физиолог. Лексикон его всегда остается целомудренным, нет никаких описаний наготы, мало сладострастных сцен, но всюду смелость какого-то медицинского характера: от телесных порывов зависят порывы сердца. При первой же встрече с Диной де ла Бодрэ, героиней романа «Провинциальная муза», Бьяншон по тону одной из реплик этой дамы разгадал ее интимную жизнь: ее супруг, щуплый господин де ла Бодрэ, — импотент, и Дина осталась девственницей. И она будет принадлежать Лусто, когда он того пожелает, именно Лусто, второстепенному журналисту, а не Бьяншону, прославленному врачу. «И вот почему: женщины, которым хочется любить... чувствуют бессознательную неприязнь к мужчинам, всецело поглощенным своим делом; такие женщины, несмотря на свои высокие достоинства, всегда остаются женщинами в смысле желания преобладать». Наблюдение, сделанное занятым человеком, для которого время — деньги. Бальзак с большим знанием дела описывает «жгучий взгляд» влюбленных, которых влечет друг к другу. Он знает, какую роль играет чувственность, в каких ласках отказывает любовнику герцогиня де

Ланже, почему тайная порочность Беатрисы, зрелой женщины, берет верх над прелестью и молодостью Сабини; на которой женился Каллист; как Валери Марнеф или куртизанка Торпиль удерживают при себе стариков. Разве сам он не обожал госпожу де Берни, которая была старше его матери, разве он не пылал бешеным вождением к маркизе де Кастри и не вкушал с пышнотелой Эвелиной восторги страсти в «незабываемый день»? Ему были известны все рецепты «любовной кухни».

Но всякая любовь, не встречающая поддержки общества, кажется ему обреченной на печальный исход. Нередко он описывает ужасы тайной любви. Человек стремится удовлетворить в любви требования и своей чувственности, и гордости, и выгоды. Когда мужчина полюбит женщину, он любит в ней все: ее тело, ее душу, ее красоту, ее кружева — все, что ее окружает в жизни. Госпожа Ганская привлекала Бальзака тем, что она была «создана для любви», но ему нравились также и ее начитанность, и то, что у нее три тысячи мужиков, что она носит графский титул, живет в настоящем замке, что она верующая. Он защищал против своего друга Жорж Санд самый принцип брака, так как лишь в браке любовники всё делят друг с другом — и супружеское ложе, и успех, и состояние, только в браке опорой их союза становятся религия, общество и семья. Разумеется, брак по рассудку, если только он не превращается в брак по сердечной склонности, не дает подлинного счастья. Бальзак желает как для своих героев, так и для себя самого, замечает Фелисьен Марсо, не «хижину и любящее сердце, но дворец и возлюбленную». Стремление прямо противоположное мечтам романтиков. В любви, как и в политике, Бальзак идет против течения.

Он всегда подчеркивал разницу между увлечением и любовью. «Увлечение — это надежда, которая, возможно, окажется обманутой... И мужчины и женщины могут, не видя в том позора, пережить несколько увлечений, ведь так естественно стремиться к счастью! Но любить можно только раз в жизни». Он сам подавал пример увлечений, сменявших одно другое. Однако ж он упорно воспекает, по крайней мере в теории, религию сердца. «Человек не может любить два раза в жизни, возможна только одна любовь, глубокая и безбрежная, как море». Жизнь эротическая и мистическая жизнь должны устремляться к единому существу; два земных создания,

«вознесясь на крыльях блаженства», преобразятся в ангела. «Серафита» — это только символ: Серафита в глазах Камилл Мопен — образ возможного совершенства; для Бальзака это символ надежды, которую он сулит Эвелине Ганской. Но если он и рисует ангельские восторги, то отнюдь не переживает их, он слишком поглощен своим творчеством. Великий человек не может позволить себе великой любви, он не должен всецело принадлежать женщине. Он мог бы любить, но ведь прежде всего он должен созидать. Однако такие истины он не сообщает своей любимой.

Иногда он выводил на сцену страстную любовь. Евгения Гранде любит своего двоюродного брата; Луиза де Шолье и Урсула Мируэ любят своих мужей; Анриетта де Морсоф питает к Феликсу де Ванденесу чувство, в котором смешались любовь, страсть и материнское покровительство; Диана де Кадиньян после многих приключений всем сердцем привязалась к д'Артезу и скрывает от света свое счастье; Эстер любит Люсьена де Рюбампре страстной любовью, омраченной грязью жизни; Дина («Провинциальная муза») способна на бескорыстную преданность своему любовнику. Но большинство женщин «Человеческой комедии» ищут или богатства, или утешения; Розали де Ватвиль хочет потешить свою гордость и отомстить за обиду; Модеста Миньон играет своими поклонниками, передвигает их, как пешки на шахматной доске судьбы; Рене де л'Эсторад удивляет мужа своими расчетами. Все эти девы знают, что они будут принесены в жертву Золотому Тельцу. Женщины становятся тогда рабынями, и их продают на невольничьем рынке: одни продаются в постоянную собственность (замужество), другие отдают себя во временное пользование (проституция). Брак без любви — это узаконенная проституция. «Мы воспитываем своих дочерей как святых, — говорит Жорж Санд, — а выводим на рынок, как молодых кобылиц». Но общество скрывает эти горькие истины: «Мы стремимся всячески украшать наши кушанья, подаем их на золоте, на серебре и фарфоре, повинувшись тому же самому чувству, которое заставляет нас расцветивать любовь узорами и окутывать ее туманным покрывалом».

Бальзак и его героини принимают любые сделки. Красавицы девушки с готовностью выходят замуж за дряхлых пэров Франции, лишь бы сохранить свое поло-

жение в обществе, или идут за старых банкиров, чтобы добиться богатства. Не уступают им и молодые люди, которые ради денег и власти продаются женщинам зрелого возраста. Растиньяку устраивает гнездышко Дельфина де Нусинген, Максима де Трай содержит графиня де Ресто. Люсьен де Рюбампре сначала ждет богатства от Корали, а затем от Эстер. Ла Пальферин («Принц богемы») принимает от своей любовницы «значительную сумму». Как же тут Бальзаку возмущаться? Он брал займы у своих любовниц еще более значительные суммы. Мужчина в «Человеческой комедии» иногда женится из честолюбия и почти всегда из корысти.

Где коммерция, там и конкуренция,— пишет Андре Вюрмсер.— Богатая наследница, прежде чем стать средством успешной карьеры для победителя, бывает ставкой в ожесточенной борьбе; идут упорные сражения де Крюшо с де Грассеном — кому достанется Евгения Гранде; дю Букье сражается с шевалье де Валуа — кому достанется мадемуазель де Кормон; Филипп Бридо дерется с Максансом Жиле — кто завладеет Баламуткой... Мужчина ведет бой с женщиной из-за приданого невесты. Женщина ведет бой с женщиной, чтобы подцепить мужа... А раз есть коммерция, конкуренция, борьба корыстных интересов в браке, то существует и кодекс его законов. «Видишь, дорогая моя сумасбродка,— пишет Рене де л'Эсторад,— мы хорошо изучили гражданский кодекс и его взаимоотношения с супружеской любовью!..» Супружеские отношения — это отношения собственности.

Если иной критик удивится, что женщине отведено так много места в «Человеческой комедии», значит, он недостаточно поразмыслил, говорит Бальзак, над тем, как трудно создать творение более длинное, чем «Тысяча и одна ночь», включающее в себя более ста различных произведений. Поскольку женщин на Востоке держат в заточении, то рассказчик мог описывать только базар, дворец калифа и мастерскую башмачника. Арабским сказочникам для поддержания интереса у слушателей нужны были чудеса, волшебники, талисманы. В средневековой Европе пружиной эпического действия служили войны, борьба раба против господина, духовенства против королевской власти. Единственно возможный роман о прошлом исчерпан Вальтером Скоттом. «Во Франции, да еще в XIX веке,— писал Кюстин,— различные слои общества уже не имеют в себе более ничего живописного. Каста уже не накладывает свой отпечаток на физиономию каждого своего члена. Раз внешний облик человека не отличался своеобразием, сочинителям при-

шлось пуститься в изображение его внутренней жизни и искать самых утонченных волнений человеческого сердца...» Бальзак вполне способен испытывать и угадывать эти утонченные волнения. Он заглядывает во все изгибы женской души, не задевая ее; он беспощадный наблюдатель, и никогда комедия любви и денег не может обмануть его; стоит ему захотеть, и он передаст тончайшие оттенки чувств. Женщины всегда останутся его верными читательницами, потому что ни один писатель не понимал их так хорошо, как он. Многие из них видят, как он срывает с них маску, но в глубине души находят в этом удовольствие.

Хорошо зная куртизанок, Бальзак считал, что они способны на беззаветную страсть. Ему нравятся их прелести, их роскошь и то, что они наизусть знают мужчин, их дерзкая готовность идти на риск и, наконец, своеобразная поэзия, порожденная эфемерностью их жизни. Куртизанки составляют в его произведениях особый мирок, в котором свой язык, свои законы, свои молодые любовники, богатые старики-«покровители» и свои трагедии (смерть Корали, жертва, принесенная Эстер). Для мужчины «любовь всегда будет только голодом, только жаждой, приукрашенной воображением» или надеждой на поддержку в поединке с обществом. Растиньяку нужно, чтобы Дельфина де Нусинген помогала ему в его игре. Блонде обязан своим спасением госпоже де Монкорне. «Любовь,— говорит Блонде,— это единственная для глупцов возможность возвыситься». Но почему же «для глупцов»? А кем был бы Бальзак без Лоры де Берни? Разве не рассчитывал он, что союз с графиней Ржевусской поднимет его в собственных глазах и в глазах других? И почему же это «единственная» возможность? Тем, кто не умеет внушить любовь, остается дружба, сообщество. Не меньше, чем о женской любви, бальзаковские герои мечтают о верном товарище или о целой группе безоговорочно преданных друзей. Высший свет влечет их тем, что это замкнутый клан, который продвигает своих. В начале жизни Бальзак был очень одинок, и одиночество страшило его. Он искал соратников в борьбе. Приятели, которых молодые люди, персонажи его романов, заводили в кухмистерской Фликото, сообщество Тринадцати, «Красный конь», Вотрен и его шайка — все это стремление к таинственному содружеству, заменяющему любовь.

Деньги, способы их приобретения, погоня за приданным, за наследством, торговля, банк, ростовщичество, подделка завещаний, мошенничества занимают в «Человеческой комедии» столько же места, как и любовь. Даже больше. Во многих романах Бальзака любовь совсем не фигурирует, и он удивляется, что в «Пармской обители» (восхищавшей его) «среди стольких событий» никогда и речи нет о деньгах. Причины первостепенной роли, которую играет в книгах Бальзака Властитель мира — Золото, — надо искать в самом авторе и в эпохе.

Обратимся сначала к автору. Бальзак родился в семье, где преклонялись перед деньгами. Вспомним слова его матери: «Богатство, большое богатство — это все». Вокруг него у всех недоставало денег: у Сюрвилей, у Монзэгля, у его родителей, да и у него самого. Разве это было по их вине? Да, родителям Бальзака было на что жить; Сюрвили могли бы прилично существовать на жалованье инженера. Бальзак не знал бы нужды, не будь он расточителен. Конечно, но зачастую расточительствовал он для отвода глаз. А где начал он свою деятельность? В конторе стряпчего. Там ему ударил в нос мерзкий запах дурно приобретенных денег. Там он узнал истинные отношения между Законом и Правосудием; там он увидел одураченных честных людей, торжествующих мошенников, снисходительных судей. Там ему открылось пристрастие суда, который стремится спасти юного д'Эгриньона, подделавшего векселя, и вызволить его, раз этого требует красивая дама из знатной семьи; исход процесса предрешен угодливым вмешательством госпожи Камюзо де Марвиль, супруги судебного следователя. Бальзак со знанием дела рассказывает о таких подлостях, ведь все это совершалось у него на глазах.

А видел он такие дела, потому что жил в растленное время. При старом режиме поступками людей руководили и честь, и алчность; в годы Революции и Империи играли роль энтузиазм и жажда славы. Но покупка «национального имущества», военные поставки, гигантская спекуляция на переменах режима, приобретение по дешевке государственной ренты привели к власти класс новых господ, для которых имело цену только обогащение. Там, где отец Бальзака, мозг которого кипел замыслами, потерпел неудачу, молчаливый Гранде нажил ог-

ромное состояние. Тайфер поднялся благодаря преступлению, другие — путем злостного банкротства, а кое-кто — посредством позорного брака. Кругом безнравственность, заразившая все общество. Филипп Бридо, который показал бы себя храбрым солдатом, если б война продолжалась, убивает, чтобы заполучить наследство. Цезарь Бирото спекулирует. Пожалуй, Гобсек еще честнее других, поскольку он самый откровенный. «Если я умру, оставив малолетних детей,— говорит стряпчий Дервиль,— он будет их опекуном». А это означает, пишет Вюрмсер, «что имущество несовершеннолетних Дервилей управлялось бы честнейшим образом, за счет всех тех, кого во имя сирот стал бы эксплуатировать Гобсек».

Июльская монархия — исторический период, когда воздвигается здание капитализма (самый термин был еще не известен, хотя слова «капитал» и «капиталист» уже были в употреблении). Цена на земельные участки в Париже невероятно подскочила. Плодятся и множатся акционерные общества. Ротшильд финансирует строительство железных дорог на севере Франции, и Бальзак, веря в их будущее, вовлекает (как всегда, слишком рано) в эту спекуляцию и госпожу Ганскую. Стремительно развивается дешевая пресса, и Бальзак приветствует ее организаторов. Издательское дело, до того времени переживавшее пору детства, требует новых методов, которые предугадывал Бальзак. «Обогащайтесь», — бросает лозунг Гизо. Бальзак охотно принял бы участие в погоне за добычей, но нельзя одновременно писать «Человеческую комедию» и разыгрывать ее в жизни. Деньги властвуют в мире; Бальзак описывает мир.

Он описывает, но не судит. Его упрекают за это; молчание писателя превращают в сообщничество. Но он инстинктивно чувствует, что слишком явно выраженное суждение автора портит произведение искусства. Роль искусства — дать беспристрастную картину. Если писатель проповедует и порицает, произведение теряет свою красоту. «Моралист должен искусно прятаться под плащом историка». Бальзак знает, что не его дело выносить приговоры. «Пусть этим займутся суды», — скажет впоследствии Чехов. Бальзак взял на себя роль историка и секретаря общества, он не выступает с обвинением против него. Единственный упрек, который можно ему сделать, — то, что он постиг не все общество. В «Чело-

веческой комедии» очень мало, почти совсем нет рабочих, а что касается крестьян, то Бальзак описывает их такими, какими их мог бы увидеть Венцеслав Ганский или генерал де Монкорне. На свою беду, художники, которые любят богатство, замечают повсюду лишь богатых людей. Виктор Гюго обязан своими «Отверженными» Жюльетте Друэ. Госпожа де Берни и госпожа Ганская, герцогиня д'Абрантес и маркиза де Кастри осветили для Бальзака лишь половину сцены.

XXX

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ. II

Иной раз нам случается проклинать условия человеческого существования по сравнению с неким отвлеченным несуществующим совершенством. А ведь нам, наоборот, надо исходить из самих этих условий, каковы они есть, и прислушиваться, о чем вопиет человечество. И если это не украшает мир в наших глазах, остается одно: пойти и утопиться. Бальзак излечивает от мизантропии — вот чем он хорош.

Ален

МАСТЕРСКАЯ ХУДОЖНИКА

Как он работал? Какие материалы употреблял? Он охотно повторял: «All is true» («Тут все правда»), говорил о своей «ужасно точности» и добавлял: «Ужасам, которые романисты, как нам кажется, сочиняют, далеко до подлинной действительности». Разумеется, природа богаче, чем искусство, но правда в природе не то же, что правда в искусстве. В природе ее нельзя ни исчерпать, ни до конца постичь. Правда редко кажется правдоподобной. Ей недостает гармонии и единства. Великий писатель ищет единства композиции. Бальзак любил называть себя поэтом, то есть человеком, воссоздающим сущность вещей. «Что такое искусство? Это концентрированная природа». Воображаемое опирается на реальное, но упорядочивает его. Художник должен стремиться к простоте, воплощать свои идеи в образы людей, но при этом создавать фигуры, которые для читателя были бы живыми. У Бальзака стержнем романа является какая-либо страсть; роман показывает

нарастание этой страсти, волна ее поднимается, все сметает на своем пути и, захлестнув человека, способна убить его.

Романист *бальзаковского* склада: *бальзаковские* персонажи и правдивы, и вместе с тем крупнее заурядных людей. «Мне нравятся существа исключительные,— говорит Бальзак в письме к Жорж Санд,— я сам один из них. Мне и надо быть таким, чтобы выдвинуть на авансцену моих заурядных героев, и я никогда без необходимости не жертвую ими. Эти заурядные герои интересуют меня гораздо больше, чем вас. Я их возвеличиваю, я их идеализирую — только в обратном смысле, преувеличивая их безобразие или их глупость. Я придаю их уродствам ужасающие или комические пропорции». Этим приемом преувеличения Бальзак как будто приближается к романтикам, но в то время как они любят украшать водосточные трубы страшными мордами чудовищ, ничуть не заботясь о правдоподобии, Бальзак, давая правдивые подробности, стремится быть верным человеческой природе.

В процессе создания Бальзаком его персонажей можно различить три стадии. Сначала он исходит из образа известного ему человека или из книжных характеров. Например, рисуя Пильеро, он думает о Даблене, а рисуя Беатрису, видит перед собой Мари д'Агу. Затем он все меняет и обогащает портрет чертами, заимствованными у других моделей. Во второй стадии им руководит «уже не стремление к литературной транспозиции, а внутренние требования самого произведения». Как художник, который, отойдя немного от своей картины, лучше видит ее и добавляет лишний мазок или новый оттенок, Бальзак, окинув взором все, что уже нарисовано, стремится придать картине больше выпуклости. И наконец, в третьей стадии он «деформирует созданную фигуру, словно в приступе галлюцинации», чтобы сделать ее воплощением определенной идеи. И тогда Гобсек становится олицетворением могущества золота, Бирото — воплощением честности, а Горио — отцовской любви. Но даже в переходе к отвлеченному он твердо ступает по земле. Как интересно в его книгах обнаруживать маленькие черточки, являющиеся следами его повседневной жизни. Гранде называет свою жену «мамочкой», как называла свою мать Лора

де Сюрвиль, и говорит о Великом Моголе, как отец Бальзака. В зеленых папках Рабурдена мы находим каналы, прокладываемые Сюрвилем. Основа разорвана на кусочки, и они собраны по-новому. Разумеется, Бальзак прежде всего обращается к самому себе, к своим воспоминаниям, к пережитым горестям. Многие из его романов как бы вознаграждают его за то, в чем ему было отказано судьбой: де Марсе приносит ему красоту и силу; Растиньяк женится на богатой женщине и делает блестящую карьеру; д'Артез дарит ему чистоту. Или же, прибегая к колдовству, старому как мир, он освобождается от преследовавших его неудач, обрушивая их на одного из своих персонажей. Так, Люсьен де Рюбампре избавляет его от тяжелых переживаний юных лет, Цезарь Бирото — от воспоминаний о крахе его начинаний в типографском деле, а Натан — от мучений писателя. Бальзак знает, что сам-то он выше этих горемык своей изумительной работоспособностью и силой своего гения, знает, но ему приятно сказать это самому себе и показать другим. Э. Маркас, Альбер Саварюс — вот кто достоин его, и оба они могут считаться его братьями по гениальности, однако ж, оба гибнут: на них возложена автором роль искупительной жертвы. «Каждый бальзаковский персонаж является, таким образом, двойником своего создателя: в них он торжествует или терпит поражение и гибнет — чтобы отвратить от себя приговор судьбы», — пишет Пикон. Эти вымышленные существа в его глазах — живые, а «реальные люди даже казались ему бледной копией его собственных героев». Прочно утвердившись в этой второй реальности, он мог вместе с героями делать скачки во времени. Он объявляет читателю: «Здесь же вы видите внушительный образ де Марсе, который становится премьер-министром, а в «Брачном контракте» описаны его первые шаги в обществе; позднее... он предстает то восемнадцатилетним юношей, то тридцатилетним пустейшим денди, легкомысленным бездельником»¹. Не так ли бывает и в нашем обществе? Вы встречаете человека, которого потеряли из виду; он был беден, а теперь стал богат; вы идете в другой уголок гостиной, и там какой-нибудь искусный говорун за полчаса расскажет неизвестную

¹ Б а л ь з а к. Предисловие к «Дочери Евы» и «Массимилле Дони».

вам историю двадцати лет жизни вашего знакомого. Бальзаку превосходно удаются такие разговоры, где при каждом повороте светской болтовни открывается какая-либо тайна. Зачастую история рассказывается по частям, в несколько приемов: «Нет ничего цельного в нашем мире, все в нем мозаично... Образцом для автора служит XIX век, век крайне подвижный, когда ничто не стоит на месте»¹. Автору приходится иной раз ждать три года, чтобы узнать развязку романа («Беатриса»), или же забыть прошлое своих персонажей, а порою игнорировать его. «Торпиль», написанная раньше «Провинциальной знаменитости в Париже», показывает нам друзей и врагов Люсьена де Рюбампре, и они говорят о нем так, словно совсем потеряли память. В дальнейшем автор все уладит, если у него хватит времени. Волшебство всех этих приключений заключается в том, что Бальзак чувствует себя в созданном им мире как в реальной жизни и ждет, чтобы какая-нибудь встреча или доверенная ему тайна натолкнули его на продолжение того или иного романа, а когда он возвращается к житейской действительности, то всюду видит там своих героев и углубляет свое знакомство с ними.

У него и приемы, и тон историка. Если ему нужны примеры, чтобы пояснить ситуацию, он их ищет и находит в самой «Человеческой комедии». Если он хочет заполнить гостиную на вечере, он созывает туда своих собственных героев то из буржуазного, то из чиновничьего круга, то из светского общества. Воспоминания действующих лиц какого-нибудь романа естественным образом затрагивают его предшествующие произведения. «Человеческая комедия» — это история внутри Истории. В предисловии к «Дочери Евы» он шутливо обещает, что позже к «Этюдам о нравах» будут составлены биографические указатели, и в качестве образца пишет справку о Растиньяке. Ему кажется, что он шутит, а на деле он лишь опережает события.

Теперь понятно, почему он так легко соглашается на просьбу какого-нибудь издателя срочно написать рассказ в шестьдесят страниц, когда бывает нужно увеличить объем выпускаемого тома.

Ведь Бальзаку достаточно для этого собрать свою труппу и выбрать в ней нескольких требующихся ему

¹ Там же.

актеров. Его многочисленные статьи и монографии, опубликованные то тут, то там, дают ему «зарисовки»: Чиновник, Лавочник, или тирады, которыми он «затыкает дыру», а в один прекрасный день выбрасывает их при переиздании (например, вычеркивает тираду о Булонском лесе, имевшуюся в первом издании «Прославленного Годиссара», а затем исчезнувшую из этого рассказа). Требованиям ремесла, связывающим авторскую свободу, он придает не больше значения, чем режиссер в театре придает значение прожектору, который то зажигают, то гасят по ходу действия. Он без стеснения позаимствует в техническом журнале доклад инженера-путейца, закажет стихотворение Дельфине Гэ или Теофилю Готье. Какую роль играют эти чужеродные элементы, раз единство произведения достигается могучей личностью автора и раз действие быстро развертывается дальше?

Бодлер находит, что в стиле Бальзака есть «что-то расплывчатое, скомканное, черновое». Это неверно: Бальзак — автор эпистолярной прозы, Бальзак-журналист пишет очень хорошо, его стиль полон энергии и движения; Бальзак — историк нравов, Бальзак-географ в описаниях проявляет и ум и точность. Идет ли речь о бочаре или о парфюмере, о театральных кулисах или о лаборатории химика, его технический язык непогрешим. Бальзак-моралист небрежно разбрасывает в тексте своих произведений афоризмы, достойные Ларошфуко или Шамфора: «Только у стариков есть время любить... Смирение — это ежедневное самоубийство... Корыстные интересы зачастую пожирают друг друга... Пороки всегда сталкиваются меж собой...» Чувствуется, что он воспитывался на классиках XVII и XVIII веков. Помимо гениальных находок (а у него их множество), он и машинально пишет прекрасным слогом. Он великолепный подражатель — то подделывается под Рабле, то под Сент-Бёва. Он блестяще может изложить какую-нибудь научную и философскую систему. Его никак не назовешь «претенциозным фельетонистом», уснащающим свой рассказ «благомыслящими» общими местами, наоборот, он с юных лет мыслит оригинально и глубоко.

Правда, приходится признать, что у него не всегда хороший вкус, и случается, что он впадает в смешную напыщенность, когда старается выразить что-либо возвышенное или создать красивый образ. «Она позла-

тила бы даже грязь своей небесной улыбкой...» «Целомудренная ограда их затаившихся сердец...» «Так, значит, и ты тоже в пропасти, ангел мой?..» Его романы изобилуют «ангелами». Конечно, надо помнить, в какое время это писалось, помнить о риторике романтиков и о том, какие книги читал Бальзак. Стиль проповедей Массильона, пусть он даже и хорош сам по себе, может испортить любовную переписку. Анриетта де Морсоф, так же как и ее создатель, слишком много читала Сен-Мартена. Поскольку Бальзак верит в единство мироздания, он позволяет себе смелые сравнения, иногда удачные, иногда комические: госпожа Матифа́ — «эта Екатерина II прилавка»; Нусинген — «этот слон финансового мира»; Горио — «Христос отцовской любви». Это мания Бальзака, но разве у Лабрюйера нет своей мании — стремления к финальному штриху, а у Пруста — мании плести гирлянды прилагательных и изысканных метафор?

А кроме того, у больших мастеров свои права. «Им-то не нужно изощряться в стиле, они сильны, несмотря на все свои ошибки, а иногда и благодаря ошибкам, — замечает в одном из своих писем Флобер. — Но нас, малых писателей, ценят лишь за безупречно отделанные произведения... Я осмелюсь выразить здесь мысль, которую не решился бы высказать где-нибудь в другом месте: я скажу, что великие писатели нередко пишут плохо. Тем лучше для них. Искать искусство формы нужно не у них, а у второстепенных писателей (Гораций, Лабрюйер)...»

Но, сказав все это, заметим также, что ни один писатель не работал столько, сколько работал Бальзак. «Он вкладывал бесконечно много труда в поиски выразительных средств», — говорит Теофиль Готье. Однако он добавляет, что «у Бальзака был свой стиль, притом превосходный стиль, неизбежно необходимый, с математической точностью соответствующий мысли автора». Как Шатобриан, он подбирал архаические слова, чтобы вернуть им былой почет, или же редкие слова, или же фамилии, чудесные фамилии «Человеческой комедии» — Гобсек, Бирото, Серизи, которые он вылавливал на вывесках, в различных ежегодниках или находил в своих воспоминаниях. В «Турском священнике» он изобрел «разговор с подтекстом» — прием, который со-

стоит в том, чтобы искусно вписывать потаенные мысли собеседников, скрывающиеся за произносимыми вслух фразами. Можно сказать также, что его письма (особенно письма к Ганской) дублируются таким «подтекстом». Читателю надо представить себе, какая смесь искренности, наивных хитростей и романтических тирад кипела в его уме, когда он писал своей возлюбленной.

НАБЛЮДАТЕЛЬ, ИЛИ «ЯСНОВИДЯЩИЙ»

В предисловии к «Человеческой комедии» Бальзак изложил целую систему мироздания, представлявшую собою трамплин для полета его гения. «Он хочет,— писал Мюссе,— уцепиться за нить, которая может все соединить и все сосредоточить... Этот честолюбец питает лестную для себя мысль, что единственно он обладает ключом к своей эпохе...» Это правда, для Бальзака жизнь — это система причинных связей, но гениальность жила в нем до всяких систем и вне их. Великий художник не знает, как он работает, он пробует понять это, вглядываясь в созданное им творение; он пытается объяснить системой то единство, которым обязан своему темпераменту. Бальзак аранжировал окружающий мир, чтобы сделать из него свой собственный, бальзаковский мир. Хотя ему необходима реальная основа, обеспечивающая крепкую жизненность его персонажей, никакого ключа не подберешь к их характерам. Растиньяк — вовсе не Тьер, Жозеф Бридо — не Делакруа, маркиза де Кастри — не герцогиня де Ланже, госпожа де Берни — не госпожа де Морсоф. Но отдельные черты Тьера, братьев Делакруа находят отражение в образах Растиньяка и братьев Бридо. Растиньяк, так же как и Тьер, женится на дочери своей любовницы. Жюль Сандо — отнюдь не Лусто и не Рюбампре, но каждый из этих двух персонажей обязан ему искоркой жизни. Камилл Мопен не существовала бы, если б не было Жорж Санд, но Камилл Мопен не Жорж Санд, и, хотя Бальзак высказывает Эвелине Ганской противоположное мнение, он просто недооценивает силу своей фантазии. Подлинное правило всякого искусства, говорил Андре Жид, состоит в том, что «Бог предлагает, а человек располагает». Натура предлагает элементы, художник располагает их по-своему.

Случаются, однако, чудесные встречи, когда сама жизнь дает писателю готовые персонажи для его произведений, фигуры, которые без всяких изменений или с едва заметными штрихами поправок могут прямо войти в роман. Анна-Мария Мейнингер доказала, что многие подробности, касающиеся брака и любви Корделии де Кастеллан (подруги Шатобриана), точь-в-точь соответствуют приключениям Дианы де Мофриньез, с которой мы познакомились в «Музее древностей» и которая стала в дальнейшем героиней повести «Тайны княгини де Кадиньян». Та же среда высшей знати — Кастелланы, так же как и Кадиньяны, были некогда владельцами князьями. Те же материальные обстоятельства — разорение: Корделия де Кастеллан, разойдясь с мужем, который служил в дальних гарнизонах, жила в маленьком особняке в Фобур-Сент-Оноре; Диана де Мофриньез в романе поселилась в нижнем этаже дома на улице Миромениль. То же очарование, та же ангельская красота, тот же небесный взор голубых глаз и та же развращенность — у обеих целая коллекция блестящих любовников, и обе нарочито афишируют свои романы. Обе обладают неслыханным искусством «облачать свою душу и тело в дивные туалеты»; та же сила ума и та же отвага в затруднительных положениях.

Все говорит о сходстве. У княгини Кадиньян есть опасная подруга — маркиза д'Эспар, а графиня де Кастеллан была тесно связана со своей соперницей герцогиней Дино. «Конечно, они знали друг о друге слишком важные тайны и не стали бы ссориться из-за какого-то одного мужчины или оказанной услуги... Когда две приятельницы способны убить друг друга, но каждая видит в руке у соперницы отравленный кинжал, они являют трогательное зрелище гармонии, нарушаемой лишь в тот миг, когда одна из них нечаянно это оружие обронит». Эти слова Бальзака столь же применимы к двум реально существовавшим женщинам, как и к двум вымышленным героиням. Фамилия де Кадиньян, по-видимому, переделана Бальзаком из фамилии княгини де Кариньян (той, у которой на балу загорелось платье, так же как у Корделии де Кастеллан). Диана де Мофриньез хранит письма Люсьена де Рюбампре, как хранила Корделия письма Шатобриана. Среди окружения Корделии встречались люди, подобные Мишелю Кретьену, Анри де Марсе и Даниелю д'Артезу. Короче

говоря, здесь сама жизнь создала произведение искусства. Гений Бальзака сумел открыть этот шедевр.

Но такие счастливые случаи чрезвычайно редки. Когда Бальзак опубликовал роман «Златоокая девушка», его спросили, правда ли то, что там рассказано. Он ответил: «Эпизод правдив... Историк нравов обязан брать действительные факты, порожденные одной и той же страстью, обуревавшей многие лица, и сшить вместе эти происшествия, чтобы получить законченную драму». Это верно, но романист, поэт преобразует наброски с натуры, сделанные историком нравов. Подобно тому как Рембрандт бросал в самые темные углы мрачных лавок трепещущий рыжеватый луч света, Бальзак, накидывая золотистую дымку на гнусные, пошлые драмы, создавал могучие контрасты света и тени! Его называли то реалистом, то фантазером. *Оба эти определения ошибочны*, вернее сказать, они правильны при условии, что одно дополняется другим. Шарль Бодлер говорил:

Меня часто удивляло, что Бальзака прославляли главным образом за его наблюдательность; а мне всегда казалось главным его достоинством то, что он фантазер, и фантазер страстный. Все его герои наделены горячей жизненной силой, которая воодушевляла и его самого. Все его вымыслы красочны, как мечты. От верхушки аристократии и до самых низов плебса все актеры «Комедии» больше цепляются за жизнь, более энергичны и хитры в борьбе, более терпеливы в несчастье, больше жаждут наслаждений, проявляют больше ангельской доброты и преданности, чем мы видим это в комедии реального мира. Короче говоря, в произведениях Бальзака каждый персонаж, даже привратница, наделен талантом. Все они натуры волевые, право, воли у них хоть отбавляй. Да ведь это же сам Бальзак...

Можно с этим согласиться, но при одном условии: надо добавить, что фантазер Бальзак обязан был своими образами реальной действительности. «Чересчур много твердили, что господин де Бальзак наблюдатель и аналитик, на самом деле (не знаю, лучше это или хуже) он был ясновидящим», — заявил Шарль. Фраза стала знаменитой, но она требует оговорок. Бальзак видит то, что за пределами действительности, но он видит также и действительность. Он прислушивался к разговорам прохожих на улицах, расспрашивал военных, завтракал с палачом, был в приятельских отношениях с каторжником и выслушивал исповеди дам из хорошего общества. Он читал всё и нередко находил отправную точку для одно-

го из прекрасных своих романов в какой-нибудь неудавшейся, по его мнению, книге. Корни его произведений глубоко уходят в плодородную почву, где смешались классическая культура, бесконечное чтение и поразительное знание своего времени. Оставалось только создавать из этого сверхизобилия произведения искусства. Это превращение оставалось таинственным даже для него самого. Переплавка происходила в бессонные ночи, в часы труда и творческого экстаза, «возвышенного пароксизма разума, подстегнутого волнением, когда муки рождения исчезают, сокрытые радостным и непомерным возбуждением ума». Мелькнет, как молния, мысль, зацепится за знакомый человеческий силуэт или за какой-нибудь лафатеровский тип — и вдруг образ обретает жизнь, перед глазами встает Мишю и видится бороздка на его шее, как будто ожидающая ножа гильотины; а вон там Вотрен с рыжей шерстью на груди, Корантен в буром паричке, точно сделанном из пырея.

Домá и города «Человеческой комедии» — это соединение камня и мысли. Для каждого сюжета нужна своя декорация. Бальзак пользуется картинами знакомых ему городов: Тура, Безансона, Сомюра, Ангулема, Иссудена, Геранды, Алансона, Лиможа, Фужера, и, если ему нужно, он, не колеблясь, рисует тот Сомюр, который подходит для его романа, пользуясь чертами, подмеченными в Туре или Вуврэ. Он берет с собою и своих актеров. Труппа переезжает с одного места на другое. Филипп Бридо, парижанин, вносит смятение в Иссуден; Бьяншон, уроженец Сансера (как и Лусто), делает карьеру в Париже. Начиная с 1842 года бальзаковский мир живет столь интенсивной жизнью, что порождает свою собственную игру случая.

Некоторые рассказы будут «перекрестками», где встречаются персонажи, уже хорошо знакомые читателю и на время рассказа замешанные в новую интригу. К новеллам типа «перекрестка» принадлежат «Принц богемы», «Деловой человек», «Комедианты неведомо для себя». Сделаны эти вещи без особого старания: в центре забавная история, к которой присоединены бегло набросанные этюды о нравах, и все связано с «Человеческой комедией» повторяющимися именами. Государственного советника Клода Виньона мы раньше знали как литературного критика; знаменитый художник

Леон де Лорà был когда-то мальчишкой на побегушках — Мистигри. Бальзак, не колеблясь, пишет в скобках: (см. «Беатриса»), (см. «Музей древностей»). В «перекрестках» почти нет сюжета, но они дороги читателям Бальзака, потому что в них встречаются обычные его персонажи. Итак, «Человеческая комедия» идет, как жизнь, — день за днем. Автор, будучи в рабстве у издателей и газет, не может возводить здание, как ему вздумается, — он должен бегать от одних строительных лесов к другим. Да так, пожалуй, и лучше. Случайные принуждения воспроизводят закономерности жизни. Вначале приходилось подтасовывать, менять имена, подправлять даты, чтобы в единые рамки вошли противоречивые элементы. Но вот бальзаковское общество уже существует и само определяет свои драмы. Целое стало бесконечно больше суммы слагаемых.

Несмотря на сдержанность парижской прессы, для которой Бальзак оставался излюбленной мишенью, его Прометеево творение мало-помалу стало внушать уважение и своей грандиозностью, и красотой. Как человек, Бальзак по-прежнему изумлял, а зачастую и шокировал своих поклонников. Если Бодлер не говорил, как Сент-Бёв, о «промысловой литературе», он все же удивлялся, что в этом поэтическом уме повсюду цифры, как в кабинете финансиста.

Это действительно был он, человек, терпевший легендарные банкротства, пускавшийся в гиперболические и фантасмагорические предприятия, где он неизменно забывал засветить фонарь во мраке неизвестности; это он, великий мечтатель, непрестанно предающийся «поискам абсолюта»... Да, это он, чудака, столь же невыносимый в жизни, сколь обворожительный в своих произведениях, толстый ребенок, надутый гениальностью и тщеславием, существо, у которого столько же достоинств, сколько и недостатков, причем последние не решаешься отмести, боясь потерять первые.

Да, недостатки Бальзака являются также и его достоинствами. Если он превратил роман о нравах, «такой мещанский жанр, в изумительные произведения, всегда любопытные, а зачастую возвышенные, то произошло это потому, что он вложил в них все свое существо». Если он умел придать сражению между двумя нотариусами значительность битвы между враждующими нациями, то могло так получиться лишь потому, что он сам не раз попадал в клещи адских дробильных машин фи-

нансовой системы и юрисдикции, писал Ален. «Его гениальность как раз состоит в том, что он брал сюжетом обыденное и, ничего не меняя в нем, делал его высоким».

Лишь тот, кто сам не пережил «Человеческой комедии», может находить в ней преувеличения. Для Бальзака она чересчур правдива; она убивает его. Он видит вокруг себя три тысячи персонажей, а за ними Апокалипсис, ожидающий нас в далеком будущем, «когда земной шар перевернется, как больной во сне, и моря станут континентами», обнажив кости двадцати миров, в том числе и нашего. Какой человеческий мозг мог бы еще вынести подобные усилия и подобные видения? Знал ли Бальзак в своем разгуле безмерного труда, что он отдает свою жизнь в обмен на силу творчества? Как Рафаэль в «Шагреновой коже», он не мог отказаться от желаний, не мог не творить. Подошвы башмаков его увязали в грязи будничной жизни, а мысли обнимали весь мир, демиургом которого он был.

МУДРОСТЬ БАЛЬЗАКА

Практическая мораль «Человеческой комедии» имеет две стороны, одна сквозит в прощальном письме Анриетты де Морсоф Феликсу де Ванденесу. Она, как вы помните, советует ему *уважать правила общества и строго блюсти свою честь*. Но мы видим у Бальзака и другую философию жизни, весьма отличную от этих поучений; она выражена в уроках, которые Вотрен дает Люсьену де Рюбампре и Эжену Растиньяку. Есть две истории, поучает Вотрен. История официальная, которая вся состоит из лжи, все поступки человеческие объясняются в ней благородными чувствами; и есть история тайная, единственно верная, в которой цель оправдывает средства... Люди в совокупности своей — фаталисты: они поклоняются совершившемуся событию, они присоединяются к победителю. Итак, добейтесь успеха — вас во всем оправдают. Ваши поступки сами по себе ничто, все зависит от того мнения, которое составят о них другие. Соблюдайте приличия, скрывайте изнанку вашей жизни и выставляйте напоказ свои достоинства. Все дело в форме.

И вот Бальзак наделяет Вотрена таким же убедительным красноречием, как и ангельскую Анриетту де

Морсоф. Приходит час, и он вкладывает весь свой пыл в агрессивную критику общества. Разумеется, по законам диалектики в споре всякая мысль вызывает мысль противоположную, и, конечно, каждый персонаж должен говорить сообразно своему характеру.

Но эта двойственность объясняется также и конфликтом между врожденными свойствами Бальзака и опытом его жизни. По натуре он был великодушен и нежен. В такой оценке сходятся все свидетели, не принадлежавшие к числу завистников,— все, от Готье до Гозлана. А в «Человеческой комедии» даже циники любят принимать облик мстителей. Надо согласиться с Жорж Санд, что Бальзак был «наивен и добр». Но у него имелись серьезные причины, чтобы стать пессимистом: одна — личная (его несчастья), а другая — историческая (пороки его времени).

Поэтому нарисованная им картина общества должна была стать мрачной. Да он и хотел, чтобы она была мрачной. «Великие установления держатся лишь благодаря страстям». А страсть — «это чрезмерность, это зло». От времени до времени он утверждает, что в «Человеческой комедии» грехи и преступления всегда бывают наказаны. Но зачастую в его романах торжествует зло. «Надо признать,— пишет Пьер Лобрие,— что ужасные картины, созданные Бальзаком, и некоторые его персонажи, служители зла, достигают такого величия, что вызывают в нас смешанное чувство восхищения и ужаса, какое Улисс испытывал при встрече с Циклопом или Синдбад-Мореход — с чудовищами странных островов, к берегам которых приставал его корабль». И писателю нравится освещать свой зверинец адским пламенем. Иной раз он в своих произведениях терзает ангелов столь же сурово и, пожалуй, даже более сурово, чем демонов, но ведь он видел, как жизнь безжалостна к самым лучшим людям. Счастливая развязка в его глазах — один из видов «лицемерия прекрасного». Госпожа д'Эспар задумала установить опеку над своим мужем, превосходным и добродетельным человеком; эта злая женщина находит недобросовестного судью и выигрывает процесс. Растиньяк и де Марсе, у которых под честолюбием скрывается пустая и жестокая натура, будут управлять Францией, а высокие и серьезные умы — Луи Ламбер, д'Артез и Рабурден — обречены на неудачи.

Молодая и благородная душа Лорансы («Темное дело») полна негодования оттого, что ни в чем не повинного Мишю отправили на эшафот. Наполеон на поле битвы под Иеной указывает этой молодой женщине на армию, готовую к сражению: «Вот триста тысяч человек, они тоже не виновны. И что же, тридцать тысяч из них завтра умрут, умрут за родину!.. Знайте же, мадемуазель, что надо умирать во имя законов своей страны так же, как здесь умирают во имя ее славы». Бальзак отнюдь не осуждает; он констатирует. Измените форму общества — сменятся индивидуумы, стоящие у власти, но социальные виды останутся неизменными. По-прежнему будут в нем труженики, чиновники и наглецы в паланкинах. Будут новые наглецы, вот и всё, а паланкины превратятся в изящные кареты.

Можно ли ненавидеть Перада и Корантена? Глупый вопрос! «Зачем,— говорит Наполеон,— негодовать на шпиона? Он уже не человек, у него больше не должно быть человеческих чувств; он просто колесико машины. Он лишь выполнил свой долг. Если бы подобные инструменты не были такими, какими они стали, управлять государством оказалось бы невозможно». У Бальзака даже честные люди вроде знаменитого стряпчего Дервиля снисходительны к мошенникам. Дело художественного произведения не осуждать, а верно их изобразить; надо хорошо их знать, чтобы уберечься от них или пользоваться ими, если вы человек действия. «Есть добродетели, от коих следует отвыкнуть, когда стоишь у кормила власти». Впрочем, нравственность книги зависит от нравственности читателя. Если какой-нибудь молодой человек, прочитав «Человеческую комедию», не порицает таких персонажей, как Лусто и Рюбампре, он сам себе выносит приговор такой снисходительностью.

Удивительно, что Бальзак, более чем другие романисты способный вдохнуть жизнь в страшных чудовищ, глубоко разбирается в социальной значимости своих персонажей. Он задумывает образы лишь таких чудовищ, которые находят поддержку в каком-либо кругу общества. Отдельная личность существует для него только как порождение определенной среды, определенного экономического положения, и вот почему, несмотря на то что Бальзак объявляет себя защитником трона и алтаря, марксисты относятся к нему благо-

клонно. Он льет воду на их мельницу. Бальзака, роялиста и реалиста, они предпочитают Эжену Сю, республиканцу и утописту, взывающему к «чуткости добрых богачей». Лучше уж Гобсек и Вотрен, чем князь Родольф из «Парижских тайн». Чтобы изобразить на сцене социальную бурю, писал Бальзак, нужны «гиганты, вздымающие волны, скрытые в самых глубоких театральных люках».

А как автору удастся примирить столько противоречивых нравственных принципов? Он очень мало заботится об их примирении. У него в руке кисть, и он рисует, как это должен делать каждый художник. Позднее критика займется философией Бальзака, подобно тому как аббат Берто возьмет на себя заботу о спасении его души. «Истинный поэт должен оставаться сокрытым, как Господь в центре своих миров, и быть видимым лишь через свои творения». Бальзак возвышает свои персонажи, и в лучшие минуты они могут подняться над человеческими слабостями, которые им быстро прощают, и становятся поистине величественны. Это умение подняться над предрассудками и страстями делает его произведения, несмотря на темные стороны жизни, которые в них показаны, источником силы и душевной умиротворенности. «Я заметил,— говорил Ален,— для того чтобы правильно понимать людей, нужно любить их той суровой любовью, которой учит нас Бальзак».

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ

Ласки женщины изгоняют Музу и
ослабляют яростную, грубую силу
труженика.

Бальзак

XXXI
ТАНТАЛОВЫ МУКИ

Ты непрестанно в моих мыслях,
когда я бываю один; ты во мне — как
мое горе, мой труд и кровь моя.

Бальзак

Разлука способствует кристаллизации любви, если воспоминания еще полны жизни; долгая разлука иногда отнимает у любви всю ее сущность. До 1841 года Бальзак по пять-шесть раз в год читал акафисты своей Еве, посылал ей свои книги и писал с некоторыми предосторожностями, так как Ганский мог потребовать, чтобы ему показали переписку. Госпожа Ганская читала книги и письма, отвечала с большими промежутками (раз в полгода, в десять месяцев) и, по-видимому, отдалилась от Бальзака и умом и сердцем. Не думая о возлюбленном, ставшем почти мифическим, она занималась воспитанием своей обожаемой дочери Анны — она хотела сделать девочку очень набожной и для этого изучала вместе с ней Массильона и Франциска Сальского. Бальзак с грустью чувствовал, что Чужестранка все больше отходит от него в недостижимые дали. «Ничего не понимаю в вашем молчании,— писал он.— Вот уже сколько дней я напрасно жду ответа...» В тревоге он обратился за советом к «ясновидящей», затем к «прославленному колдуну» Балтазару — тот нагадал, что жизнь его клиента до этой поры была долгой, но победоносной борьбой и что через полтора месяца он получит письмо, от которого изменится вся его судьба.

Колдуны не всегда ошибаются. 5 января 1842 года с Украины пришло письмо с черной печатью: Венцеслав Ганский скончался 10 ноября 1841 года. Бальзак был

потрясен. Известие было счастливым для него, но вдове он писал со всей доступной ему тактичностью:

Что касается меня, дорогая, обожаемая Ева, то, хоть случившееся событие и дает мне возможность достичь того, чего я горячо желаю вот уже скоро десять лет, я могу перед вами и перед Богом отдать себе справедливость и сказать, что никогда в сердце у меня не было ничего, кроме полной покорности, и я ни разу не запятнал душу злыми пожеланиями. От иных невольных порывов невозможно удержаться. Часто я говорил себе: «Как легко бы мне жилось с нею!» Невозможно сохранить свою веру, свое сердце, все свое существо, не питая надежды. Два эти чувства, которые церковь считает добродетелями, поддерживали меня в борьбе. Но я понимаю сожаления, выраженные вами в письме...

Однако он — человек, который столько угадывал, — не мог угадать, что Ева искренне жалела о старике муже. Он был для нее заботливым покровителем, понятливым супругом. После его смерти ей предстояло столкнуться с ужасными трудностями. В имущественных ее делах далеко не все шло гладко. При заключении брачного контракта Ганский предоставил жене в пожизненное пользование все свое состояние, но родня мужа протестовала против этого. Грозный дядюшка, которого Бальзак называл «дядя Тамерлан», некое подобие феодального Гранде, сразу воспротивился вводу во владение. Император всея Руси не любил крамольное украинско-польское дворянство. Достаточно было какого-нибудь промаха, чтобы госпожа Ганская впала в немилость и лишилась всего имущества. Итак, Бальзаку (писала она) нельзя приехать к ней. Несвоевременный его приезд мог привести в ярость и родню Ганской, и царя.

Ганская с тревогой спрашивала Бальзака, где письма, которые она писала ему. Будет ли эта объемистая переписка в безопасности, если адресат внезапно умрет? Он поклялся, что на ларец, где хранятся письма, он наклеил обращение к своей сестре Лоре, в котором отдал ей распоряжение «бросить все в огонь, ничего не просматривая». Но почему столько беспокойства, когда уже никто не имеет права ревновать? Их жизнь может быть теперь совсем простой; они были бы вместе до конца дней, как Филемон и Бавкида. Седовласая чета, муж и жена, обожающие друг друга, сидящие рядышком у камелька... «И при одной только мысли о таком блаженстве» он «плакал от умиления». Чего она боится? Того, что ей придется разделять с ним нужду? Напрасная боязнь. Он закончил одно за другим столько

произведений, что мог теперь позволить себе совершить за свой счет четырехмесячное путешествие в Россию. В браке с ним ее ждет не одна лишь слава. Ведь для того чтобы стать членом трех Академий, быть избранным в парламент, ему недостает только «материальной независимости», и он добьется состояния своим трудом.

Но в январе 1842 года, первого года вдовства госпожи Ганской, он, хоть и был связан договорами, работал мало и плохо, потому что Ева в этот важнейший для них момент, Ева, уже свободная от всякого контроля, не подавала о себе вестей! «Вот уже скоро месяц, как я получил счастливое письмо, а вы ни разу не написали мне за это время...» «Счастливое» письмо... Вероятно, она подумала, что у него нет такта. Он теперь давал ей, как супруг, советы о том, как ей управлять имуществом, уговаривал поскорее выдать замуж Анну (которой едва исполнилось тогда четырнадцать лет) «за человека с головой и главное — богатого» и взамен определенной пожизненной ренты уступить дочери в собственность имение.

Пока почта не приносила вестей с Украины, Бальзак тревожился, но когда 21 февраля он получил долгожданное письмо, то был сражен. «С ледяным спокойствием» Чужестранка сообщала ему: «Вы свободны». Уже и речи не было о браке, она намеревалась всецело посвятить себя воспитанию единственной дочери. Ужасная тетушка Розалия предостерегала ее против французов. «Париж? Никогда!» Тетушка Розалия (кстати сказать, дальняя родственница) имела основания ненавидеть Францию и бояться ее. Ее матери, княгине Любомирской, там отрубили голову в 1794 году, и сама тетушка Розалия сохранила страшные воспоминания о нескольких неделях, проведенных в тюрьме в период якобинской диктатуры. Но главное — эта надменная семья порицала «вульгарную» связь. У старшей сестры Евы, Каролины Собаньской, тоже были любовники, но иметь возлюбленным Пушкина, принадлежавшего к подлинному и старинному русскому дворянству, казалось более приличным, чем сохранять связь с Бальзаком, буржуа и богемой — самое мерзкое сочетание в глазах Ржевусских.

Если б Эвелина Ганская сказала: «Я питаю те же надежды, что и вы, но придется подождать год-другой», Бальзак смирился бы. «Бескорыстие, преданность, вера,

постоянство — вот четыре краеугольных камня моего характера, а между ними — только нежность и доброта... И вот даже после этого жестокого письма я буду ждать... Я всегда втайне думал, что Петрарка выше Лоры. Если бы Гуго де Сад оставил ее свободной, она нашла бы основание оттолкнуть автора «Сонетов»; соображения опекуна и у нее были бы подобны тентам паутины, нити которых она превратила бы в бронзовые, а по поводу этих соображений она тоже созывала бы собрания родственников...» Тон писем становился горьким; любовнику, будущему мужу, были нанесены болезненные удары.

В чем она могла его упрекнуть? При их встрече в Вене в 1835 году она сказала: «Не заводите никаких связей. Мне нужно только ваше постоянство и все ваше сердце». Этому требованию (как он говорил) ему было легче следовать, чем она полагала. Да будет Еве известно, как он ответил одному глупцу, который вздумал спрашивать о его любовных приключениях:

Сударь, в нынешнем году я написал двенадцать книг и десять актов театральных пьес; это значит, что из трехсот шестидесяти пяти ночей в году, которые даровал нам Бог, я триста ночей провел за письменным столом. Так вот, 1841 год во всех отношениях подобен десяти предшествующим годам. Я не отрицаю, что женщины влюблялись в воображаемого Бальзака и приходили к тучному и толстощекому солдафону, который имеет честь отвечать вам. Но все женщины (как самые знатные, так и самые простенькие, и герцогини, и гризетки) хотят, чтобы занимались только ими; они взбунтуются, они и десять дней не потерпят мужчину, поглощенного великим делом. Вот почему женщины любят дураков. Дурак отдает им все свое время, занимается только ими, тем самым доказывая своим дамам, что они любимы. Пусть гениальный человек отдаст им свое сердце, свое состояние, но если он не посвящает им все свое время, самая благородная женщина не поверит, что он любит ее.

Да, «самый нежный человек на свете» жил после смерти Лоры де Берни «в одиночестве сердца и чувств». Правда, на короткое время пришла надежда найти немного покоя и ласки близ госпожи Висконти, но тут его ожидало (как он заявлял) разочарование не менее жестокое, чем то, которое доставила ему маркиза де Кастри. Впрочем, он и не желал заводить себе любовниц, он стремился к браку, к надежному, нерасторжимому союзу, к уверенности жить и умереть вместе. «Умоляю вас, подумайте об этом, у вас еще вся жизнь впереди».

В ту пору он писал Ганской прекраснейшие письма, искренне уверяя ее в своей любви. Великий романист увлекся своей игрой. Могла ли она поверить в его искренность? Она знала, что вера и постоянство не всегда были «краеугольными камнями характера» Бальзака. Лишившись всякой поддержки после смерти мужа, она должна была считаться с мнением родни, восставшей против «неравного брака», и главное — Чужестранка боялась, что, если она вступит во второй брак, у нее отнимут дочь, а эта насильственная разлука убьет ее; наконец, она постарела со времени свидания в Вене и через семь лет не была уверена, что будет еще нравиться возлюбленному, который, казалось, по-прежнему был исполнен пылкой чувственности. Из осторожности она послала ему сделанный карандашом портрет, где была нарисована в профиль. «Право же, — отвечает Бальзак, — присылка этого портрета, моя дорогая, обожаемая Ева, просто кокетство — ведь можно подумать, что видишь перед собою молодую девушку».

Весьма важная причина недоразумений: Бальзак, так хорошо знавший французское общество, плохо представлял себе сложную обстановку в славянском мире. Поляки на Украине испытывали на себе тяжелый гнет — и как мятежные подданные царя, и как католики. Киевский генерал-губернатор действовал как властелин и мог в случае конфликта простым распоряжением наложить арест на все имущество, оставленное Ганской мужем. А ведь Киевская судебная палата отказалась признать действительным завещание, столь выгодное для вдовы. Ганская подала апелляцию в Сенат, а через него — и самому императору. Совсем растерявшись и зная, что она может рассчитывать только на поддержку своего брата, генерала Адама Ржевусского, который состоял адъютантом царя и жил при дворе, она решила поехать в Санкт-Петербург и защищать там свои права. Бальзак одобрил в письме это путешествие: «Поезжайте в Санкт-Петербург, направьте весь свой ум и все усилия на то, чтобы выиграть процесс. Употребите все средства, постарайтесь увидеться с императором, воспользуйтесь, если это возможно, влиянием вашего брата и вашей невестки. Все, что вы мне написали по этому поводу, весьма разумно». Что касается его самого, то он готов ее поддержать. «Я стану русским, если вы не возражаете

против этого, и приеду просить у царя необходимое разрешение на наш брак. Это не так уж глупо».

Стать русским! Почему французскому писателю, французскому до мозга костей, пришла в голову эта новая и странная химера? Во Франции он только что потерпел серьезнейшую неудачу. Уже два года он лелеял надежду быстро составить себе состояние с помощью театра. Гюго любезно перечислил ему «с вкрадчивостью старика Гранде и уверенностью чиновника казначейства финансовые преимущества драматургии». Бальзак слушал с жадностью. Он представил в театр Одеон комедию в испанском духе, полную больших достоинств,— «Надежды Кинолы». В ней были показаны страдания Альфонсо Фонтанареса (испанца, который задолго до Фултона изобрел пароход) и хитрости его лакея Кинолы, некоего подобия Фигаро. Бальзак прочел пьесу актерам, вернее, превосходно прочел четыре первых акта. Затем он сказал будущим ее исполнителям, что пятый акт еще не написан, но он сейчас его расскажет. Импровизация не удалась, усталый автор спотыкался. Лишь только он кончил, Мари Дорваль, на которую он рассчитывал, заявила, что не видит тут роли для себя.

Бальзак — Мари Дорваль:

Когда я написал вам об условиях, которые я вырвал у товарищества Второго театра, моя дорогая Фаустина¹, Мерль² сказал мне несколько слов, из-за которых я и пишу вам. «Я полагаю,— заявил Мерль,— что госпожа Дорваль не даст согласия, пока не прочтет всю роль!» Следовательно, окончательное решение должно быть отложено до вашего возвращения, то есть на десять дней. Если у вас нет такого доверия ко мне, как у меня к вам, откладывать бесполезно, потому что в Одеоне ждать не могут...

Итак, я прошу вас написать мне, что вы принимаете мои условия и что в случае успеха вы непременно будете играть роль Фаустины до тех пор, пока длится этот успех. Будьте верны мне! Если б речь шла о вашем сердце, я не позволил бы себе сказать такую глупость, но ведь речь идет о вашем таланте.

В общем вы получите в случае успеха около 10 000 франков, если будем иметь в среднем сбор в 2500 тысяч франков в течение ста представлений. А если мы провалимся, вы вернетесь к голландцам, о которых Мерль говорил мне. Дело это больше не может ви-

¹ Фаустина Бранкадори — героиня пьесы «Надежды Кинолы», роль которой Бальзак предназначал для Мари Дорваль.— *Примеч. автора.*

² Жан-Туссэн Мерль — муж Мари Дорваль.— *Примеч. автора.*

сеть в воздухе. Поэтому жду от вас записки. Напишите мне на улице Ришелье, 112.

Вы сказали мне: «Я пойду с вами повсюду, куда вы пойдете», и я рассчитывал на ваше слово — не какой-нибудь светской дамы, а цыганки, и вы сами видите, что я добился для вас превосходных условий. Шлю тысячу поклонов.

Несмотря на неудачную читку пьесы, несмотря на измену Мари Дорваль, Лире, директор Одеона, принял пьесу к постановке, расхвалил ее, говорил о Кальдероне, о Лопе де Вега и заявил, что тотчас же начнутся репетиции. Бальзак выставил свои требования, они оказались необычайными. Отказаться от наемных клакеров. Все места на три первых представления предоставить в его распоряжение, *он сам их продаст*. Гозлан так описывает этот разговор:

— В партере пусть сидят только кавалеры ордена св. Людовика... В креслах — только пэры Франции. Посланники — в литературных ложах, депутаты и крупные чиновники — в бенуаре.

— А в бельэтаже?

— Видные финансисты.

— А в третьем ярусе?

— Богатая, избранная буржуазия.

— Ну, а журналистов вы куда посадите?

— Пусть платят за свои места, если билеты останутся. Но билетов не останется.

Между журналистами и Бальзаком со времени «Утраченных иллюзий» шла беспощадная война. «Они хотят снять с меня скальп,— говорил Бальзак,— а я хочу пить вино из их черепов». Премьера пьесы рисовалась в его воображении как сцена из романа: ослепительный зал, какого Париж еще не видел, триумф сценический, светский, денежный успех. Он не только сам распродавал билеты, но и бесцеремонно спекулировал ими.

Если кто-нибудь приходил купить ложу бенуара,— пишет Гозлан,— он отвечал сквозь решетчатое окошечко: «Слишком поздно! Слишком поздно! Последнюю ложу продали княгине Агустино Агустини Моденской». — «Но, господин Бальзак, мы готовы заплатить бешеную цену!..» — «Да хотя бы и бешеную, все равно ложу в бенуаре вы не получите — все распроданы!» И покупатель удалялся, не получив ложи. В первые дни продажи билетов эта игра удавалась, платили очень дорого за места, достававшиеся с большим трудом. Но затем горячка утихла. Все успокаивается в этом мире, помехи в приобретении билетов надоели, и в последнюю перед премьерой неделю Бальзак рад был отдавать билеты по номинальной цене, тогда как вначале мечтал распродать всё по сказочным ценам, взвинченным его могучей фантазией.

19 марта 1842 года пьеса была наконец сыграна, но почти перед пустым залом. Рассерженные необычными

маневрами парижане не пожаловали на спектакль. Немногие явившиеся зрители награждали пьесу лаем, свистом, ржанием. Это было крушение. «Напрасно господин де Бальзак отдал избранной им публике (за весьма высокую цену) бóльшую часть зала, общим для всех чувством было возмущение и обида за литературу, оскорбленную одним из самых видных писателей», — негодовал в своей рецензии Ипполит Люкас, но в действительности оскорблена была не литература, а сам рецензент.

Бальзак — Ганской, 8 апреля 1842 года:

«Кинола» стал предметом достопамятного сражения, подобного тому, какое происходило на представлении «Эрнани» *. Семь спектаклей подряд пьесу освистывали от начала и до конца, не желая слушать ее. Нынче идет семнадцатое представление, и Одеон делает сборы... Сборы очень маленькие. «Кинола» не даст мне и пяти тысяч. Все мои враги, а их на спектаклях было большинство, обрушились на меня... Все газеты, за исключением двух, принялись оскорблять меня и на все лады поносить пьесу.

Положительно театр совсем ему не подходил, и, быть может, этот провал был уготован самим Провидением. Бальзак вновь принялся за обычную свою работу — «для того чтобы жить, чтобы выполнять договоры», — как говорил он, а в действительности потому, что для него создавать прекрасные романы было так же естественно, как яблоне приносить яблоки. «Словом, буду делать то, что делаю уже пятнадцать лет: погружусь в бездну труда и замыслов, которые имеют то преимущество, что, всячески мучая человека, заставляют его забыть обо всех прочих муках. Мне нужно в течение ближайшего месяца заработать пером тринадцать тысяч франков». Он не признается, что искусство приносит ему радость, напротив, изображает себя сущим каторжником: «Творить, всегда творить! А ведь сам Бог и то творил только шесть дней!» — пишет он Ганской.

Он мечтает, и притом совершенно искренне, расстаться с этим существованием затравленного писателя и жить где-нибудь в тихом уголке в России или во Франции вместе со своей любимой, не слышать больше ни о кредиторах, ни об издателях. Это подлинный крик отчаяния, но что Бальзак стал бы делать в «тихом уголке»? Все равно продолжал бы творить. Однако же темп работы был даже для него чересчур напряженным. «Вчера я закончил «Путешествие на кукушке»... Допи-

сываю «Альбера Саварюса»; от меня неистово требуют «Крестьян», а «Ла Пресс» просит дать конец «Двух братьев» — начало романа напечатано два года тому назад. Просто голову можно потерять...»

Но он не терял головы и не бросал начатую вещь незаконченной. Сюжет «Путешествия на кукушке» («Первые шаги в жизни») ему подсказала сестра Лора, вернее даже, его племянницы — Софи и Валентина Сюрвиль. Он всегда интересовался, как идут их занятия, просил показывать ему их школьные сочинения. Иногда он хвалил их и говорил тогда, что одобрение такого знаменитого человека, как он, должно вполне вознаградить обеих девочек за труды. А еще будет больше чести для них, если он обработает какую-нибудь тему их сочинений. Сюжет «Первых шагов в жизни» был взят из маленькой новеллы, написанной Лорой по рассказу дочерей (позднее она опубликовала первоначальный ее вариант).

В рассказе говорится о молодых людях, пассажирах дилижанса, которые думают, что в дороге позволительно безнаказанно мистифицировать своих спутников; не зная, что один из путешественников — могущественный сановник, который может разбить все их будущее, они обращают его в мишень своих неосторожных шуточек. Первые шаги в жизни делает Оскар Юссон, хвастливый молокосос, он по глупости и из тщеславия сразу губит свою карьеру. Черты Оскара были в юности и у Бальзака, да они есть и во всяком юнце. Этому нравоучительному рассказу для школьников Бальзак придал глубину, расширил его и включил в число действующих лиц новые фигуры, судьбы которых нам известны: графа де Серизи, пэра Франции, стряпчего Дероша, художника Жозефа Бридо. Тусклый анекдот Лоры приобрел вес, обогатился связями с прежними произведениями Бальзака. Кроме того, писатель ввел туда историю. Все эти жизни оказались спаяны друг с другом благодаря важным историческим событиям. Бальзаку сослужило большую службу то обстоятельство, что он родился в 1799 году. Его тесное знакомство с тремя политическими режимами не раз позволяло ему внезапно освещать, словно лучом прожектора, то будущее, то прошлое страны. Услуги, оказанные в трудные времена, оправдывают (как это прекрасно знал Бернар-Франсуа Бальзак) поразительную снисходительность. Отец управителя Моро

спас во время Революции родовое имение графа Сери-зи. Воспоминание об этом позволяет сыну Моро почти безнаказанно обкрадывать графа. Позднее Оскар Юссон примет участие в июльских баррикадных боях 1830 года, а в дальнейшем, воюя в Алжире, он лишится руки. Герой заставляет забыть о лгунишке; романист привлек к своей игре музу истории Клио.

Бальзак посвятил рассказ Лоре: «Должен воздать честь блестящему и скромному уму той, которая дала мне сюжет этой «Сцены»! Ее брат».

В сущности, этот короткий рассказ имел ценность лишь как один из камней воздвигавшегося монумента. Но его можно назвать любопытной, прекрасно отделанной капителью колонны, вдобавок тут заключен кодекс бальзаковской морали: «Труд, честность, скромность». Оскар Юссон несколько поздно узнаёт, что в трех этих словах секрет всякого успеха. В работе Бальзак мог поспорить с кем угодно; на честность у него были свои особые взгляды; скромностью природа его не наделила.

Если в Оскаре Юссоне есть некоторые черты Бальзака-юноши, часто делавшего промахи в доме Лоры де Берни, то в «Альбере Саварюсе» выведен на сцену Бальзак зрелых лет. Тут (так же как и в «Луи Ламбере», в «Лилии долины» и в нескольких новеллах) вымысел тесно связан с личной жизнью автора. Зодчий воздвигал свой храм, не имея иных законов, кроме законов искусства, но порой ему случалось оставить потомкам в дар свое изображение на одном из витражей. Право же, Альбер Саварюс — это сам Бальзак, каким он был в 1842 году, с отчаянием взывавший тогда к Чужестранке: «Среди тысячи мук, порожденных вновь разгоревшимся сражением, сердце мое пронзила мысль: «А что, если она устала!» — и от этой мысли мне стало больно, куда больнее, чем от всех камней, которые бросают в меня... В жизни моей есть иная, чудесная жизнь, но у меня нет иного наперсника, кроме листа бумаги». Нет наперсника? Это ошибка, наперсник есть, и притом самый покорный: создаваемый роман.

«А что, если она устала!..» — вот сюжет «Альбера Саварюса». Некий гениальный и честолюбивый человек после горьких разочарований поселяется в Безансоне, замкнутом городе, который Бальзак благодаря своему чудесному дару проникновения разгадал за несколько ча-

сов, когда приезжал туда для покупки бумаги 24 сентября 1833 года. Портрет Саварюса — это облик самого автора в сорок три года, каким он видел себя тогда:

...у него необычное лицо: черные, кое-где подернутые сединой волосы, как у апостолов Петра и Павла на картинах, ниспадающие густыми блестящими прядями, но жесткие, точно конские; шея белая и круглая, как у женщины; великолепный лоб, прорезанный той мощной складкой, какую оставляют на челе незаурядных людей грандиозные планы, великие мысли и глубокие размышления.

Альбер любит, безумно любит знатную итальянку, герцогиню Аргайоло, урожденную княгиню Содерини. Чтобы создать любимой достойное положение, Альбер хочет добиться триумфа на политическом поприще. Он замечательный адвокат и завоевывает Безансон; он понимает всю сложность обстановки в городе, получает поддержку со стороны главного викария, мудрого старика, другом которого он стал, и, несомненно, восторжествовал бы над соперниками, если б, на свою беду, не внушил чисто головную любовь молодой жительнице Безансона Розали де Ватвиль, заинтересовавшейся тайнами загадочной жизни Альбера Саварюса. Альбер даже не замечает ее, Розали отвергнута, и тогда эта злая, упрямая, скрытная девица мстит ему, перехватывает его письма и подделывает его почерк, чтобы рассорить с ним итальянку, уже ставшую вдовой. Разгневанная красавица вдруг выходит замуж за герцога де Реторе. Саварюс в отчаянии идет в монахи; постригается в монастыре Гранд-Шартрез, в царстве безмолвия. Он слишком устал, у него уже нет желаний, нет воли, он отрекается от всего и отдает себя в руки настоятеля. *Fuge, tace, late*¹. Бальзак любит рисовать внезапные крушения, когда человек вдруг губит всю свою жизнь. Сколько раз в минуты отчаяния он сам желал для себя такого конца!

Роман о Саварюсе — это зашифрованное послание, адресованное Еве Ганской, и его нетрудно расшифровать: «Силы мои иссякают, если вы мне измените, я так или иначе погибну». В письмах к Эвелине Ганской он не скрывает своего духовного родства с героем этого романа. Начало любви разыгрывается в Швейцарии — автор чтит дорогие ему воспоминания. Любовники

¹ Беги, молчи, терпи (лат.).

встречаются в Женеве, но «я не хочу, чтобы княгиня Гандольфини останавливалась в доме Мирабо, на свете найдутся люди, которые вменили бы нам это в преступление», — пишет он Ганской. Еще менее возможно поселить ее у Диодати. Это было бы слишком прозрачно, а ведь до сих пор, стоит ему услышать эти четыре слога — Ди-о-да-ти, у него сильно колотится сердце. Так же как у Бальзака, у Саварюса всегда перед глазами портрет его Чужестранки и вид, где изображен ее замок. Жестокую девицу де Ватвиль, разлучившую любовников, зовут Розали, как и роковую тетушку Ржевусскую. Все в этой книге помогает заклятиям, которыми автор отгоняет от себя черных дьяволов. В романе есть и второй план, и Бальзак обратил на него внимание Ганской:

Я намереваюсь дать в первом томе «Человеческой комедии» важный урок для *мужчин*, не примешивая к нему урока для *женщин*, я собираюсь также показать, как, придавая сначала слишком большое значение жизни в обществе, утомляя в ней и ум и сердце, люди в конце концов приходят к отказу от того, что им казалось некогда смыслом жизни. То будет «Луи Ламбер», однако в другой оболочке.

Наставление годится не только для Альбера Саварюса, но и для Бальзака — ведь он и сам иной раз корит себя за то, что намечает слишком обширную программу жизни. Зачем желать всего? «Моих сил и способностей хватит лишь на то, чтобы быть счастливым; и если мне не удастся возложить на голову венок из роз, то я перестану существовать... Достигнуть цели умирая, как античный гонец! Не быть в силах наслаждаться, когда право быть счастливым наконец приобретено!.. Это было уделом уже стольких людей». Так говорит Альбер Саварюс. И человек, создавший этот роман, вторит ему: «Боюсь, что я буду совсем опустошен, когда ко мне придет счастье».

Это предупреждение Чужестранке, но она, по-видимому, не поняла ни наставления, ни романа.

«Удивляюсь, что вам не понравился «Альбер Саварюс», — печально говорит в письме Бальзак. Правда, Эвелина Ганская могла угадать в княгине Гандольфини некоторые черты графини Гидобони; правда также, что муж (Эмилио Гандольфини) носит то же имя, что и граф Гидобони. По этой ли причине или по другой, но она раскритиковала книгу, столь дорогую автору. Она

говорила, что это «мужской роман». В этом она не ошибалась. Это действительно было произведение встревоженного зодчего, подсчитавшего, что он выполнил лишь половину обширнейшего строительства; человека, знающего, как ему еще много надо сделать, чтобы закончить свои дворцы; человека, который видит, что каждый день уносит «частицу его личной жизни», сокращает самое жизнь; человека, который чувствует, как у него в жилетном кармане все больше сжимается лоскуток шагреновой кожи; творца, который мечтает отбросить свои сверхчеловеческие планы, отдохнуть наконец после тяжких трудов близ любовницы, исполненной материнской заботы о нем, и боится, что, если эта надежда будет отнята, у него уже не хватит больше силы жить.

XXXII

ВСТРЕЧА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Надежда — это память и желание.

Бальзак

У каждого в жизни бывает полоса ожидания. Человек ждет какого-нибудь события, решения; жизнь продолжается; счастье жизни где-то в воздухе. Со времени смерти Венцеслава Ганского Бальзак был воплощенным ожиданием. «Я теперь очень не доверяю жизни и боюсь, что со мной должно что-то случиться», — тревожно писал он своей Еве. Эта северная любовь, которая тлела несколько лет, вдруг разгорелась под ветром надежды. Но неистовый труд изнурил Бальзака. «У меня непрерывно подергиваются веки, и я очень беспокоюсь, так как вижу в этом признак какого-то надвигающегося нервного заболевания», — писал он Ганской. Доктор Наккар, сторонник натуральных методов лечения, еще раз уложил своего пациента в постель на две недели. «Подумайте, лежать две недели, ничего не делая! И это мне, когда я полон жажды деятельности! Приходится утешаться мыслями о нас с вами, строить планы, проекты, «раскидывать карты», как говорят гадалки».

Лежа в постели, он в лихорадочном состоянии пытался вообразить прекрасное будущее. Его стряпчий и подставной покупатель сохраняют для него Жарди; он

все устроит там для Евы. Немного времени, терпения, денег — и получится очаровательный уединенный уголок. «А кроме того, дом в самом Париже, двадцать четыре тысячи франков дохода по государственной ренте — вот прекраснейшая в мире жизнь, так как я буду получать пятнадцать тысяч в Академии; к тому же мое перо, если я даже стану работать только шесть часов в день, всегда будет приносить мне двадцать тысяч франков в год в течение еще десяти лет, и это позволит мне скопить кое-что...» Строитель счастья в царстве миражей! Стряпчий Габо не только ничего не делал, чтобы спасти Жарди, а добивался разрешения продать его, и на этот раз бесповоротно.

Это сущий разор, говорит он, и обязуется найти мне что-нибудь получше за те деньги, которые выручит от продажи... Габо искренне любит меня... Он оберегает мое самолюбие куда больше, чем я сам, но он ужаснейший копуша. Ему очень хотелось бы заплатить кое-какие вопиющие долги, и я плачу эти страшные долги — из тех денег, которые хотел оставить себе на жизнь. А ведь чтобы заработать денег, надо творить, всегда творить. Я уже начинаю бояться, как бы не утратить обычной своей работоспособности.

Но этого он напрасно страшился. Несмотря на разочарования и болезни, продукция его была все так же обильна и достойна его таланта. Повесть «Онорина», которую, по его словам, он написал в три дня (он любил так пококетничать), оказалась новеллой чистой по тону и вместе с тем смелой по сюжету, такой же изящной, такой же очаровательной, как «Покинутая женщина» и «Дочь Евы». Онорина оставила мужа, благороднейшего из мужей, графа Октава де Бован, ради недостойного любовника, который тотчас же ее бросил. Она живет одиноко, пытается зарабатывать на жизнь ремеслом цветочницы, хотя муж только о том и мечтает, чтобы она вернулась к нему. Но у нее физическое отвращение к мужу, и она предпочитает трудную, одинокую жизнь положению царицы светского общества, которое обрекло бы ее терпеть ласки ненавистного человека. Он издали опекает ее и тайком ей помогает, по дорогой цене скупая через магазин искусственные цветы, которые она делает. В анализе любви Октава к непокорной беглянке Онорине сквозят страхи Бальзака, который жаждет близости с Евой Ганской и не знает, вернется ли она когда-нибудь. Он описывает ей (через посредство Октава) свои мучительные ночи:

Разве вы можете видеть, как я усмиряю самые жестокие приступы отчаяния, любуясь миниатюрой, на которой мой взгляд узнает овал ее лица, мысленно целую ее лоб, ее улыбающиеся уста, впиваю аромат ее белой кожи; я смотрю, вглядываюсь, и мне кажется, я ощущаю и могу погладить шелковистые локоны ее черных волос. Разве вы знаете, как я трепещу от надежды, как ломаю руки от отчаяния, как брожу по грязным парижским улицам, чтобы хоть усталостью укротить свое нетерпение?.. Иногда по ночам я боюсь сойти с ума, меня ужасают внезапные переходы от вспышек слабой надежды, рвущейся ввысь, к полному отчаянию, низвергающему меня в такие бездны, глубже которых не найти... За три дня до прибытия Марии-Луизы Наполеон в Компьене в нетерпении катался по брачному ложу... Все великие страсти на один лад. В любви я поэт и император!..

Рассказ написан проникновенно. Однако Бальзак сомневался в успехе: «„Онорина“ сама по себе хороша, беспокоит только сдержанность стиля — пока она беспокоит лишь меня одного, есть люди, которые находят, что это великолепно. Но может быть, это убого!..» — делится он с Ганской своими опасениями. Неудивительно, что Бальзак сомневается в себе, ведь на него так яростно нападают. Критики плохо приняли «Альбера Саварюса»: «Слог тяжелый, неповоротливый... от него отдает усталостью». Появился новый бог романа-фельетона — Эжен Сю. Вся Франция ждет продолжения «Парижских тайн». В журнале «Ревю де Дё Монд» критик заявил, что автор «Луи Ламбера» и «Евгении Гранде» пережил себя. А ведь это было несправедливо до нелепости. Неужели можно сказать о писателе, что он «пережил себя», когда его ум почти одновременно вынашивает столько произведений: конец «Утраченных иллюзий», «Провинциальная муза», «Эстер», или «Торпиль», «Изнанка» современной истории! И все это создается отрывками, наспех, потому что журнал «Мюзе де Фамий» или какая-нибудь газета требовали немедленно представить рукопись, а Бальзаку нужно было в это время мчаться в Ланьи, читать и перечитывать в провинциальной типографии корректуру «Человеческой комедии» — по двести часов в месяц. Ведь как ни был задерган Бальзак, а он по десяти, по одиннадцати раз выправлял текст своих произведений, чего не делали ни Дюма, ни Эжен Сю.

Он жил тогда, словно каменщик, которому пришлось бы строить четыре-пять домов сразу, или как шахматист, играющий десять партий одновременно и все их выигрывающий. Он с легкостью принимается за роман,

прерванный несколько лет назад. Так, например, «Провинциальная муза» долго «доходила на слабом огне» невидимого очага Бальзака. В 1832 году был задуман рассказ «Большая Бретеш». В 1837 году в «Сценах провинциальной жизни» мы находим новеллу «Большая Бретеш, или Три мести», где говорится о живущей в Сансере добродетельной и несчастной супруге карлика, которую любит королевский прокурор и которой два парижанина, доктор Бьяншон и журналист Лусто, желая напугать красавицу, рассказывают три ужасных случая мести обманутых мужей. Тут был использован, хотя и не полностью, бурный поток доверительных сообщений Каролины Марбути; но вместо Лиможа, фигурирующего в «Провинциальной музе», Бальзак описал здесь Сансер, маленький городок, который он знал по рассказам своего друга доктора Эмиля Реньо.

В 1843 году ему пришла мысль по-своему перевернуть роман Бенжамена Констана «Адольф» и показать такую же драму, но с точки зрения женщины; и тогда он опять извлекает из склада своих аксессуаров Каролину Марбути и превращает ее (при помощи примесей и переделок) в «Провинциальную музу». Героиня романа Дина Пьедефер, принадлежащая (как и Каролина Марбути) к протестантской семье, выдана была родителями замуж за богатого и похожего на насекомое уродца Ла Бодрэ. У нее (так же как у Каролины Марбути) литературный салон, где она читает свои стихи местной знати, своим восторженным поклонникам или завистливым соперницам. Так же как и Каролина Марбути, Дина Пьедефер, хотя за ней очень ухаживали, долго оставалась верна своему карлику.

Однажды в Сансер приезжают (как приехал в дом Марбути доктор Дюпюитрен) в связи с предстоящими парламентскими выборами два уроженца Сансера, ставшие в Париже знаменитостями: доктор Орас Бьяншон и фельетонист Этьен Лусто, лентяй и хвастливый болтун. Дина, ослепленная краснбайством Лусто, становится его любовницей и после его отъезда узнает, что беременна. «В характере Дины есть черты «женского донкихотства», что и определяет ее судьбу,— пишет Бардеш.— Она потеряла десять лет жизни, разыгрывая роль странствующего рыцаря в сфере интеллектуальной... И такую же ошибку она совершает в любви...» Она ринулась в Париж, решив жить там с Лусто, и тут

роман становится жестоким. Женщина большой души натолкнулась на человека недостойного, который, призвав на помощь шайку лореток и таких же, как он, шалопаев-приятелей, разыгрывает фарсовую сцену, чтобы избавиться от любовницы. Дина, благородное создание, верит всему, ничего не понимает и отвечает на издевательства чудесной преданностью. Но через шесть лет, когда перед ней открывается вся подлость ее любовника, она отказывается играть роль Элеоноры из романа «Адольф», который внимательно прочла. Вместо того чтобы стонать и плакать, она возвращается к своему насекомообразному мужу, и тот принимает ее вместе с двумя сыновьями от Лусто. Эта книга, полная горького и сильного чувства, показывала (что весьма характерно для Бальзака) неизбежное вырождение всякой любви, не считающейся с законами общества.

Каролина Марбути возмущалась «Провинциальной музой» и со страхом ждала, какую реакцию роман вызовет в Лиможе: там, пожалуй, заподозрят, что и она, Каролина, тайком произвела на свет незаконно рожденных детей. Чего доброго, ее девочки прослывят дочерьми Жюля Сандо! Да еще ее, бежавшую из дому Музу, обвинят в том, что она содержит на мужнины деньги какого-то второстепенного писателя. Но ее опасения не оправдались. В Лиможе мало кто читал книги.

Каролине следовало бы восхититься характером Дидины, как ее называл Лусто, ибо эта мужественная женщина, преодолев горькую неудачу, остается госпожой положения и даже после разрыва великодушно приходит на помощь Лусто, который остается для нее человеком, открывшим ей «жгучее пламя» желания. Но нет, Каролина Марбути сочла нужным написать под псевдонимом Клэр Брюнн роман в свою защиту, назвав его «Ложное положение». Там она нарисовала себя в двух видах: сначала тоскующей провинциалкой, не нашедшей счастья в замужестве; а потом оторвавшейся от своего буржуазного круга парижанкой. Героиня романа Камилла, под именем которой Каролина Марбути живописала себя, — «избранная натура». В Париже эта провинциалка проникает в литературный мир и там знакомится с Ульриком (двойником Бальзака), которого сочинительница не щадит в своем произведении. «Выдающийся, но грубый и до того опьяненный своим поздно пришедшим успехом, что он уж и не знал, как нести это

бремя, он тешил себя мечтами, планами и надеждами, которые стали гигантскими так же, как и его самомнение. Тщеславие в конце концов сделало Ульрика смешным маньяком, порождало у него надуманные потребности... Как человек гениальный, Ульрик шел в ногу со своим веком. Он все оценивал на вес золота, определял с помощью золота, во всем исходил из значения золота. Но он простодушно признавался в этом... оттого у него было много врагов...» Из-за романа «Ложное положение», опубликованного в 1844 году, Каролина Марбути лишилась дружбы всех, кто узнавал себя в ее злобной книге и воспринимал ее выпады как оскорбления. Она больше уж никогда не виделась с Бальзаком. Он даже снял свое посвящение ей рассказа «Гренадьера». Но к благородной Дидине, героине «Провинциальной музыки», читатели до сих пор хранят уважение. Портрет оказался бесконечно выше натуры. Никогда еще Бальзак не проявлял такого мастерства. А все же...

А все же недовольство и глубокая усталость закрались в его душу. Когда-то он писал Ганской: «Мои произведения — вот великие события моей жизни...» Теперь происходит странный поворот. Уже не вся его жизнь посвящена литературному творчеству; ею завладела, твердит он Чужестранке, сердце, потребность встретить чувство столь же горячее, как у него, воспоминания о блаженных минутах: «Я вновь вижу перед собою тропинку на вилле Диодати или камешки на аллее у дома Мирабо, по которой мы прогуливались; мне вспоминается какая-нибудь особая интонация голоса, пожатие руки... когда мы рассматривали гравюры. И многое, многое другое, от чего я сейчас бледнею!..»

И вдруг — взрыв долго сдерживаемой любви: «Боже мой! Когда-нибудь, дорогая, вы узнаете мою детскую, правдивую, искреннюю натуру, мою неисчерпаемую нежность, постоянную сердечную мою привязанность и убедитесь, что я до конца дней своих буду цепляться за вашу юбку. Знаете ли вы, чего я боюсь? Мне страшно наскучить вам, услышать: «Убирайся!», как говорит хозяин собаке, которая всегда ложится у его ног...» Он часами вдыхает аромат духов, исходящий от писем Евы; он работает только для нее. *Una fides*¹.

¹ Единая вера (лат.).

Он умел «убедить других во многом, а самого себя — в чем угодно» и поэтому твердо был уверен, что с 1832 года у него была лишь одна вера, одна любовь и одна надежда. Кто, кроме Евы, его любил? «Если бы вы знали, — пишет он ей, — что представляет собою моя мать! Это чудовище и сущее уродство! Сейчас она убивает мою сестру, после того как убила мою бедную Лорансу и мою бабушку... Я едва не порвал всякие отношения с матерью. Это было просто необходимо. Но я предпочел страдать. Эту рану ничто не может исцелить. Мы думали, что наша мать сошла с ума. Посоветовались с врачом, с которым она дружит уже тридцать три года, и он ответил нам: „Увы! Она не сумасшедшая, она злая!“» В этих яростных обвинениях есть доля правды, большая доля неблагодарности и неутолимая потребность жаловаться. «У меня не было ни матери, ни детства». Он забыл веселые дни жизни в Вильпаризи, шутки «небесного семейства» и преданность бедной старухи.

Госпожа де Берни? Да, она заменила ему мать, она его сформировала, но разве могла она дать ему то, о чем он мечтает, — любовь молодой и прекрасной женщины? Графиня Гидобони-Висконти? «Версаль? Живите спокойно, не тревожьтесь... Версаль уже давно и навсегда проклят. Неблагодарность и легкомыслие — вот история Версаля. Людовику XIV пришла фантазия избрать своей резиденцией Версаль, место холодное и бездушное...» Эти несправедливые слова имели единственной своей целью успокоить ревность Эвелины Ганской. На деле же Бальзак продолжал подписываться «Балли» под своими ласковыми письмами к графине Висконти и даже в качестве высшего доказательства дружбы все еще занимал у нее деньги. Но с любовью к «англичанке» покончено, торжественно заверял он Ганскую. Каролина Марбути? Он ее неизменно отталкивал, когда она пыталась увидеться с ним. «Господин де Бальзак не забыл прелестей госпожи Марбути. Но госпожа Марбути, вероятно, позабыла условия существования несчастных писателей, участь которых — писать для того, чтобы жить», — писал он Каролине.

Нет, никто в мире для него не существует, кроме его ангела, его дорогой милочки, его светозарного цветка. Он называл Эвелину Ганскую «госпожа Скромница»,

потому что она не желала ни славы, ни известности. Но он все-таки заставит ее разделить с ним его славу и почести. Ведь его наверняка выберут во Французскую Академию. Он виделся в библиотеке Арсенала с Шарлем Нодье, весьма влиятельным академиком, и тот сказал ему:

«Дорогой Бальзак, в Академии за вас большинство. Но Академия охотно примет какого-нибудь политического злодея, который в анналах истории будет пригвожден к позорному столбу, Академия выберет даже мошенника, сумевшего благодаря огромному своему богатству увернуться от суда присяжных, но она падает в обморок при мысли о неоплаченном векселе, из-за коего должника могут посадить в тюрьму Клиши. Она безжалостна, бессердечна по отношению к гениальному человеку, если он беден или дела его идут плохо... Итак, постарайтесь приобрести положение путем женитьбы, или докажите, что у вас нет никаких долгов, или купите собственный дом, и вы будете избраны».

А ведь как только меня выберут, я буду назначен членом Комиссии по составлению словаря, эта должность — несменяемая, с окладом в шесть тысяч франков, да еще я буду получать как академик две тысячи франков и, несомненно, буду назначен в Академию надписей и изящной словесности и стану постоянным секретарем.

По своему обыкновению он переводил глаголы из будущего времени в настоящее.

Итак, у меня, помимо политической деятельности, несколько несменяемых, ни от кого не зависящих должностей на четырнадцать тысяч франков. Выигрывайте же свой процесс! Вы выиграете и мой...

Чужестранка со своей стороны слала ему доверительные письма, полные жалоб одинокой женщины, удрученной сложными хлопотами. «Три года ожидания — это смерть», — писала она, и это казалось многообещающим. Не бойтесь, отвечал ей Оноре, «ручаюсь за будущее, ничто не заставит меня измениться, да и вас также. Ну и вот, положимся на милость Божию». Впрочем, два этих раненых голубка весело влачили вдали друг от друга подшибленные крылышки. Бальзак, весьма довольный, обедал у герцогини де Кастри с Виктором Гюго и Гозланом, радуясь пиршеству с участием тонких умов. Госпожа Ганская в Санкт-Петербурге принимала ухаживания господина Балка, любезного, оригинального и образованного старика. Этот перезрелый Адонис возымел некоторые надежды и даже мечтал о браке. Госпожа Ганская ласково успокоила его, дав

ему почувствовать, что союз их невозможен, и постаралась «привести его к Богу». Бальзак признался, что всякий раз, как ему выпадает счастье провести близ нее несколько минут, он становится лучше, набожнее. Ловкая тактика, которую применял в «Опасных связях» Вальмон, осаждая благочестивых дам. Госпожа Ганская указала ему путь к мистицизму и рассказала всю историю Бальзаку. Он испугался. «Боже мой! Не смею сказать вам, как я страдаю из-за того, что вы дарите кому-то счастье, даже этому бедному старику, который вам пишет...»

С поразительной неосторожностью писатель, который так хорошо знал и мужчин, и женщин, и всякие неожиданности в любви, совершил безрассудный поступок: написал Листу, уезжавшему в Санкт-Петербург, где этот знаменитый виртуоз должен был дать концерт, рекомендательное письмо к своей возлюбленной.

Дорогой Франц... если хотите оказать мне дружескую услугу, проведите вечер у той особы, которой передадите от моего имени эту записку. Сыграйте что-нибудь для маленького ангела, мадемуазель Анны Ганской, которую вы, конечно, очаруете...

Вся Европа знала, какую власть над женскими сердцами давали Листу его гениальное дарование, его красота и рассказы о его победах. Госпожа Ганская, которая вела дневник, признается в нем, что визит прославленного музыканта взволновал ее. Она присутствовала вместе с дочерью на первом концерте и была опьянена. Лист несколько раз навещал ее, а перед отъездом в Москву простился с нею так проникновенно, что она растрогалась. Повинуясь пылкому темпераменту, свойственному Ржевусским, толкавшему их на риск, верная своему культу знаменитостей и стремлению проповедовать, она написала Листу письмо. Переписка с ним могла бы завести ее далеко, но этот музыкант и донжуан вернулся из Москвы, по уши влюбленный в некую молодую женщину, совершившую там ради него множество безумств. Раздосадованная госпожа Ганская напомнила ему уроки прошлого, заговорила о его бегстве с Мари д'Агу и их разрыве. «Не беспокойтесь, — важно ответил Лист. — Я стал рассудительнее. Если мне вздумается похитить чью-нибудь жену, то я прихвачу с ней и мужа». Лист готов был сочетать свое московское приключение с петербургской

интрижкой. Он принялся настойчиво ухаживать за Эвелиной, и она почувствовала, что не очень уверена в себе. В дневнике она писала:

Лист среднего роста... У него прямой нос красивого рисунка, но лучше всего у него рот — в нежных его очертаниях есть что-то удивительно милое, я бы сказала даже — ангельское. Он натура необыкновенная, и мне интересно изучать его. В нем много возвышенного, но есть у него и черты, достойные сожаления, ведь человеческая душа — отражение природы во всем ее величии, но увы, и в ужасах ее. Ему доступны возвышенные порывы, но тут же его подстерегают пропасти, черные бездны... и впереди у него еще не одно крушение, в которое он вовлечет и других... В общении с Листом есть весьма опасная сторона. Он украшает то, что достойно осуждения, и, когда он ведет речи по сути своей ужасающие, безнравственные, люди невольно улыбаются и думают, что такой гениальный художник имеет право совершать безрассудства... и его извиняют, ему даже рукоплещут, любят его...

Очень скоро эти жеманные любезности сменились настоящим любовным поединком. Ева старалась держать Листа на почтительном расстоянии, он упрекал ее в чопорности. Когда настало время уезжать из России, он пришел проститься. «Он взял мою руку, поцеловал ее и долго не выпускал. Я тихонько приняла руку, сказав ему: "Поверьте мне, Лист, лучше вам больше не приходите. Пусть это будет наша последняя встреча"». Поведение весьма благоразумное, но Бальзак все же пришел в ужас и теперь уж, если и говорил своей любимой о Листе, то только как о «бедном Листе», которому госпожа д'Агу после десятилетней связи и рождения троих детей предпочла Эмиля де Жирардена. «Будь осторожна в письме к Листу, если будешь писать ему, ты и представить себе не можешь, как он упал во мнении общества...» Великий исследователь любви порою проявлял поразительную наивность.

Ничто так не привязывает, как ревность. Более чем когда-либо Бальзаку хотелось поехать в Санкт-Петербург, прежде всего для того, чтобы увидеться со своей Евой, которую он опять страстно желал, зная, что теперь она свободна и доступна для него; а кроме того, он собирался помочь ей выиграть судебный процесс. Бальзак знал, что он знаменит в России, считал себя хорошим адвокатом и вообразил, будто его ходатайство перед царем может иметь решающее значение. Эвелина Ганская совсем не желала, чтобы он хлопотал по ее делу. «Сидите себе спокойно, никуда не ездите и предоставьте все делать мне самой». Ганская, гораздо больше

полька, чем русская, отнюдь не была в восторге от тирании императора и в тайном своем дневнике писала об «уклончивом взгляде раба».

В понедельник 16 мая 1843 года Бальзаку исполнилось сорок четыре года. Он писал Ганской:

О пресвятой Оноре, ты, коему посвящена в Париже на редкость безобразная улица, охраняй меня как можно лучше в нынешнем году! Постарайся, чтобы не взорвался корабль.. Сделай так, чтобы пред лицом мэра или французского консула я распростился со званием холостяка, ибо ты знаешь, что в душе я женат вот скоро уже одиннадцать лет.

Он крайне нуждался в опеке своего небесного покровителя. Чрезмерная работа убивала его. Ему приходилось ездить в Ланьи, жить там на бивуаке в типографии, спать на походной койке, потом, перед поездкой в Россию, срочно выполнять свои договоры с издательствами и зарабатывать деньги на дорогу.

Я пью теперь только по три чашки черного кофе в день, но колики в желудке все продолжают, и жилы набухают, и цвет лица стал землистым! О, как же я хорошо отдохну, как буду ходить дурак дураком, ни о чем не думая, превращусь в петербургского кокни * и ровно ничего не буду делать четыре блаженных месяца: июль, август, сентябрь и октябрь! Четыре месяца без газет, без книг, без корректурных оттисков — словом, никаких трудов, кроме тех, которые вы мне приберегли! Но я хотел бы пожить тихонько, поменьше видеть людей, быть где-нибудь возле вас, не ведать беспокойств и существовать, как устрица...

В июне 1843 года он закончил третью часть «Утраченных иллюзий» — «Страдания изобретателя». «Мне надо показать великолепный контраст между жизнью Давида Сешара в провинции с его женой Евой Шардон и существованием Люсьена, который в это время совершал в Париже ошибку за ошибкой. Тут несчастья, постигшие добродетельных людей, противопоставлены несчастьям порока». Работа необыкновенно трудная. Бальзак надеялся заинтересовать читателя судебным поединком между Давидом Сешаром, изобретателем нового способа изготовления бумаги, и ретроградами братьями Куэнте, богатыми типографами. Писатель не был уверен, что ему это удалось. Красота чистых душ, воплощенная в двух провинциалах, бледнела перед картиною Парижа, нарисованной во второй части книги. Недаром Бальзак пятнадцать-шестнадцать раз выправлял корректурные оттиски третьей части романа «Давид Сешар», позднее названной «Ева и Давид», а в оконча-

тельном варианте получившей название «Страдания изобретателя».

Продолжение — «Торпиль» — было картиной ужасающей (фигура влюбленного Нусингена, обезумевшего от страсти обманутого старика), но ведь нужно было показать «подлинный Париж», и к тому же, как всегда у Бальзака, ужасное имело свои комические стороны (смешное ухаживание тучного банкира, который глотает возбуждающие средства и млеет перед Эстер) и черты возвышенные (внезапное пробуждение у старика Нусингена юношеских иллюзий). «Любовь тогда, как позабытое зернышко, пустила ростки, из которых солнце исторгает поздние великолепные цветы». Бальзак даже не мог теперь жаловаться на усталость: «Я превратился в машину для выделки фраз и как будто стал железным». Наборщики «в этом проклятом Ланьи» едва были живы после правок Бальзака, но автор держался твердо, и к июлю все было закончено. Однако две газеты, опубликовавшие фельетонами — одна «Давида Сешара», а другая «Торпиль», были на краю банкротства, и Бальзак рисковал не получить гонорара. «Жить своим пером — это чудовищный и просто безумный замысел», — жаловался Чужестранке Бальзак. Наконец благодаря заботливому вмешательству стряпчего Гаво он добыл деньги на поездку. Пришлось идти в русское посольство просить визу. Его принял секретарь посольства Виктор Балабин. Вот что записано в «Дневнике Балабина»:

«Пригласите сюда», — сказал я служителю. Тотчас передо мной предстал низенький, толстый, жирный человек, по лицу пекарь, грацией сапожник, шириной в плечах бочар, манерами приказчик, одет, как трактирщик. Не угодно ли! У него ни гроша, и поэтому он едет в Россию; он едет в Россию, значит, у него ни гроша...

Сент-Бёв, всегда несправедливый, когда речь шла о Бальзаке, писал Жюсту Оливье:

Бальзак разорился, и больше чем разорился — он уехал в Санкт-Петербург, сообщив через газеты, что едет туда только для поправленья здоровья и решил ничего не писать о России. Гостеприимством этой страны столько раз злоупотребляли, что он, вероятно, рассчитывает с помощью такого обещания добиться благосклонного приема и маленьких милостей со стороны повелителя. Но разве кто-нибудь верит теперь обещаниям этого романиста?..

Русский поверенный в делах в Париже П. Д. Киселев информировал свое правительство:

Так как этот писатель всегда в крайности, а сейчас нуждается еще больше, чем обычно, то весьма возможно, что целью его поездки является какая-нибудь литературная спекуляция... В таком случае, может быть, стоило бы пойти навстречу денежным затруднениям господина де Бальзака, чтобы прибегнуть к перу этого писателя, который еще пользуется здесь, да и во всей Европе, популярностью, и предложить ему написать опровержение клеветнической книги господина де Кюстина.

Но это был лишь совет Киселева, никто не приступал к Бальзаку с таким предложением. Он приехал в Санкт-Петербург 17(29) июля 1843 года. В тетради, где Ева вела дневник, он записал:

Я приехал 17 июля (по польскому стилю) и около полудня уже имел счастье видеть и приветствовать свою дорогую графиню Еву в доме Кутайсова на Большой Миллионной, где она живет. Я не видел ее со времени свидания в Вене, но нашел, что она так же прелестна и молода, как тогда. Семь лет разлуки она провела в своей пустыне, среди хлебов, а я — в обширной парижской пустыне, среди чужих людей. Она приняла меня как старого друга, и я вижу, какими были несчастными, холодными, унылыми все те часы, которые я провел вдали от нее. С 1833 по 1843 год протекло десять лет, в течение которых мои чувства к ней вопреки общему закону возросли от всех горестей разлуки и перенесенных разочарований. Нельзя изменить ни свое прошлое, ни свои привязанности.

Для приличия он помещался не в доме Кутайсова, где жила его любимая, а в доме Титрова. Ему там плохо спалось из-за клопов. Что за важность! Он вновь встретился со своей Евой, наконец готовой любить его без всяких оговорок. Вернулись счастливые дни, пережитые в Женеве и в Вене, даже более счастливые, так как само положение Ганской, овдовевшей, свободной женщины, благоприятствовало интимной и пламенной близости. Судебный процесс, казалось, шел хорошо, и теперь она уже не трепетала за свои земельные владения. Записки, которые приносили от Бальзака в дом Кутайсова, исполнены нежности и свидетельствуют о его счастье. «Дорогая кисонька... Обожаемый мой волчишка... Волчок тысячу раз целует своего волчишку... Буду у тебя через час...» Близость любимой так бодрит его, что сейчас он мог бы писать и не подхлестывая себя крепким кофе!

Он приходил к Ганской каждодневно около полудня. Никто на свете его больше не интересовал. Однако же знаменитый французский писатель вызывал любопытство. Княгиня Разумовская написала Эвелине из Петергофа, что узнала от императора о приезде «человека,

который лучше всех понял и обрисовал женское сердце». Другая знакомая задавалась в письме вопросом: «Сумеют ли у нас оценить и принять знаменитого писателя? Дай Бог, чтобы он вынес благоприятное мнение о России». Все дамы умоляли Ганскую привезти к ним ее великого человека. Граф Бенкендорф распорядился пригласить его на парад в Красное Село. Там он видел царя в пяти шагах от себя. «Все, что говорят и пишут о красоте императора, правда: во всей Европе не сыщешь... мужчины, который мог бы сравниться с ним». На параде Бальзак получил солнечный удар — и настоящий, и метафорический.

Через неделю после приезда Бальзака жена канцлера Нессельроде написала своему сыну: «Бальзак осуждает Кюстина, это в порядке вещей, но не надо верить в его искренность». В русской газете «Северная пчела» напечатано было: «Россия знает себе цену и очень мало заботится о мнении иностранцев». Короче говоря, власти ничего не требовали от Бальзака, да и сам он больше не собирался опровергать Кюстина. Он не добивался в Санкт-Петербурге ни казенных субсидий, ни почестей, тешивших его тщеславие. Для него было таким счастьем видеть Эвелину, вести с ней бесконечные разговоры за чайным столом, где шумел самовар, этот «нелепый слон», или у камина, перед которым лежал коврик, стояли экран в стиле Людовика XIV и кресло, где, раскинувшись, отдыхала дорогая, смотреть на «глянцевый плющ» — листочек плюща он увез с собою, считая это растение символом их судьбы: «Где привяжусь, там и умру». В гостиной были козетка с двумя валиками и голубой диван, такой удобный для *fag niente*¹; на этом диване он ждал, когда же скрипнет дверь и зашуршит ее платье — звуки, от которых он вздрагивал всем телом. А как ему запомнилось то платье, что было на ней в первый день, — синее, с желтой отделкой!

Позднее Анна Мнишек вспоминала в письме к матери, как Бальзак читал вслух в их гостиной «Дочь Евы» — изящный роман, где он показал, что опасная мысль, неотвязно преследующая мужчину, побуждает его к некоему замыслу и к действию, а у женщины она принимает форму любовной мечты. Мари де Ванденес,

¹ Отдых, безделье (ит.).

жена Феликса де Ванденеса (героя «Лилии долины»), влюбляется до безумия в талантливого и очень некрасивого писателя Рауля Натана. Но Феликс, испытавший на себе в юности влияние Анриетты де Морсоф, женщины прекрасной души, оказывается прозорливым мужем и предотвращает назревавшую драму. Обе Ганские, и мать и дочь, были очарованы этой превосходной повестью, трогательной и смелой, обе одинаково восхищались Волшебником и его чудесными рассказами. Бальзак вновь завоевал свою Эвелину. Незадолго перед их встречей она прочла переписку Гёте с Беттиной Brentano (вышедшей замуж за Иоахима фон Арнима). Восторженная девица, писавшая к знаменитому поэту, с которым она не была знакома, напомнила госпоже Ганской, как она сама, молодая романтическая женщина, когда-то завязала переписку с Бальзаком. Эта головная любовь даже вдохновила ее на новеллу, которую она сожгла, но ее содержание рассказала Бальзаку, и тот пожелал прочесть письма Беттины. «Дайте мне, пожалуйста, первый том книги «Гёте и Беттина». А прочитав его, написал суровый отзыв. «Эта книга для добрых, а не для злых», — указывает в своем предисловии госпожа Арним, иначе говоря: «Позор тому, кто дурно об этом подумает». Бальзак оказался в лагере «злых». Почему? Потому что «это выходит за пределы литературы и относится к области фармацевтики».

В самом деле, чтобы изображение любви (я разумею *литературное* изображение) сделалось произведением, и к тому же произведением возвышенным (ибо в этом случае допустимо лишь возвышенное изображение), любовь, повествующая о себе, должна быть совершенной, она должна выступать в своей тройственной форме, захватывая мозг, сердце и тело; она должна быть одновременно духовной и чувственной, и изображать ее следует умно и поэтично...

Беттина (говорит Бальзак) не любит Гёте; для нее он лишь предлог для писем; она вышивает ему теплые жилеты, домашние туфли. «Я надеялся, что попытки одеть Гёте приведут... Но нет! Жилеты, так же как и проза, оказались малозажигательными...» Таким образом, внушает Бальзак Эвелине, настоящая и прекрасная любовь только у нас с вами, потому что мы любим и душой и телом. Но, высмеивая Гёте и Беттину, он все-таки запомнил сюжет, который попыталась использовать его умная возлюбленная, и позднее вернулся к нему.

Ваша новелла так мила, что, если вы хотите доставить мне огромное удовольствие, напишите ее еще раз и пришлите мне. Я ее выправлю и опубликую под своим именем. Вы, таким образом, не станете «синим чулком» и потешите свое авторское самолюбие, видя то, что я сохранил из вашего занимательного и прелестного рассказа.

Надо сперва описать провинциальное семейство, в котором среди грубой обыденности выросла восторженная, романтическая девица, а затем с помощью приема переписки *перейти* к характеристике поэта, проживающего в Париже. Приятель поэта, который будет продолжать вместо него переписку, должен быть человеком умным, но одним из тех, кто становится только спутником знаменитости. Может получиться любопытная картина, изображающая этих услужливых поклонников, которые добывают для своих кумиров похвальные отзывы в газетах, исполняют всякие их поручения и т. д. Развязка должна быть в пользу этого молодого человека — надо нарисовать поражение «великого» поэта и показать мании и недостатки большой души, пугающей мелкие души. Сделайте это, вы мне окажете помощь. Благодаря вам я получу несколько тысячефранковых билетов. А какая слава!..

Из этого сотрудничества в скором времени (в 1844 году) получился роман «Модеста Миньон», последняя «Сцена частной жизни». «Это борьба между поэзией и житейской действительностью, между иллюзиями и обществом; это последнее наставление перед тем, как перейти к сценам зрелой поры...» Желание одержать верх над другим писателем нередко вдохновляло Бальзака. «Лилия долины» была написана в противовес роману Сент-Бёва «Сладострастие», «Провинциальная муза» — в противовес «Адольфу». Бальзак считал, что в умении жить и любить он превосходит Гёте: ведь вместо того чтобы принимать с олимпийским самодовольством поклонение юной девушки, он, Бальзак, постигал радости любви ценою страданий. Прометей вдохнул огонь в убогие наброски Ганской, и они ожили. Прототипами Модесты Миньон стала сама Эвелина в девическую пору своей жизни и отчасти ее кузина Каллиста Ржевусская.

Свою героиню он наделяет чертами Евы, говорит, что «почти мистической поэзии, сияющей на ее челе, противоречило сладострастное выражение рта». Отец Модесты Миньон называет ее «моя мудрая крошка» — прозвище, которое граф Ржевусский дал своей дочери Эвелине. Модеста Миньон, как некогда Эвелина Ганская, хочет быть подругой художника, поэта. Она пишет Каналису, поэту и государственному деятелю (не Ламартин ли это?), как Эвелина писала Бальзаку. Пись-

ма ее несколько педантичны, как и письма Эвелины. Замысел романа принадлежит Ганской, и это ослабило бальзаковскую силу, драма местами обращается в салонную комедию. Но, как говорит Ален, теперь Бальзак уже не мог плохо написать роман, и фигура Каналиса столь же реальна, как и образ д'Артеза; Жан Бутша, Тайнственный карлик — клерк нотариуса, оберегающий Модесту, — похож на Тадеуша, родственника Эвелины Ганской, всегда окружавшего ее преданностью и заботами. Фоном, на котором разыгрывается действие, является Гавр, в котором, как и в Ангулеме, есть «верхний» и «нижний» город. Все использовано, и все преобразовано.

Госпожу Ганскую обидел разговор между Модестой Миньон и ее отцом, в котором тот упрекает дочь за ее переписку с незнакомым человеком. «Как же твой ум и здравый смысл не подсказали тебе за недостатком стыдливости, что, поступая таким образом, ты бросаешься на шею мужчине? Неужели у моей Модесты, у моей единственной дочери, нет гордости, нет чувства достоинства?» Ева усмотрела в этих упреках критику ее собственного поведения. Бальзак защищался искусно: романист должен перевоплощаться во всех своих героев, понимать и чувства отца, и чувства дочери. Но это были просто ссоры влюбленных. Ганская сохранила чудесные воспоминания о приезде писателя в Россию. В «заветном дневнике» она писала:

Как сладостны, как быстролетны те минуты нашей жизни, когда волны радости затопляют нас, когда душа ширится и отражает чистую синеву неба, сияющего бессмертной молодостью! Но как долго тянулись годы, предшествовавшие этим мгновениям, и какими тяжкими становятся часы, следующие за ними, какой острой болью пронизывают они сердце!.. Кажется, приснился тебе дивный сон, а меж тем это была жизнь, чудесная, счастливая, полная жизнь, райское блаженство, ибо сердце, свободное от пошлой корысти, чувствовало, как его мягко убаюкивают где-то высоко, в самых чистых сферах эфира, и ему так хорошо, так спокойно, словно в невинные дни детства... Восторги, очарование, подлинное счастье, преклонение перед идеалом, радости чистые, радости наивные, внутренние голоса, волшебные воспоминания, как эхо пробуждающиеся в душе, взволнованные, трепетные звуки любимого голоса, утешьте меня в одиночестве и укрепите мою надежду...

Она удостоила признать, что ее возлюбленный — один из самых великих людей всех времен. А он на обратном пути в Париж — через Берлин и Франкфурт — все вспоминал о санкт-петербургских вечерах.

«В душах, на редкость нежных и страстных, царит культ воспоминаний, и воспоминание о милых сердцу чертах всегда со мной, оно живет во мне, оно просится на уста...» В разлуке какая-то вялость овладела его умом, «в сердце закралась тоска», стало «трудно жить». По приезде в Париж он почувствовал себя так плохо, что обратился за советом к доктору Наккару, и тот по обыкновению поставил диагноз, что у Бальзака воспаление мозга. А это, скорее, была «грусть о милых сердцу чертах», думал Бальзак.

Я был как оглохший Бетховен, как ослепший Рафаэль, как Наполеон без солдат при Березине; я оказался отторженным от своей среды, от своей жизни, от сладостных привычек сердца и ума. Ни в Вене, ни в Женеве, ни в Невшателе не было этого постоянного излияния чувств, этого долгого обожания, часов задушевной беседы...

Из своего безмятежного пребывания в России он вынес радостную уверенность, что вся его жизнь могла бы стать такой же приятной и полной очаровательных чувственных радостей. В газетах сообщалось, что готовятся преследования католиков на Украине. Хоть бы Эвелина поскорее подписала любовную сделку, закончила судебную тяжбу и приехала к нему!

Разумеется, в Париже продолжали болтать о том, как царь щедро заплатил Бальзаку за то, чтобы он ответил на книгу «этого чертова французского маркиза». В письме к Ганской от 7 ноября 1843 года мы читаем: «Прошел слух, чрезвычайно для меня лестный, что мое перо оказалось необходимым русскому императору и что я привез с собой богатые сокровища в качестве платы за эту услугу. Первому же человеку, который сказал мне это, я ответил, что, как видно, люди не знают ни вашего великого царя, ни меня». А немного позднее (31 января 1844 года) он пишет Ганской: «Говорят, что я отказался от огромной суммы, предложенной мне за то, чтобы я написал некое опровержение... Вот глупость! Ваш государь слишком умен, чтобы не знать, что купленное перо не имеет ни малейшего авторитета... Я, понятно, и не думаю писать ни за, ни против России. Да разве в мои годы человек, чуждый всяких политических взглядов, станет создавать такие прецеденты?»

В Париже его ждала Луиза де Бреньоль, вышивая диванную подушку, предназначенную ему в подарок.

На что она надеялась? Эта служанка-госпожа жила в добром согласии с «небесным семейством», переносила от одних его членов к другим взаимные упреки и обостряла и без того уже напряженные отношения. Больше, чем своим родным, Бальзак уделял внимания Анриетте Борель, так называемой Лиретте. Бывшая гувернантка Анны Ганской, протестантка, обратившаяся в католичество, хотела поступить в монастырь во Франции. Так как она уже перешагнула предельный возраст, для этого требовалось специальное разрешение архиепископа Парижского. Бальзак взял на себя необходимые хлопоты.

А как с Жарди? На Жарди еще не нашлось покупателя. Бальзаку снова улыбнулась мысль благоустроить дом и участок для своей любимой. Несмотря на коварную глину, Жарди имело свои достоинства. По железной дороге можно было за четверть часа доехать до Шоссе д'Антен. Когда-нибудь Жарди стало бы давать молоко, масло, фрукты. И вдобавок ко всему оно позволило бы Бальзаку говорить академикам: «Видите, у меня есть недвижимое имущество, я могу быть избранным». Ведь он опять стал делать визиты академикам и объяснял это Эвелине Ганской следующим образом:

Я стараюсь только для того, чтобы знали, что я хочу быть избранным,— это будет праздник, который я держу в запасе для моей Евы, для моего волчонка. Я нахожусь вне стен Академии, зато стою во главе литературы, которую туда не допускают, и, право, мне приятнее быть такого рода Цезарем, чем сороковым бессмертным. Да и добиваться подобной чести я не стану раньше 1845 года...

Его друг, Шарль Нодье, умирал.

Он мне сказал: «Ах, друг мой, вы просили меня отдать за вас свой голос, а я отдаю вам свое место. Смерть подбирается ко мне...»

Другие академики по-прежнему выставляли нелепые возражения, указывали на его долги, как будто богатство наделяло писателей талантом.

И вот я обдумал, какое письмо послать каждому из четырех академиков, у которых я побывал. Заниматься прочими тридцатью шестью трупами глупо с моей стороны, мое дело закончить монумент, воздвигаемый мной, а не гоняться за голосами! Вчера я сказал Минье: «Я предпочитаю написать книгу, чем провалиться на выборах! Мое решение принято. Я не хочу попасть в Академию благодаря богатству. Мнение, которое царит в Академии на этот счет, я считаю оскорбительным, в особенности с тех пор, как его

распространяют и среди публики. Когда я разбогатею — а я этого добьюсь сам по себе, — я ни за что не выставлю своей кандидатуры!»

Он написал четыре письма своим сторонникам: Виктору Гюго, Шарлю Нодье, Дюпати и Понжервилю; письма были исполнены гордости, чувства собственного достоинства. Он вычеркнул слово «Академия» из своей памяти на несколько месяцев. И тут же купил себе (заплатив очень дорого) старинный ларь, принадлежавший, по заверениям антиквара, Марии Медичи. Парижская жизнь пошла своим чередом. Но петербургские вечера были чудесной интерлюдией.

XXXIII

СИМФОНИЯ ЛЮБВИ

Если художник, на свою беду, полон страсти, которую хочет выразить, ему не удастся передать ее, ибо он сам — воплощение страсти, а не образ ее.

Бальзак

Он предвидел, что по возвращении ему придется вести тяжелую борьбу. Нравы в «литературной республике» все больше проникались коммерческим духом. Писатели жили главным образом на то, что печатали свои романы в газетах фельетонами. Однако самая разбивка на фельетоны не соответствовала творческой манере Бальзака, его длинным вступлениям, описаниям, анализу. С тех пор как вознеслись под небеса Дюма и Эжен Сю, издатели газет уже не считали Бальзака необходимым для них человеком. Но, как пишет Рене Гиз, «свергнутый король» еще видит перед собою возможность «отвоевать свой скипетр». Бертен, издатель солидной газеты «Журналь де Деба», опубликовавшей «Парижские тайны», подписал договор с Бальзаком на два его романа — «Модеста Миньон» и «Мелкие буржуа». Это блестящая победа над соперниками. Ведь чтобы впервые появиться на страницах «Деба», да еще в тот момент, когда его недруги считают, что Бальзак «выдохся», он должен создать шедевр. И какая радость, что сюжетом для этого «победоносного романа» он обязан своей

Еве! «Модесту Миньон» начали печатать в «Дсба» с 4 апреля 1844 года. Роман был посвящен Чужестранке, и о ней в посвящении говорилось так: «Дочь порабощенной земли, ангел по чистоте любви, демон по безмерности фантазии, младенец по наивности веры... мужчина по силе ума, женщина по чуткости сердца... и поэт по полету твоей мечты...» и так далее. Тотчас же свирепый и плохо осведомленный Сент-Бёв стал утверждать, что эта Чужестранка не кто иная, как княгиня Бельджойозо, а само посвящение возмутило его: «Виданное ли дело — такая галиматья! Разве не бичует сам себя писатель подобными смехотворными нелепостями? И как могла уважающая себя газета оказаться столь уступчивой, чтобы с такой готовностью предоставить к его услугам свои столбцы?..»

Надо признаться, что посвящение весьма высокопарное. Но когда речь заходит об Эвелине Ганской, Бальзак не может сдерживать поток лиризма. Воспоминания, которые он привез из России, воспаляют его. Впервые он свободно наслаждался близостью с этой женщиной, подходившей ему по темпераменту. Он уверял Ганскую: «Я люблю так, как любил в 1819 году, люблю в первый и единственный раз в жизни...» Ганская прислала ему лоскуток от черного платья, которое она носила при нем. «Я плакал как дурак, думая о том, что буду вытирать свое перо тканью, которая сколько-то времени считала биения сердца, самого совершенного в мире, и которая облекала... Нет, надо очень любить, чтобы осмелиться на это. От такой мысли будет трепетать душа, всякий раз как я стану пользоваться вашим подарком...» Это кажется наивным? Но Бальзак действительно наивен, когда он любит; в этом его сила и его очарование. Он пьянеет от вина собственной риторики. Что это? Только игра? Может быть, но при игре в безумную любовь игрок сам попадает в ловушку. Бальзак — фетишист, на столе у него миниатюрный портрет кисти Дафинжера, на стене пейзаж, где изображена Верховня; на безымянном пальце левой руки он носит перстень с гиацинтом и обручальное кольцо.

Лишний раз с восторгом, разгоревшимся после петербургских ночей, он затягивает акафист своей Еве: «Вы маяк, вы счастливая звезда... Вы дарите утехи любви и честь... Пресытиться вами невозможно...» Но пусть она не тревожится, его верность непоколебима:

«Что касается бенгали, будьте спокойны, он проявляет похвальное благоразумие... Птицам тоже знакомо чувство признательности. Вы еще не знаете, что говорится в естественной истории об этом обитателе Индии. Он поет только для одной розы...» Это благоразумие ожидания. «О добрая и милая кисонька! Знает ли она, что стоило начать это письмо, как в сердце бенгали пробудились сладостные воспоминания о прошлом. А моя дорогая бедняжка, волнуется ли и она также?»

Иногда он жалуется на томление, в котором его держат целые ночи напролет страстные мечты, мешающие ему работать. Ему трудно справиться с начатыми произведениями. «Модеста Миньон» (единственный роман, который писался быстро, потому, что сюжет был дан самой Ганской) не имела успеха, появившись в фельетонах. В ней было слишком мало событий! Подписчики «Деба» приняли ее холодно, и газета, напечатав ее, тотчас начала публиковать «Графа Монте-Кристо» Александра Дюма. Бальзак писал Ганской: «По моему убеждению, я создал шедевр, это верно для меня и для вас, а какое значение имеет все остальное». Но «Мелкие буржуа», корабль первостатейный, с экипажем в двадцать пять или в тридцать человек, сидит на мели. Даже кофе больше не может придать бодрости писателю — кофе для него стал теперь как вода. Роман «Крестьяне», начатый шесть лет назад по просьбе (еще более ранней) покойного Ганского, роман, который первоначально должен был называться «Крупный землевладелец» и который двадцать раз был запродан, выкуплен, брошен, оказался работой огромной, неблагодарной и трудной. В первом варианте крупный помещик, маркиз де Гранлье, принадлежал к ультрамонархистам, составлявшим оппозицию группе либеральных буржуа. Бальзак отложил этот набросок, намереваясь позднее вернуться к нему и придать ему совсем иную форму. Но прежде всего нужно было закончить «Блеск и нищету куртизанок».

Как известно, сюжетом третьей части «Утраченных иллюзий» являлись страдания Давида Сешара, подобные мучениям Паллисси, но в наших глазах важнейшим эпизодом романа стала встреча на большой дороге Люсьена де Рюбампре, доведенного до отчаяния своим провалом в Париже и уже готового наложить на себя руки, с путешествующим духовным лицом, каноником

Карлосом Эррера, под именем которого скрывался не кто иной, как беглый каторжник Вотрен. В душе мнимого аббата, пораженного красотой Люсьена, вспыхивает неистовая любовь к юноше, и он решает добиться для него блестящей победы над Парижем. Но для этого надо, чтобы Люсьен понял подоплеку жизни и перестал вести себя как ребенок. «Стоило вам предоставить Корали господину Камюзо, стоило вам не выставлять напоказ вашу связь с нею, и вы женились бы на госпоже де Баржетон, были бы префектом Ангулема и маркизом де Рюбампре», — цинично говорит Вотрен.

«Блеск и нищета куртизанок» начинается темой реванша Люсьена. Этот роман-река создавался и будет создаваться в промежуток времени от 1838 до 1847 года; одна за другой написаны были следующие части: «Как любят эти девушки» (сюда включена была ранее написанная «Торпиль»), «Во что любовь обходится старикам», «Куда приводят дурные пути» (раньше эта часть называлась «Преступное обучение») и «Последнее воплощение Вотрена». Все вместе они составляют удивительную смесь романтических тем, мелодраматических нелепостей и верных наблюдений. В романтическом свете нарисована куртизанка, которая очистилась любовью, а затем во имя любви бросилась в бездну порока; в романтическом свете показано сатанинское влияние Вотрена; романтически изображена двусмысленная любовь каторжника к Люсьену; романтична задумчивость Вотрена, когда он проходит мимо дома, где жил Рюбампре; мелодраматична сама идея союза одного из виднейших вельмож королевства (герцога де Гранлье) с подозрительным выскочкой; мелодраматичен поединок каторжника Вотрена и полицейского Корантена; мелодраматична ненужная смерть полицейского Контансона; реалистична мольеровская комедия старого банкира Нусингена, ослепленного вожделением; реалистичны сцены звериного отчаяния Леонтины де Серизи, когда она узнает о смерти Люсьена; реалистично нарисованы аристократия каторги и двор тюрьмы Консьержери. «Я пишу в чистейшей манере Эжена Сю», — признается Бальзак госпоже Ганской. И несомненно, маршал романа-фельетона намеревался померяться силами с «генералами Дюма и Сю»; но главное — старея, он дает волю своей склонности к необычным перипетиям, к тайнам, к парижским сказкам «Ты-

сячи и одной ночи», к мрачным отсветам «Феррагуса». Однако основательность декораций, в которых развертывается действие его романа, суровое осуждение прогнившего общества ставят Бальзака гораздо выше его соперников; он ясно видел узлы, связывающие (через проституцию) темных авантюристов с гордой знатью; он умел «так ударить бичом, что слетали все покровы и все лохмотья, прикрывающие гнойные язвы». Но в романе «Блеск и нищета куртизанок» он обрушил на Люсьена такие катастрофы, которые были не под силу этому слабому существу и которые волнуют нас гораздо меньше, чем его первые и столь человеческие беды.

«Блеск и нищета куртизанок» позволили Бальзаку воплотить двойственность своей природы в двух персонажах романа: Люсьен де Рюбампре, олицетворявший женственные черты в характере автора, был «один из тех неполноценных талантов, которые способны желать, вынашивать замыслы, но лишены силы воли и не могут осуществлять их»; второй персонаж, Вотрен, «олицетворяющий мужское начало, дополняет Люсьена. Вдвоем они, Люсьен и Эррера, образуют политическую силу». В письме, которое несчастный юноша пишет мнимому аббату перед тем, как повеситься в тюремной камере, он с полной ясностью сознания описывает их союз: «Есть потомство Каина и потомство Авеля... В великой драме человечества Каина — это противоборство». Сыновья Каина, злые и жестокие, господствуют над сыновьями Авеля: «Одаренные безмерной властью над нежными душами, они притягивают их к себе и губят их. В своем роде это величественно, это прекрасно!.. Поэзия зла... Ты дал мне пожить этой жизнью гигантов, и с меня довольно моего существования. Теперь я могу высвободить голову из гордиевого узла твоих хитросплетений, чтобы вложить ее в петлю моего галстука...» Бальзак — потомок и Каина и Авеля. Если у него и заметны некоторые слабости Люсьена, он обладает также гением Сешара и силой Вотрена. Чтобы стать великим писателем, необходим не только талант (у Люсьена он был), но нужна и сила воли. Закон труда всегда довольно суров. Бальзак принял его, а Люсьен отверг. Поэтому и судьбы их разные.

План этого огромного произведения могучий мозг Бальзака вынашивал с 1843 года. Здоровье все не позволяло ему завершить эту вещь. Каким же недугом он

страдал? По возвращении из России он заболел желтухой, потом начались ужасные головные боли. Наккар утверждал, что это не опасно. Но на Бальзака напали и другие болезни: желудочные колики, папулезная сыпь. Что касается его отношений с родными, то там его ждало «отвращение за отвращением». Госпожа де Берни предсказывала ему, что Лора в конце концов будет похожа на мать. Бальзак в ужасе убеждался, что Dilecta оказалась, как всегда, права. Брат и сестра виделись теперь реже. Бальзак, впрочем, не огорчился этим охлаждением: оно должно было облегчить положение, когда графиня Эвелина Ганская станет его женой. Он признавался, что просто содрогается, думая о том впечатлении, которое произведут его близкие на владельца замка в Верховне. Чувство не очень благородное, но Бальзак его испытывал, и семейные связи ослабевали.

Зато у него теперь на руках Анриетта Борель, первая сообщница его романа с Ганской. Вспомним, что Бальзак хлопотал за нее в канцелярии архиепископа Парижского. В июне 1844 года она приехала во Францию. Бальзак поселил приезжую на улице Басс и отдал ей свою собственную комнату — неслыханная честь! Очень скоро он обнаружил, что эта женщина глупа. По рекомендации одного священника, аббата Эгле, состоявшего в управлении епархии, настоятельница общины визитандинок готова была освободить Лиретту от обычного вклада. «Но эта дура из смирения гордо отказалась». А ведь не мешало бы приберечь кое-какие средства на тот случай, если ее призвание к монашеской жизни не подтвердится.

Наконец Бальзак, посоветовавшись с Джеймсом Ротшильдом, поместил в одно из предприятий деньги мадемуазель Борель и сообщил, что она сможет внести вклад в общину (восемь тысяч франков) из прибылей на свой капитал. Ее приняли как послушницу в орден, где не было строгого монастырского устава, и Бальзак часто навещал свою подопечную. Сама Лиретта его мало интересовала, но ведь она была хранительницей священных воспоминаний, от которых веяло очарованием его возлюбленной. Ах, когда же вернутся радости любви? Чужестранка выиграла процесс и была обижена равнодушием своего будущего мужа к такой великой победе. Он гордо ответил, что богатством желает быть обязан-

ным только собственному своему труду. Благосклонное решение императора, очевидно, было любезностью с его стороны, говорил Бальзак.

Помимо правосудия, это монаршая милость. Госпожа де Севинье вела тяжбу, и решение суда было представлено на утверждение Большого совета. Людовик XIV, которому его министры принесли на подпись ордонанс, начертал на нем: «Поскольку речь идет о госпоже де Севинье, постановление должно быть вынесено в ее пользу. Не хочу ничего рассматривать. С закрытыми глазами утверждаю решение». Вероятно, прекрасная дама, столь родственная по уму вам, польской госпоже де Севинье, написала своей дочери, что Людовик XIV — величайший и самый деликатный из всех монархов мира. Так я думаю.

Мнение это не понравилось. Польская госпожа де Севинье приписывала победу своим дипломатическим талантам, а не милостям двора. Затем Бальзак надавал ей всяких мудрых советов. Прежде всего надо просить Киевскую судебную палату о немедленном вводе в наследство. «Ну и влюбленные, эти два волчка!.. Пишут друг другу письма, нашпигованные цифрами и деловыми соображениями!.. Но, милый мой волчишка, ведь эти цифры — основа нашего счастья!» Ганская возвратилась из Санкт-Петербурга в Верховню. Бальзак советовал ей самой управлять имением, стать француженкой, то есть не позволять себе никакой расточительности. Она должна сразу же проявить строгость.

Людовик XVI, который не решился обстрелять чернь картечью в начале Генеральных штатов, сам же и является виновником всей резни, происходившей в годы Революции. Так вот, *востребуйте* не выплаченные вам суммы по праву вашего пользования доходами с имения. Пусть недоимку обратят в денежный капитал и точно установят его размер, хотя бы вам пришлось и не сразу получить этот долг, так же как и возмещение ваших расходов по ведению процесса и поездке в Санкт-Петербург. Встряхните вашего апатичного дядюшку. Чтобы подстегнуть его, сделайте все, что женщина и такая любящая мать, как вы, может сделать, не роняя своего достоинства. Он стар и, несомненно, перед смертью обратится к религии, вы не знаете, как действует на этих неверующих запах могилы: они выкашливают тогда свои пороки и считают себя очищенными от грехов. Старик снова увидит своих мужиков и поймет, как он был виноват перед вами и своей внучатой племянницей. А главное — обратите свои доходы в капитал и последуйте примеру той дамы, которая пристроила свои деньги в совершенно надежное предприятие. Будьте скупой! Вот так страницу я написал вам!

Но лишь только Ганская выиграла процесс, она поспешила бежать из России. Паспорт для выезда во

Францию получить было невозможно, она сразу же уехала в Дрезден — город, где полно было польских беженцев. Наскучавшись по ней, Бальзак попросил, чтобы она сняла для него комнату в Дрездене. Но прежде чем отправиться в Германию, ему нужно было во что бы то ни стало закончить «Крестьян». Газета «Ла Пресс» уже начала печатать роман, а конец еще не был написан. После первых же помещенных отрывков Бальзак сообщил Ганской о поразительном, превзошедшем все надежды успехе его произведения. Но Теофиль Готье, преданный друг, наоборот, утверждает, что в редакцию газеты ежедневно поступали письма с требованиями прекратить печатанье этого скучного романа. Роман был малопригоден для того, чтобы ежедневно кромсать его на куски, и Бальзак работал над ним без увлечения. Его мучила невралгия. «Я писал «Бирото», поставив ноги в горчичную ванну, а «Крестьян» пишу, успокаивая головные боли опиумом».

Шестого декабря 1844 года «Ла Пресс» объявила, что вскоре она начнет печатать роман Александра Дюма «Королева Марго» — Жирарден хотел занимательной интригой привлечь подписчиков в новом году. Когда срок возобновления подписки истек, газета потребовала от Бальзака продолжения «Крестьян» (за роман было заплачено заранее), но «пружина уже сломалась». Первые отзывы в печати оказались откровенно «разносными». «Вот еще одна книга, — говорил критик, — начатая для того, чтобы автор прервал ее, а закончил неизвестно когда и неизвестно как... В ней Фигаро клеветает на бедняков, вместо того чтобы злословить о богачах... Он упорно старается очернить всю сельскую жизнь... На крестьян он смотрит как на варваров, подкрадывающихся к воротам общества...» Сам Бальзак говорил, что ему опротивела эта книга. «Никогда не прощу себе, что сунулся писать «Крестьян». Он знал, что Жирарден, как Шейлок, готов вырвать у него за долг фунт живого мяса, но всякий раз, как Бальзак садился за этот проклятый роман, лицо у него передергивалось гримасами, словно у обезьяны.

Ему так хотелось помчаться в Дрезден, вновь изведать счастье любви. Но Ева решительно воспротивилась его приезду. И тогда им овладело настоящее безумие. Почему она обрекает его на адские муки? Почему доводит его до беспросветной тоски и желания покон-

чить с собой? Почему ее так пугает мысль увидеться с ним в Дрездене? Боится, что окружающие враждебны к нему? А разве не так же было и в Санкт-Петербурге? Какие еще «русские княгини отравили» сердце его Эвелины? И если *Лиддида* (слово, означающее на древнееврейском языке «возлюбленная») не хочет, чтобы он приехал в Дрезден, то разве она не может встретиться с ним где-нибудь в другом месте?

Работал он мало и плохо и ежедневно долгие часы тратил на то, чтобы подыскать в Париже дом для «двух волчков». (Со времени поездки в Россию он именовался «волчком», она — «волчишкой», а их состояние — «сокровищем волков».) Он отбросил намерение украсить *Жарди*. Чтобы оказаться достойным владелицы замка в Верховне и ларя Марии Медичи, жилищу будущих супругов полагалось быть очень красивым, радовать взор садом, разбитым за домом, и возвышаться на земельном участке, стоимость которого в дальнейшем непременно возрастет. «Отчего такая страсть к спекуляции?» — спрашивала Ганская. Да ведь нужно большое состояние, чтобы *Чужестранка* могла и в Париже вести привычный для нее образ жизни. «Я тебе прощаю, волчишка, ведь ты не ведаешь, что говоришь». А какую обстановку он создаст для своей жены! Ведь один уж ларь Марии Медичи представляет собою целое состояние. Стоимость этого ларя с золотыми и перламутровыми инкрустациями может покрыть все его долги, но он согласился бы продать его только такому коллекционеру, как *Ротшильд*, или же знатоку-англичанину вроде сэра *Роберта Пиля*, и то за три тысячи фунтов стерлингов.

И вот он осматривает один дом за другим — в *Пас-си*, в самом Париже, на улице *Нев-де-Матюрен*, в парке *Монсо*, на *Вдовьей аллее*, на *Елисейских Полях* (в квартале, у которого большое будущее, ибо, как предсказывает он, земельные участки там будут когда-нибудь цениться по сто тысяч франков за квадратную сажень). Общая стоимость будущего дома новобрачных, считая ремонт и переделки, составит около двухсот тысяч франков, и *Бальзак* производит оптимистические подсчеты: продажа *Жарди*, да «*Крестьяне*», да «*Человеческая комедия*», да вклад в двадцать тысяч франков со стороны волчишки... Можно уложиться. Но почему же она не привезла больше денег с Украины,

где в один прекрасный день у нее конфискуют все ее владения? Почему она так недоверчиво относится к финансовым планам своего волчка? Ведь в делах она как маленькая девочка, а он старый стреляный воробей.

Впрочем, почему бы ей не приехать в Париж и самой не посмотреть? Ничего нет легче. Анну и госпожу Ганскую он впишет в свой паспорт, одну — как сестру, а другую — как племянницу. Он снимет для них в Шайо или в Пасси маленькую квартирку с обстановкой. Обе путешественницы будут инкогнито ездить в город. К услугам Анны — выставка, дюжина театров, концерты в Консерватории и так далее. Двухмесячное пребывание в Париже обойдется не больше, чем по три с половиной тысячи франков в месяц, считая расходы на кухарку, горничную и мальчишку-грума. За всем надзирать будет госпожа де Бренволь. Но когда же Лиддида решится наконец? Ведь в разлуке он тоскует, терзается и совсем отупел: «Я не могу извлечь из своего мозга ни строчки. У меня нет больше ни мужества, ни сил, ни воли...» Чтобы не сойти с ума, он стал играть в ландскнехт и ходить на вечера! Несомненно, есть доля правды в этом рассказе об оцепенении и любовной тоске, которые его сковывают. Но он несколько преувеличивал свои бедствия. Он хотел разжалобить жестокую красавицу. Вряд ли Бальзак чувствовал себя отупевшим в тот день, когда, завершая «Беатрису», где ему нужно было нарисовать страдания молодой женщины, которой изменяет муж, он отправился к Дельфине де Жирарден и долго расспрашивал хозяйку дома о горестном начале ее супружеской жизни. По неизменному своему инстинкту пчела повсюду собирает мед: недавняя связь Жирардена с госпожой д'Агу дала Бальзаку животрепещущий материал для развития образа Беатрисы.

Из Дрездена ничего не отвечали; отчасти молчание объяснялось семейными делами. Анна, польская патриотка, решившая выйти замуж только за поляка, «отличила» графа Георга Мнишека, кроткого мистика с шелковистой русой бородой, собиравшего коллекцию жесткокрылых насекомых, знатока искусств и человека столь же богатого, как и сама невеста. Может быть, госпожа Ганская опасалась, как бы молодой граф, пока он не связал себя с Анной бесповоротным обещанием, не изменил своего решения, узнав, что его будущая теща собирается выйти замуж за француза. Может быть,

ее рассердили выпады Бальзака, когда он позволил себе рьяно порицать предполагавшуюся помолвку? «Дочь твоя богата, и к тому же она полька, — писал Оноре, — а поэтому находится в исключительном и опасном положении». Чего хочет император России? Единства своей империи, а следовательно, уничтожения польского национализма и влияния римско-католической церкви. На его месте Бальзак, поклонник макиавеллиевской политики, действовал бы точно так же. Следовательно, всех непокорных и богатых поляков возьмут на прицел. Эта участь ждет и молодых супругов Мнишек. Всё мог бы спасти «смешанный» брак (с каким-нибудь немецким или австрийским аристократом). Анна находит, что ее жених хорош собой? «Она не знает, что в браке может проявиться физическое отвращение», — говорит с уверенностью специалиста автор «Физиологии брака».

Что касается его самого, то бесконечное ожидание и тягостная неуверенность губительны для него. «Право, состояние мое можно описать двумя словами: я чахну». И хоть бы знать, что Эвелина остается верна их чудесному плану. Она пишет редко, коротенькие письма — едва черкнет несколько ласковых слов. Чтобы поговорить о ней, ему приходится вызывать Лиретту к решетке монастырской приемной. Если он осмелится в чем-нибудь упрекнуть Эвелину, та обижается. Однажды он назвал ее «казаком» (это не было такой уж нелепостью); она возмутилась, пригрозила, что тоже уйдет в монастырь, потом смиростивилась: «Я тебя прощаю», и, по его словам, он поцеловал на листочке письма эти три слова, доказывающие ее милостивое великодушие.

Наконец 18 апреля 1845 года запрещение было снято. «Я хотела бы увидеть тебя», — написала она, и Бальзак помчался в Дрезден. «Я приезжаю с флаконами духов, с целым облаком благоухания». Она сняла для него комнату, не очень дорогую, в гостинице «Город Рим», сама же с дочерью поселилась в «Саксонской гостинице». Он истосковался по своей Еве: «Дрезден — это голод и жажда, это скудное счастье; это нищий, который накинулся на богатое пиршество богача». В Дрездене он узнал, что в Париже официально сообщено о награждении его орденом Почетного легиона, но он, кажется, не обратил на это большого внимания. Кавалер ордена... Невысокая и запоздалая награда. Но разве он мог обидеть Вильмена отказом принять ее? Кари-

катуристы, у которых Бальзак был излюбленной мишенью, изображали, как он привязывает орден к набалдашнику своей исполинской трости.

Бальзак нашел, что у жениха Анны много хороших качеств, но он резковат. «Он не отличается ни учтивостью, достойной его имени и его звания, ни приветливостью большого барина». Следует, конечно, пожалеть об этом, но есть ли на земле совершенство, кроме Евы и Анны? «В Георге Мнишке не чувствуется влияния женщины, одной из тех пожилых женщин, которые учат своих любимцев правилам света, законам жизни и формируют юношей». Но теперь уж, когда Георг стал женихом, поздно искать для него некое подобие госпожи де Берни.

Тотчас же «волчок» и «волчишка» решили убежать от дрезденских сплетен, отправились в Гамбург и Канштадт, на воды, прописанные Эвелине. Последующие четыре месяца были временем безумной, рассеянной жизни — по сравнению с обычным трудовым, одиноким существованием Бальзака. Жених и невеста, Анна и Георг, приняли с искренней приятностью занимательного спутника. Вдохновившись модной в ту пору клоунадой Дюмерсана и Варена «Уличные акробаты», эта странствующая труппа дала Бальзаку прозвище Бильбоке, Еве Ганской — Атала, Георгу Мнишке — Гренгале и Анне — Зефирина. В компании четырех «акробатов» благодаря Бальзаку постоянно царило веселье. С тех пор как он снова обрел источник любовных восторгов в женщине, «созданной для любви», к нему вернулись вся его жизнерадостность и остроумие. Позднее он отмечал в письмах к Ганской оттенки любовных воспоминаний, которые оставили в нем пребывание и объятия в каждом городе: «Канштадт — это тонкие лакомства, пригодные лишь для десерта, слишком тонкие для ненасытного обжоры. Карлсруэ — это милостыня, брошенная бедняку. Но Страсбург — это уже любовь, искусство любви, сокровища Людовика XIV, это уверенность во взаимном счастье...»

В Страсбурге он купил три места в дилижансе, отправлявшемся в Париж 7 июля. Георг должен был присоединиться к ним позднее, в Бельгии. Госпоже де Бреньоль были даны точные указания, сопровождавшиеся похвалами по ее адресу: «Я только что получил

ваше письмо, такое же ласковое и доброе, как ваша душа. Вы, как всегда, верны себе...» Неосторожная похвала, которая могла пробудить опаснейшие надежды. Госпоже де Бреньоль было поручено снять в районе церкви Мадлен (не больше, чем за триста франков в месяц) квартиру с мебелью, «но на ваше имя,— добавлял Бальзак,— так как у дам не будет паспортов... Госпожа Ганская хочет теперь, чтобы там и для меня была комната, в которой я мог бы временно поселиться... Надо все это хранить в глубокой тайне... В будущем я во всех отношениях уверен... Анна очень меня любит, и я не сомневаюсь, что в доме будет чудесное и самое сердечное согласие...» Итак, служанка-госпожа с явной снисходительностью принимала мысль о женитьбе Бальзака на богатой женщине и даже мысль о его добрачной связи с ней. Ей поручалось постелить на пол в спальне приезжающих дам голубой ковер и подписаться на месяц на «Антракт» (на имя мадемуазель де Полини, улица де ла Тур, 18), чтобы Анна, большая театралка, была хорошо осведомлена о спектаклях.

Симфония любви и городов продолжалась.

А Пасси, а Фонтенбло! Это гений Бетховена, возвышенные творения. Орлеан, Бурж, Тур и Блуа — это концерты, любимые симфонии, каждая со своим характером, то более, то менее веселым, но в каждую страдания влюбленного «волчка» вносят строгие ноты. Париж, Роттердам, Гавр, Антверпен — это осенние цветы. Однако Брюссель достоин Канштадта и нас с вами. Это триумф двух слившихся воедино сердец, исполненных нежности...

Все эти музыкальные ласки стали вехами четырехмесячного путешествия, когда Бальзак был совершенно счастлив, если не считать нескольких столкновений в Голландии,— госпожа Ганская весьма горячо упрекала Бальзака за его разорительные покупки в антикварных лавках. Особенно ее возмутил шкаф черного дерева, купленный в Роттердаме за триста семьдесят пять флоринов. «Но ссоры двух волчков происходили только из-за шкафов». По поводу Луизы де Бреньоль ссор не было, тут Чужестранка просто отдала приказ в самой своей казацкой манере. Будучи в Париже, она сочла весьма подозрительной фамильярность экономки с хозяином. Женщины друг другу не понравились, и госпожа Ганская потребовала увольнения «домоправительницы». Бальзак обещал произвести по возвращении эту затруднительную для него экзекуцию. Чтобы успокоить

Эвелину, он уже называл экономку «эта особа», «эта дрянь», «мегера» и «чертова тварь». В сентябре Бальзак сообщил госпоже де Бреньоль, что ей следует самое большее через полгода подыскать себе другое место, и она заплакала.

Вдали от своих дорогих «акробатов» Бальзак впал в уныние, хотя разлука, так удручавшая его, предполагалась недолгой: уладив кое-какие дела, он должен был присоединиться к Ганской.

Никогда еще мне не было так хорошо, я жил душа в душу с моей Эвелеттой; и вот оборвались все милые привычки, все нечаянные радости жизни, возникшие для меня. Я страдаю оттого, что прервано возрождение моей молодости, дивная супружеская близость, превосходившая все мои желания.

Без всяких доказательств утверждали, что Эвелина Ганская совсем не любила его. У нас нет ее писем, но мы знаем по ответам Бальзака, что нередко они были очень нежными: «Три твоих последних письма — сокровище для сердца. Ты отвечаешь всем моим честолюбивым стремлениям, всем грезам любви, рожденным воображением. Как я счастлив, что внушил такую любовь... В разлуке твои три письма приводят мне на память ту Еву, какой ты была в Бадене, тот чудесный порыв сердца...» А это восклицание: «Ах, волчишка, любовь, бурная и долгая любовь, неразрывно связала нас».

Все «акробаты» держались одинакового мнения о Бальзаке, все относились к нему с дружеской симпатией. По возвращении в Париж он получил рисунок медали (произведение Георга Мнишека) с надписью: «Бильбоке — от признательных акробатов» и очаровательное письмо от Атала — Ганской. Итак, в любви у счастливого Бильбоке все шло прекрасно. Житейские дела оказались не так хороши. В Пасси разгневанная госпожа де Бреньоль потребовала в качестве возмещения за свое увольнение 7 500 франков и патент на табачную лавочку. Вмешался доктор Наккар, приятель главного директора табачной монополии, но, когда Наккар уже почти добился успеха, норовистая домоправительница не захотела держать табачную лавочку. («Это как-то низко», — заявила она.) Она пожелала продавать гербовые марки. Госпожа Бальзак и Лора жалели и поддерживали ее, и она сделала последнее усилие, чтобы остаться в доме. «Но я сказал ей: «Если вы произнесете то имя,

которое я чту наравне с именем Господа Бога, вы тотчас покинете дом. Я дам вам денег, чтобы вы поселились в другом месте, а есть я буду в трактире». Она умолкла и с тех пор ничего не говорит», — сообщал Бальзак Еве Ганской. Быть может, ему она и не говорила ничего, но его родным жаловалась. Матушка писала Лоре: «Госпожа де Бреньоль мне сказала, что с Оноре столкнуться невозможно. Я ответила ей: «Да ведь он всегда такой, когда много работает; голова у него забита всякими мыслями, не стоит на него обижаться».

Стряпчий Гаво тоже впал в немилость: «ужасно вялый человек» и никуда больше не годится. Ликвидировать долги поручено было теперь Огюсту Фессару, и этот делец совершил чудо — добился, чтобы кредиторы согласились на уплату лишь пятидесяти процентов, все, кроме портного Бюиссона, крепко верившего в будущность своего гениального заказчика: он попросту переписал вексель. Весьма трудной задачей было найти дом «для волчка и волчишки». Казалось просто невозможным подыскать в Париже резиденцию, достойную Евы. Однако Атала и Бильбоке могли бы найти средства на покупку красивого дома. Бальзак еще раз делает свои гибкие арифметические подсчеты. У Ротшильда хранится «сокровище волчишки». Доход от «Человеческой комедии» колеблется, в выкладках Бальзака, от ста тысяч франков до нуля в зависимости от продажи книг и настроя счетчика. Написать еще предстоит очень много. Хландовский, польский издатель, мечет громы и молнии, требуя поскорее представить ему «Мелкие невзгоды супружеской жизни», но эта работа надоела Бальзаку, совсем ему не по душе. Его вполне можно понять — этот сборник очерков куда ниже «Физиологии брака», написанной им в юности.

К черту работу! Вот уже полгода, как «Человеческая комедия» выброшена за борт. Почему в конце концов создатель такого множества картин адских мучений не имеет права на свою долю райского блаженства? «Я думаю только о тебе; мой ум уже не повинуется мне». Страстная любовь стимулирует гений художника, чрезмерное желание приводит к оцепенению. В октябре 1845 года Бальзак мчится на почтовых в Баден-Баден и после краткой встречи, измученный, возвращается в Пасси. Ганская пожелала провести зиму в Италии

с Анной и Георгом. Решено было, что Бальзак присоединится к ним в Шалоне-сюр-Сон, а оттуда они все вместе поедут на пароходе в Марсель. Из Марселя «бродячие акробаты» отправятся в Неаполь на французском корабле «Леонид». Эта поездка была кульминационной точкой в любви Бальзака. «Но Лион, ах, этот Лион! Там я увидел, как мою любовь превзошли прелесть, очарование, нежность, совершенство ласк и сладость твоей любви, обратившей для меня слово «Лион» в некое волшебное заклинание, которое в жизни человеческой становится священным, ибо стоит произнести его — и перед тобой отверзается небо...»

В эти полгода он впервые за свою литературную жизнь ничего не написал, кроме конца «Беатрисы», нескольких страниц «Крестьян» и наброска последней части романа «Блеск и нищета куртизанок». «Я все живо сварганю. Зачем мне деньги? Мне нужно счастье, и поэтому я вернусь к тебе». Бедняга! Великий писатель позабыл, что счастье — роковой дар для художника, что великие люди принадлежат только своим творениям.

XXXIV

ПЕРЕТТА И КУВШИН С МОЛОКОМ

Мы, женщины, должны восхищаться талантливými людьми, смотреть на них, как на увлекательное зрелище, но жить с ними? Никогда!

Бальзак

В 1845 году Бальзак несколько раз уезжал из Пас-си: в первый раз — с мая до сентября; второй раз, в конце сентября, — «прыжок в Баден-Баден» и третий раз — с октября по ноябрь, когда он совершил незабываемое путешествие из Шалона в Неаполь. Чудесный год любви, праздности и посещений антикварных лавок! Как Бальзаку хотелось остаться в Италии вместе с «бродячими акробатами», не иметь никаких обязательств, только ласкать свою Еву да бегать по антикварам, но нужно было возвращаться в Париж, бороться с финансовыми опасностями, следить за стараниями Фессара, успокоить издателя Хландовского, продол-

жать «Человеческую комедию», восстановить свое положение в прессе и подыскать наконец дом.

Двенадцатого ноября он прибыл в Марсельский порт после «недельного плавания по ужасному морю». На борту все были больны, кроме него и матросов,— классическая формула. Возвратился он еще более влюбленным, чем прежде; спутником его оказался марсельский поэт Жозеф Мэри, знавший Ганскую, и Бальзак с восторгом говорит с ним о своей любимой, чье невозмутимо прекрасное чело запечатлело сияние божества, ангела и таит в себе нечто демоническое.

Душенька моя, целую твои красивые веки, приникаю устами к твоей белой шейке, к той впадинке, которую я называю «гнездышком для поцелуев»; беру в руки твои бархатные лапки и чувствую их запах, такой чудесный, что от него с ума можно сойти, и, наслаждаясь в мыслях этими сокровищами (а их у тебя тысячи, и притом таких, что одного хватило бы для самомнения какой-нибудь дурочки), говорю: «О волчишка, о моя Эвелетта, всего дороже мне твоя душа, и я люблю тебя всей душой...»

Разумеется, он повел Жозефа Мэри к торговцу всякими диковинками и купил там для владычицы своих мыслей великолепный коралловый убор тонкой индийской работы. «Это багряный цвет победы, пурпур счастливой любви!.. У меня слезы на глазах, когда я пишу тебе. Все существо мое переполнено благодарностью, как у юноши, которого сжигает любовь...». Последнее пламя любви так же сладостно, как первые лучи славы.

Возвращение из поездок всегда для него катастрофично. В Париже он снова сталкивается с житейскими трудностями. На некоторое время денег у него достаточно. Ганская доверила ему значительную сумму (около 100 000 франков золотом) на покупку и меблировку дома. Это «волчишкино сокровище» будет священным. Но «неисправимый спекулятор», считая себя вправе увеличить его, решает купить на эти деньги акции Северных железных дорог, которые непременно должны подняться. Барон де Нусинген мог бы его осведомить, что биржа уже сыграла на повышении этих бумаг, но в политику банкиров Нусингенов не входит забота об интересах держателей акций. И все же в конце 1845 года можно видеть определенное улучшение в материальных делах Бальзака. Под влиянием госпожи Ганской и Фессара он приступил к методическому пога-

шению своих долгов: было выплачено 40 000 франков; славный старик Даблен соглашается переписать свой вексель с 8 000 франков на 5 000. Бальзак заявлял, что этот добрый друг готов был даже дать ему займы 200 000 франков, чтобы предоставить возможность полностью рассчитаться с кредиторами, но госпожа Бальзак и Лора Сюрвиль отговорили его; это кажется маловероятным.

Матушка утверждала, что Оноре должен ей (считая и наросшие проценты) 57 000 франков. «Фантастические счета!» — ответил сын. «Черная неблагодарность с твоей стороны!» — возразила мать. Вмешался кузен Седийо и добился полюбовной и справедливой сделки. Госпожа Делануа никогда не преследовала его. Супруги Гидобони Висконти не только не потребовали уплаты взятых Бальзаком 10 000 франков, но в 1846 году дали ему еще 12 000, что не мешало ему в письмах к Ганской сжигать то, чему он поклонялся, и называть Сару Висконти «старухой англичанкой». Правда, ему пришлось дать ей в качестве залога под ссуду акции Северных железных дорог (принадлежавшие, впрочем, Ганской) и главное — всячески успокаивать ревнивую польку. Случай двойной бухгалтерии.

С помощью Ганской и Фессара денежный вопрос мог бы стать менее острым, чем прежде, будь Бальзак благоразумнее. Но он как будто нарочно навлекал на себя беду. Стоило ему услышать о какой-нибудь спекуляции, хотя бы самой рискованной, ему не терпелось пуститься в нее. Некий судовладелец решил дать своему новому пароходу имя «Бальзак», и тотчас Оноре подписался на два пая в его транспортном предприятии, то есть на 10 000 франков. Это принесет сорок процентов прибыли, уверял он. А на деле о внесенной сумме больше и речи не было. Целыми днями он приторговывает дома и земельные участки, а так как предполагаемое обиталище нужно обставить с восточной роскошью, он покупает старинный сервиз китайского фарфора: «Я заплатил за него триста франков, а Дюма за такой же сервиз отдал четыре тысячи, да и шесть тысяч было бы не жалко отдать». Он нарочно едет в Руан посмотреть на резные панели черного дерева, «которые просто даром отдают». Он приобретает «по случаю» стулья для маленькой гостиной во втором этаже, которую заранее

называет «зеленой гостиной» (хотя ее еще не существует), покупает красивое бюро для «своей дорогой» и два очаровательных шкафа наборной работы с цветочным узором.

Я бродил три часа и купил: primo, желтую чашку (заплатил пять франков, а она наверняка стоит все сто, такая прелесть). Secundo, купил чашку, преподнесенную кем-то Тальма, — голубой северский фарфор, стиль ампир; богатейшая чашка, по фарфору от руки нарисован букет цветов, что, вероятно, стоило двадцать пять луидоров (луидоры — по двадцать франков). Tertio, купил шесть стульев роскошной отделки, великолепной наборной работы — из дерева выложены цветы и букеты: это для зеленой гостиной. Четыре стула оставляю, а из двух закажу сделать козетку. Дельные покупки!

Да и стоит ли говорить о расходах? Кто может продержать у себя один год акции Северных железных дорог, а «это как раз наш случай, получит по триста франков прибыли на каждую акцию. На сто пятьдесят акций это составит сорок пять тысяч франков прибыли...» Одних уж этих денег хватит и на оплату дома, и на обстановку.

Остается все же несколько черных пятен. Во-первых, «эта особа», то есть госпожа де Бренволь. Она сама не знает, что ей надо: подавай ей теперь мужа, она желает выйти замуж за Эльшота, довольно известного скульптора! Торговать гербовыми марками она уже не хочет, дайте ей приданое. Будущую госпожу Эльшот Бальзак окрестил Совой (воспоминание об ужасной мегере из «Парижских тайн»). Но Сова еще раз переменила мнение. Не надо ей «этого проклятого скульптора», заявила она, такой урод — просто чудовище, и к тому же любит девочек моложе тринадцати лет! Сова возвращается к намерению торговать гербовыми марками, а получить патент на такую торговлю было очень трудно. Бальзак обращается за поддержкой к Джеймсу Ротшильду.

Ротшильд кривлялся по обыкновению. Спросил, хорошенькая ли она и обладал ли я ею. «Сто двадцать один раз, — ответил я, — и, если хотите, уступлю ее вам». «А дети у нее есть?» — вдруг задал он вопрос. «Нет, но вы можете подарить ей ребеночка». — «Очень жаль, но я, знаете ли, покровительствую только тем женщинам, у которых есть дети». Нарочно сболтнул, чтобы увильнуть. Будь у нее дети, он сказал бы, что не может поощрять безнравственность. «Ах так! — ответил я. — Вы воображаете, барон, что можете поспорить в хитрости со мной! Я же акционер компании Северных железных дорог! Я сейчас представлю вам счет, и вам придется заняться моим делом так же, как железнодорожной веткой с прибылью в четыреста тысяч франков». «Вот как! — про-

цедил он.— Если вы сумеете нажать на меня, я еще больше буду восхищаться вами». «Я и нажму на вас,— ответил я,— напущу на вас вашу супругу, а уж она возьмет вас под надзор». Он рассмеялся и, раскинувшись в кресле, сказал: «Я изнемогаю от усталости! Дела просто убивают меня. Предъявляйте ваш счет...»

Итак, претензии Совы не были удовлетворены, и разъяренная домоправительница грозила отомстить.

Вторая неприятность — семейные дела. Лора убедил Сюрвиля поехать в Испанию разобратся на месте, выгодное ли дело ему предлагают, а в его отсутствие снесло разливом мост через реку Ду, который Сюрвиль строил! Лора, эта «выдающаяся женщина», из честолюбия совершала ошибку за ошибкой. Первого января 1846 года — вторая драма, на этот раз микроскопическая. По установившемуся обычаю в первый день Нового года госпожа Бальзак, Лора и две ее дочери, Валентина и Софи, всегда приезжали в гости к Оноре. На этот раз его навели только племянницы.

Я догадался, что это фокусы моей матушки, и, одевшись, поехал к ней, как полагается. Принят я был весьма нелюбезно... Ей хотелось сделать меня во всем виноватым. Вчера она сто раз говорила Лоре: «Вот увидишь, твой брат не придет меня поздравить». И она встретила меня чуть ли не с ненавистью из-за того, что ее предвидения не оправдались... Что касается меня, то я твердо решил заезжать к матери только на Новый год, на ее именины, в день рождения и дольше десяти минут у нее не оставаться. А тебе достаточно лишь обмениваться с моей матерью и сестрой визитными карточками...

В-третьих — Лиретта Борель. Она требует свой вклад в общину и желает, чтобы Бальзак присутствовал при ее пострижении в монахини. А ведь это очень долгая церемония, времени на нее уйдет не меньше, чем на четыре страницы рукописи. «Эти мошенницы монашки воображают, будто весь мир вращается вокруг них». Но он смирился. Надо ведь, чтобы «его дорогая жена» и Анна были представлены на «похоронах Анриетты Борель». Впрочем, он не пожалел, что пришел.

Поскольку я никогда не видел обряда пострижения,— писал он Ганской,— я смотрел во все глаза, все изучал, все наблюдал с таким вниманием, что меня, вероятно, принимали за человека весьма благочестивого... Церемония, кстати сказать, внушительная и крайне драматическая... Я и сам взволновался, когда три постригающиеся бросились наземь, а их закрыли погребальным покровом, прочли над этими тремя существами, отрекающимися от мира, заупокойные молитвы, а вслед за тем они появились в годвенечном

наряде, в венках из белых роз и принесли обет быть невестами Христовыми...

После «пострижения» Бальзаку разрешили поговорить с Лиреттой; она была очень весела. «Ну вот, теперь вы невеста!» — сказал он ей смеясь.

В-четвертых, работа. Раньше она была счастьем, теперь воображение сдало. «Мне крайне трудно писать, — жалуется Бальзак в письме к Ганской, — мысль не свободна, она больше не принадлежит мне... Вчѐра весь день на душе была такая ужасная тоска... А ведь надо кончить шесть листов, чтобы дополнить один из томов «Человеческой комедии»...» Глаза все время моргают, зрение так ослабело, что, работая ночью, Бальзак свой подсвечник на три свечи заменял пятисвечным канделябром. «Так я за две ночи сжигаю свечей на полтора франка. Понятно, сударыня? Да дров выходит на два франка и на пятьдесят сантимов кофе — в общем, расходов на четыре франка за ночь. Вот как подорожали сказки „Тысячи и одной ночи“!..»

С «Крестьянами» дело застопорилось. Бальзак попробовал взяться за «Последнее воплощение Вотрена» — четвертую часть «Блеска и нищеты куртизанок». Раз двадцать он начинал первую страницу, но она все не удовлетворяла его. Кстати сказать, книга разбухла — в ней уже не три, а четыре части, третья часть вначале называлась «Судебное следствие», чтобы ее написать, автору приходится заглянуть в тюрьму Консьержери. Читатели будут восхищаться красотами, которыми изобилует конец романа, но они созданы были позднее. В 1846 году дело продвигалось трудно. Газетные хроникеры заявляли даже, что Бальзак позабыт. «Что случилось с господами Сулье и де Бальзаком?» — спрашивал 15 сентября 1846 года некий репортер в журнале «Юнивер» в статье «Новости литературного мира». Талант вернется ко мне, писал Бальзак в Неаполь даме своего сердца, но вернется в тот день, когда женитьба избавит меня от неуверенности. «Это не любовь, это наваждение». Во всяком случае, можно сказать, что мысль о союзе с Ганской всецело завладела им и лишала его воображение творческой свободы.

Да если б эта женитьба была твердо решена! Но переписка между влюбленными полна ссор и упреков. Сестра Ганской, Алина Монюшко, написала Еве, что

Бальзак — «расточитель, сумасброд, любитель свежего мяса». Ганская жеманно пишет Бальзаку, что ей страшно оказаться слишком старой для него. Она спрашивает: «Тебе нужны молодые девушки?» Он отвечает: «Право, это уж чересчур! Ведь я боюсь только одного — что я уже недостаточно молод для тебя! Я хотел бы, чтобы мне было двадцать пять лет. Будь старой сколько хочешь, только люби меня...» Сова тоже изощряется в колкостях.

Домоправительница моя сказала: «Ах, вы любите, вы любите... Вы любите только самого себя (на прощание она старается выставить меня эгоистом), и, если бы вам предложили в невесты двадцатилетнюю девушку, у которой есть и титул и сто тысяч франков годового дохода, вы бы с удовольствием женились на ней...» «Прежде всего,— ответил я,— такой девушки нет». Весьма об этом сожалею, так как дальнейшие мои слова останутся недосказанными. А я хотел бы сказать, что, если бы такая невеста существовала, будь она столь же хороша собой, как мадемуазель де Дино (ныне госпожа де Кастеллан), и будь она, как сия красавица, урожденная Талейран, да имей она даже сто пятьдесят тысяч франков годового дохода, я все равно бы на ней не женился, так как за двоеженство ссылают на каторгу, а то и вешают...

Влюбленный бенгали утратил пылкость.

Она угасла от множества трудов, мечтаний, хлопот, тревог и выпитых чашек кофе. Впрочем, как всегда бывает у животных: сначала великий бунт, период пения у птиц, а когда зверьки увидят, что все бесполезно, они затихают и уже не подают голоса, как те собаки, которые в отсутствие любимого хозяина сперва поднимают адский шум, а потом скорбно умолкают...

В феврале 1846 года Ганская пишет Бальзаку:

Приезжайте в Рим; оттуда направимся во Флоренцию; из Флоренции проедем через нашу милую Швейцарию, через Женеву и Невшатель; устройте нас в Бадене и возвращайтесь в Париж, заканчивайте свои дела, пока мы будем лечиться на водах...

Как же не ответить на такой призыв! Но увы! Когда Бальзак принял решение отправиться в Италию и сказал себе: «Всегда успеется написать книгу, которую не можешь сейчас начать», в тот самый день (верх незадачливости!), выйдя от знаменитого портного Бюиссона, на углу улицы Ришелье и бульвара он, перепрыгнув через канавку, разорвал себе связки на ноге. Ужасная боль, поездку пришлось отложить на две недели. Наконец около 20 марта он благодаря заботам доктора Наккара, своего преданного друга, уже мог ходить. При помощи барона Ротшильда и других влия-

тельных лиц Сова получила патент на торговлю марками. Труппа «бродячих акробатов» могла возобновить свое турне. Бильбоке, обзаведясь новым гардеробом, мчится в Рим; едет с друзьями на Борромейские острова, а оттуда в Швейцарию, Гейдельберг и Франкфурт; вместе с надеждой вновь возвращается к нему страсть, и теперь он строит «с женой» множество планов на будущее. Ганская как будто уже окончательно решила выйти за него замуж. Они купят замок в Турени, будут жить в деревне большую часть года, снимут в Париже квартиру в предместье Сен-Жермен и зиму будут проводить в столице.

Возвратившись из поездки, он приступает к выполнению планов. Вот что он намеревается сделать: купить на 80 000 франков, взятых из «сокровища волчишки», акций Северных железных дорог; поехать в Вуврэ с Жаном де Маргонном и приобрести там имение, временно обставить дом кое-какой мебелью, которой он пользовался в своем холостяцком обиходе, а все недавно купленные старинные вещи приберечь для парижской квартиры. Итак, у него будет имение и двести акций Северных железных дорог! «Прочитав о таком достижении, разве ты не восхитишься своим волчком?» Ах, если бы удалось приобрести в Вуврэ замок Монконтур, он как раз продается!.. Монконтур, о котором он мечтает уже тридцать лет, очаровательный замок с башенками, красиво расположен на двух террасах над Луарой и весь отражается в ее водах. «Монконтур, прекрасные виды, тенистые аллеи для прогулок, и фрукты, и река у наших ног...» И Бальзак уже создает новую картину счастья: шесть лет супруги ради экономии проживут в Монконтуре, но, чтобы не заплесневеть в деревне, зимы будут проводить в Париже. Платформа Турской железной дороги находится у Ботанического сада, следовательно, поселиться надо в конце Бульваров. Само собой напрашивается мысль о площади Руаяль. Бальзак поищет там квартиру, где окна выходили бы на юг и имелись бы три комнаты для слуг. Ах, какие благоразумные планы, сколько у него рассудительности!

Из Германии пришли две вести, обрадовавшие его. Умер отец Георга Мнишека. Упокой Господи его душу! А все-таки после его кончины легче будет соединить браком жениха с невестой, и даже срочно надо это сделать.

Пусть Ева поторопится!.. Тогда ведь и она окажется свободной. Вторая весть переполнила его радостью и гордостью. «Дорогая графиня» беременна, и он — виновник этого события. Итак, у Бальзака будет сын; его назовут Виктор-Оноре. Несомненно, ребенок был зачат в Солере, между двадцатым и тридцатым мая, когда путешественники проезжали через Швейцарию. Бальзак возносит благодарственный гимн: «Дети любви не вызывают у матерей тошноты, беременность протекает легко. Но берегись всяких осложнений. Бедненький крошка Виктор-Оноре...» Какое мужество обретет Бальзак теперь, когда ему надо работать для «трех волков», для своего «малыша»! Вспомним, какое огромное место он всегда отводил в своих произведениях отцовскому чувству. Долги? Благодаря успеху он с ними справится. «Я внимательно обдумал, что можно сделать в отношении романов, и считаю, что долги я перекрою рукописями». Скажем, нужно отдать 2500 франков — на это достаточно рассказа. Нужно 7500 — сочиним роман и напечатаем в «Ла Пресс». Профан может счесть неприличным манеру создавать произведения в зависимости от требований кредиторов и газет. Бальзак придерживается иного мнения. Какие могут быть претензии к гению? «Разве станешь думать о таких вещах, когда нужно составить себе состояние, заработать на кусок хлеба? Разве Россини думал о славе, когда за сто экю писал «Севильского цирюльника»? Так же как я, когда писал «Физиологию брака», Россини думал о куске хлеба. И мы сами себе в том признавались...»

Итак, Виктор-Оноре существует, следовательно, родителям нужно вовремя пожениться, если они желают иметь законнорожденного ребенка, а не побочное дитя, узаконенное последующим браком. Но по многим причинам (предполагаемое время родов, опасность, угрожавшая поместью Ганской на Украине, сплетни) надо было совершить бракосочетание втайне. Потом можно было бы утверждать, что оно произошло до беременности. Оноре пришла следующая мысль: префект департамента Мозель — его однокашник по Вандомскому коллежу, Жермо, а пост главного прокурора в Метце занимает его друг Делакруа. Если найти в Лотарингии какого-нибудь несведущего или снисходительного мэра, можно было бы скрыть вывешенное «оглашение брака» под чужими свадебными объявлениями. Но необходимо

было достать метрические свидетельства жениха и невесты. Бальзак тотчас запросил в Туре свои документы. У Ганской было при себе только одно удостоверение личности — паспорт, составленный на русском языке. Пусть она побыстрее под предлогом скорой свадьбы Анны выпишет себе свидетельство о смерти своего мужа Венцеслава Ганского.

«Свидетельства о смерти твоего отца и матери совершенно излишни, — пишет ей Бальзак, — но твоя метрика необходима. Надо ее затребовать и во что бы то ни стало добиться ее присылки. Ни в одной стране без этого документа нельзя пожениться». Однако Ганская родилась в 1800 году, а она молодилась — уменьшала свой возраст на шесть лет. Она не хотела признаться в этом Бальзаку. В сорок шесть лет женщине неприятно признаваться в таком обмане, если только она не отличается веселым цинизмом — черта, не свойственная Эвелине Ганской. Она предпочла окольный путь: решила родить втайне, доверить ребенка Бальзаку и уехать в Верховню.

Метрика была не единственной причиной такого решения. Когда настала минута соединить на радость и на горе свою судьбу с судьбой великого писателя, у Эвелины Ганской возникли прежние опасения. Несомненно, любовник был ей по душе, но она боялась безумств будущего своего супруга. «Не правда ли, я хороший счетовод?» — твердил он ей. Нет, он был плохой счетовод. Он столько говорил, что вверенное ему «волчишкино сокровище» священо, а между тем делал из него большие заимствования. Он хвастался своими биржевыми операциями с акциями Северных железных дорог, а между тем эти акции катастрофически падали. Он гордо заявлял в письме, что все его долги погашены, а в следующем письме они возрождались.

Большой расточительный ребенок утверждал, что все будет уплачено из его доходов и что «волчишкино сокровище» увеличится на 50 000 франков за счет прибылей с акций Северных железных дорог. А если акции будут упрямо понижаться, он их скупит по дешевке и в конечном итоге выиграет. Граф Эрнест Ржевусский уже давно должен своей сестре Эвелине 25 000 франков; в конце концов он заплатит, и «волчишкино сокровище» возрастет на эту сумму. А зимой Бальзак погасит все свои долги, и у него еще будет своих собственных денег

20 000 франков. Словом, по мнению этого дотошного бухгалтера, все идет прекрасно. И тут же он в минуту прозрения добавляет: «О славный Лафонтен! Как хороша твоя басня „Перетта и кувшин с молоком“!» Признание очень милое, но неутешительное. Напрасно он заклинал:

Умоляю тебя, гони всяческие свои беспокойства и из головы, и из сердца. Никогда я не заключу ни одной сделки, о которой ты не могла бы сказать: «Это мне подходит», а то, право, твое письмо доставило мне огорчение — очень уж ты меня боишься. Я так уверен в будущем, что смеюсь над этими страхами, но я страдаю из-за твоих напрасных страданий...

Напрасно или не напрасно, но Эвелина страдает. И пожалуй, она права. Ведь в августе он благоразумно сказал: «Надо отложить всякое приобретение недвижимой собственности», а в сентябре купил дом № 14 на улице Фортюне в квартале Руль. Понравившееся ему название улицы получила по имени Фортюне Амелен, когда-то красавицы и законодательницы мод, владевшей на паях земельными участками, по которым была проложена улица. Особняк этот Бальзаку продавал некий Пьер-Адольф Пеллетро. Бальзака восхитила возможность сделки «из-под полы».

Если мы с господином Пеллетро сойдемся на сумме 50 000 франков, то в договоре поставим только 32 000, а 18 000 я заплачу ему через три месяца. Для обеспечения суммы, не включенной в договор, я дам ему в залог пятьдесят акций Северных железных дорог.

Пусть Ева воздержится от сердитой критики, ведь он заключил превосходную сделку! Ремонт будет стоить 10 000 франков, следовательно, дом обойдется в 60 000, а через четыре года цена ему будет 150 000 франков! Впрочем, говорит он с притворной скромностью, ведь это всего лишь «хижина для влюбленных». В действительности же это особняк в девять окон по фасаду. Обставлен он будет по-царски.

Ты сможешь спокойно принимать в нем свою кузину княгиню де Линь. У нее не найдется такой обстановки ни в одном из замков, во всех поместьях княжеского рода де Линь. Эта мебель из ряда вон выходящая...

Дом, построенный позади часовни Сен-Никола (принадлежавшей к приходу Сен-Филипп-дю-Руль), составлял часть загородной резиденции Божона. Там в царст-

вание Людовика XVI генеральный откупщик Никола́ Божон, богач, финансист, распутник и филантроп, уже имевший дворец на Елисейских Полях, построил себе павильон и мавзолей с куполом. Павильон предназначался для галантных празднеств; в часовне, посвященной небесному покровителю Божона, откупщик готовил себе усыпальницу, его там и похоронили. Бальзак писал Эвелине Ганской:

Весь Париж устремляется на Елисейские Поля. Если протянуть еще полгода, то дом, который я ныне покупаю за пятьдесят тысяч, поднимется в цене до ста тысяч, особенно если Луи-Филипп будет жив. Так что колебаться нечего... Я осмотрел часовню, она очень красива. Это Пантеон в миниатюре. В ней покоится Божон...

«Новый квартал Божона» начал застраиваться на территории парка, разрезанного на участки. Художников Гюдена, Жиро, Лемана привлекали туда тень и прохлада. Будущий «особняк Бильбоке» отличался довольно странной архитектурой. Фасад двухэтажного дома был вытянут вдоль замкнутого оградой двора, на улицу же выходила только торцовая стена в два окна. Потолки были низкие, садик — маленький. Но Бальзака прельщала романтический вид этого хорошо укрытого «гнездышка».

Оно такое же таинственное, столь же спрятанное, как моя квартира в Пасси. Тут при желании может жить инкогнито женщина, так как Божон устроил в доме потаенные апартаменты, специально предназначенные для дамы. Она может тут жить невидимая для всех и все видеть, все слышать...

Откупщик Божон охотно переходил от дел мирских к религиозным. Павильон его именовался *Каприз*, а спальня хозяина сообщалась с хорами часовни, так что Божон, встав с постели, мог слушать мессу, которую служил священник. Бальзак не преминул указать своей набожной возлюбленной на это небесное преимущество.

Могу тебе сказать, что именно заставило меня купить этот особняк: хотелось сделать тебе сюрприз. Твои религиозные привычки и твое благочестие — самое для меня прекрасное в твоём внутреннем мире, моя любимая, а дом, который я купил, примыкает к часовне Сен-Никола, приписанной к приходу Сен-Филипп-дю-Руль. Построил ее Божон и по завещанию передал приходу, оговорив для своих людей право входить в часовню через нижние двери, а для себя — пользование великолепными хорами, куда можно попасть прямо из комнат. Ты будешь проходить из своей спальни на церковные хоры.

Вот, ангел мой, что побудило меня купить этот особняк. Перед ним разбит сад, а позади него — красивая часовня. Право пользования ею оговорено в купчей, и другого такого дома не найдешь во всем Париже...

Поспешная покупка особняка, когда долги еще не были уплачены, дорогостоящий ремонт запущенного дома, в котором его прежний хозяин, спекулянт Пеллетро, никогда не жил, необходимость установить (с большими издержками) калорифер для борьбы с сыростью, вредившей прелестной стенной росписи; отсутствие конюшни, сарая и помещения для привратника (службы, имевшиеся в этом загородном доме Божона, были еще раньше проданы художнику маринисту Теодору Гюдону) — все эти «нелепости» очень раздражали Ганскую. Для успокоения своей *Eva furiosa*¹ Бальзак опять заговорил о часовне. Бесподобные церковные хоры стали повторяющейся темой в его письмах к Чужестранке.

4 октября 1846 года:

После проверки оказалось, что ты будешь единственной в Париже (помимо королевской семьи), кто имеет в своем распоряжении церковные хоры. Нужны были миллионы Божона, чтобы предоставить ему это королевское право. Госпожа де Маргонн при жизни своей заплатила бы за такое преимущество сто тысяч франков.

8 декабря 1846 года:

Подумать только! Моя прелестная жена сможет приходить из своих комнат, верхних и нижних, на свои собственные хоры, в часовне и слушать там богослужение. Я просто ошеломлен! Ведь это единственный в Париже дом, пользующийся подобным королевским или княжеским правом.

Бальзак признавал, что снаружи дом довольно неказист, «смахивает на казарму», а поэтому он намеревался собрать там столько диковинок, что его особняк станет похож на дворец из «Тысячи и одной ночи». Он уже посылал Ганской, приходившей в ужас от его намерения обставить десять комнат, планы архитектора Санти и бесконечные списки с перечнем необходимых гобеленов, стенных часов, китайских ваз, люстр, картин. «Это все фантазия некоего Оноре, которому хочется, чтобы все вокруг него было прекрасно, достойно тех чувств, какие воссияли в его душе, достойно красоты

¹ Разгневанной Евы (ит.).

его Евы, которая уже четырнадцать лет является его грезой...»

Осторожней! Как страшно взять в мужья человека, принимающего такие разорительные и несвоевременные решения. Да еще будет ли он хранить супружескую верность? Он ведь не всегда ее соблюдал. И возлюбленная удивляется, почему Сова все еще живет на улице Басс. Бальзак оправдывается. Сова ведет его хозяйство, вот и все; она проявляет ловкость во всех сделках, служит подставным лицом. Но совершеннейшая правда, что она угрожает ему всякими неприятностями. Следует ее выгнать, однако для этого нужно бросить ей в физиономию 7500 франков, а у Бальзака таких денег нет. «Я из-за вас никогда замуж не выйду! Вы меня за самую последнюю считаете», — плакалась Сова. Потом она заболела холерой, оттого что объелась дыней, это вызвало у нее кровавую рвоту. Бальзаку пришлось ухаживать за больной. Жизнь холостяка бывает иной раз ужасна. Но со стороны Евы несправедливо попрекать его экономкой. Ведь он работал день и ночь и поневоле оказался в положении ребенка, которому нужна няня. Вот почему «эта дрянь» стала незаменима, а вовсе не по той причине, которую подразумевает Эвелина. «Я очень хотел бы, чтоб она вышла замуж и убралась из моего дома; это так и будет, когда я вернусь».

Когда он вернется... Ведь он считает нужным отправиться в Германию, чтобы присутствовать на свадьбе Гренгале и Зефирины, но уехать из Парижа он сможет лишь после того, как напишет множество страниц, которые ждет столько газет. В «Ла Пресс» он обещал дать продолжение «Крестьян», и, чтобы добиться отсрочки, ему приходится ухаживать за толстой Дельфиной де Жирарден. Она приглашает его на обед в обществе Ламартина, и Бальзак делает поэту комплименты по поводу его политической деятельности. «Но какая же он развалина с физической стороны! Ему пятьдесят шесть лет, а на вид по меньшей мере восемьдесят. Полное разрушение! Конченный человек! Едва ли он проживет несколько лет. Его пожирает честолюбие, а дела идут плохо...» — пишет Бальзак Эвелине Ганской. После этой встречи Ламартин прожил двадцать три года, а Бальзак — только четыре.

Работа, которую он должен был закончить прежде, чем поехать в Германию, испугала бы любого другого писателя.

Вот что я собираюсь написать. «История бедных родственников»: «Старик Понс» — это составит два-три листа для «Человеческой комедии»; потом «Кузина Бетта» — шестнадцать листов; потом «Злодеяния королевского прокурора» — шесть листов; всего же двадцать пять листов, или двадцать тысяч франков, считая газеты и книжные издательства. Потом закончу «Крестьян». Все это покроет мои долги... Впрочем, сюжеты, которые я буду разрабатывать, мне нравятся, и работа пойдет чрезвычайно быстро. Мне нужны сейчас деньги. В книжных издательствах дела застопорились...

Надо было также выполнить некоторые обязательства по отношению к родным. Столкновений с матушкой больше не было, с тех пор как добропорядочный стряпчий Седийо стал буфером, предотвращающим ссоры. Бальзак встретил мать на улице Вивьен, и она с необычайным для нее жаром расцеловала сына. Лора навестила брата и рассказала, что для Софи нашли жениха — просто идеальную партию.

В качестве приданого суженый готов удовольствоваться акциями компании по постройке того моста, который Сюрвиль заканчивает сейчас на Юрской возвышенности. Жених богатый человек, он находит, что его Софи — красавица. Он владеет крупного предприятия по поставке балок и прочих лесных материалов, у него и земли, и дома, и капитал. Я сказал: «Соглашайтесь. В наше буржуазное время в Палату скорее пошлют лесоторговца, чем Ламартина. Только смотрите не тяните. Будете тянуть, свадьба расстроится, так всегда случается» ...Это будет четвертый брак. Первый — Сова; второй Анна; третий — мы с тобой; четвертый — Софи, Ну и год!

Ну и год! Богатый свадьбами, скудный трудами. Молчание Бальзака радовало его врагов. А у него всегда их было достаточно! Одни ненавидели его, потому что завидовали; других возмущали его манеры, а некоторые не могли ему простить его гениальности. Затишье в творчестве Бальзака недруги приписывали оскудению его таланта, а также газетным фельетонам. «На эту неблагодарную и банальную работу господин де Бальзак истратил весь свой талант и наблюдательность, свой дар смелого проникновения в жизнь, благодаря которым ему прощали все его безвкусицы и все недостатки в стиле; но вот он совсем выдохся...» — писал в 1846 году некий де Мазад в журнале «Ревю де Дё Монд». Единственным неопровержимым ответом мог бы оказаться новый шедевр. Но есть ли еще у Бальзака силы создать шедевр?.. Сил бы хватило, если бы только...

ВНЕШНИЙ МИР

Мир — это бочка, усаженная изнутри перочинными ножами.

Бальзак

Долгое время Бальзак способен был на многие недели забывать о внешнем мире и отдаваться своим писательским замыслам. В самые трудные дни он укрывался от житейских забот то в Саше, то в Булоньере, то во Фрапеле и вновь обретал там счастье творчества. Но к концу 1846 года и уединение уже не помогало. Бурный поток мыслей иссякал, чистые листы бумаги лежали нетронутыми. «Нам нужно наконец быть вместе,— писал Бальзак Эвелине Ганской.— На душе у меня то скливо». Павильон Божона, отданный в распоряжение архитекторов и подрядчиков, требовал надзора. Будущее существование Виктора-Оноре возлагало на отца обязанности. «Когда становишься отцом семейства, ничего нельзя делать вслепую». Поэтому Бальзак посвящает целые дни, отнятые им у «Человеческой комедии», изучению планов, чертежей и смет. В конечном итоге на отделку особняка потребуется 12 000 франков. Прибавить к этому сумму, заплаченную за дом, стоимость обстановки — и все вместе составит 77 000 франков. Ничтожная сумма за такой особнячок, самый лучший во всем Париже — по внутреннему убранству, разумеется, так как снаружи у него так и останется «несколько казарменный вид». Но года через четыре цена ему будет огромная. Слава Богу, убыток с Жарди покроется.

Иметь собственный дом — это еще далеко не все. Нужно его обставить и украсить. На это Бальзак решил употребить всю мебель, все вазы, все фаянсовые блюда, которые он купил во время своих путешествий... «Все, что ты называла моим сумасбродством, оказалось мудростью», — убеждает он Ганскую. Он «слишком рассудителен» и не станет заказывать красивые библиотечные шкафы, но считает себя «вынужденным» купить смиренские ковры. «Всегда гораздо экономнее покупать хорошие и прочные вещи, и я это прекрасно понял». Экономия, благоразумие, рассудительность — теперь у него только эти слова на языке, и они служат оправданием безумных трат. «Нам нужно повесить занавески

на девятнадцать окон; считая по триста франков на каждое окно, подумай, куда это нас приведет! Но если сделать временные занавески, это обойдется в две трети той суммы, которой будут стоить хорошие гардины». Итак, нужно купить гардины на веки вечные. Что это, безрассудство? Ведь деньги тратятся тут не на кокоток, не на табак, не на кутежи. Как же не купить постельных принадлежностей и белья? «Если ты найдешь красивые наволочки, не забудь, что нужно по дюжине наволочек на каждую постель. Наволочки желательно украсить вышитой каймой и вышивкой по углам. В Германии вышивают лучше, чем во Франции. А для тебя наволочки здесь отделают кружевами». Простыни, салфетки, тряпки — этот почтенный отец семейства беспокоится обо всем, все предусматривает, все покупает, все копит. «Рукоятки к цепочкам для спуска воды в наших уборных сделаны из богемского хрустала зеленого цвета», — сообщает он Ганской.

И он никак не может понять, почему его кумир тревожится. Да почему же? Через полтора месяца они поженятся и поселятся в своем доме. Он успел съездить в Метц, повидался с префектом, все идет хорошо. Подыскали скромного, послушного мэра. Бракосочетание произойдет в его мэрии, в ночное время. Свидетелями будут сын доктора Наккара и префект Жермо, а затем супруги получают благословение церкви от епископа в Метце или от приходского священника в Пасси. «Мы спасены! Но если бы ты знала, какие трудности пришлось преодолеть и сколько славных людей я встретил! Нарушения установленных правил будут ничтожны, и нам выдадут превосходное свидетельство о браке». Разумеется, если бы она могла устроить так, чтобы бракосочетание произошло в Висбадене либо в Майнце, тайна сохранилась бы еще лучше. Чего боится Эвелина? В ее письмах чувствуется какое-то смутное недовольство всеми его хлопотами. И от этого ему ужасно грустно. Неужели ее беспокоит денежный вопрос? Да стоит ему месяц поработать, и все уладится.

Бальзак по-прежнему верит в будущее, но факты — упрямая вещь, и с ними трудно спорить. Книги его не закончены, издатели требуют показать им рукописи, прежде чем оплатить их; подрядчики не желают ждать; матушка жалуется, а Сова вопит. Чтобы купить дом, пришлось тронуть «волчишкино сокровище». А оно уже

состояло только из акций Северных железных дорог. Если бы курс акций поднялся до тысячи франков, какое было бы счастье! Но курс, наоборот, падает с дьявольским постоянством, он уже на двести франков ниже номинала, и Бальзак не хочет продавать акции с убытком. Конечно, было бы лучше продать их по семьсот пятьдесят франков и снова купить по шестьсот франков. И дело тут не в том, что «непогрешимый провидец» ошибся, а просто Северные железные дороги, предприятие само по себе превосходное, захвачены общим экономическим кризисом. Люди боятся войны, боятся, что Луи-Филипп умрет. Бальзак не очень-то любил этого короля, однако ж он полагает, что для финансовых дел в стране смерть Луи-Филиппа была бы катастрофой. К тому же за акции еще полностью не уплачено — остается еще внести 28 000 франков или же продать их с убытком. Бальзак умоляет Эвелину помочь ему предотвратить удар, послав необходимую для взноса сумму. Она довольно грубо отвечает, что ни сейчас, ни в дальнейшем это для нее невозможно. Как же быть? Он занимает деньги у Ротшильда под залог акций! Жизнь печальна.

Увы! Эвелина Ганская потеряла доверие к нему. Она пишет: «Делай что угодно с теми деньгами, которые я тебе дала, милый Норе, но не разоряй меня». Какая несправедливость! Он не видит оснований жалеть о какой-нибудь из своих финансовых операций. «Брани меня, когда я виноват, и не брани, когда я поступаю хорошо».

Но она только и делает, что бранит его. Теперь ее страшит мысль вступить с ним в брак — все равно где, в Метце или в Майнце. Она хочет отсрочить свадьбу по крайней мере на год. Виктора-Оноре она родит втайне, и в случае нужды родители признают его в брачном договоре своим ребенком. Какой удар! «Твое решение странным образом меняет мои планы. Я мечтал о счастье, а оно отдалается по меньшей мере на год, а то и на пятнадцать месяцев...» Отчего же принято это жестокое решение? Помимо затруднений, связанных с законами, с семейными и светскими связями, Еве страшно соединить свою судьбу с судьбой человека, который считает себя воплощением здравого смысла, но так часто кажется совсем лишенным его. Разве Бальзак не сообщил ей в самый разгар своих финансовых бедствий, что хочет купить за 24 000 франков прекраснейшую коллекцию книг о театре? Выгоднейшее приобретение, и опла-

тить его можно с рассрочкой в четыре года, что составит всего лишь 6000 франков в год — сущий пустяк. Но ведь этого пустяка у него нет. Когда он просит свою «дорогую графиню» привезти из России для их брачного ложа с колонками горностаевое покрывало, она наотрез отказывается. Крупная помещица возмущена, видя такие безумства. «Знаешь, — пишет он ей, — у меня скоро будет фонтан, который Бернар Палисси сделал для Генриха II». А на кой черт этот музей? — спрашивает *Лиддида*. То Екатерина Медичи, то Генрих II. К чему эти выдумки?

Все как будто вступает в заговор против немедленного заключения брака. Пятого октября Бальзака посещает господин Жермо, префект Метца, и старается доказать ему, что бракосочетание, совершенное в департаменте Мозель, не удастся долго держать в тайне. Несомненно, префект настроен дружески, но, как человек осторожный, вероятно, поразмыслил над тем, что он и сам кое-чем рискует при этих нарушениях Гражданского кодекса. К тому же ввиду опасностей, грозивших украинскому поместью в том случае, если бы царь узнал о тайном браке его подданной с иностранцем, все юристы полагают, что лучше подождать, когда госпожа Ганская вернется в Польшу и вступит во владение наследством, оставшимся после ее покойного мужа; по возвращении она сможет свободно заключить второй брак. Бальзак в конце концов и сам с этим согласился: «Раз ты держишься такого мнения, то и я теперь так думаю».

А у себя на родине она для упрощения дела пусть передаст свои земельные владения Анне Мнишек.

Что касается меня, то я меньше всего на свете думаю об этих землях... Повторяю тебе, я своими собственными трудами составляю состояние, достаточное для нас обоих. В 1847 году я заработаю сто тысяч франков, написав следующие вещи: во-первых, окончание «Вотрена»; во-вторых, «Вандейцы»; в-третьих, «Депутат от Арси»; в-четвертых, «Солдаты Республики» и, в-пятых, «Семья». «Человеческая комедия» будет переиздана. За шесть лет труда я сделаю столько же, сколько сделал в Пасси. Это даст пятьсот тысяч франков.

Однако ж надо было прервать на несколько дней этот грандиозный труд и поехать в Висбаден, чтобы присутствовать в качестве свидетеля на свадьбе Георга и Анны. Поездка дала ему возможность провести во Франкфурте незабываемую ночь любви с «белоснежной и пышной чаровницей». Он сам составил сообщение

о браке молодых Мнишеков и, вернувшись в Париж, отнес его в «Мессаже» и в редакции пяти других газет.

Нам пишут из Висбадена.

Сегодня, 13 октября, в католической церкви города состоялось бракосочетание одной из богатейших в Российской империи невест графини Анны Ганской с представителем старинного и знаменитого дома Вандалиных графом Георгом Мнишеком. В числе свидетелей был господин де Бальзак...

По линии матери, урожденной графини Ржевусской, новобрачная является праправнучкой королевы Франции Марии Лещинской, а граф Георг Мнишек — правнуком последнего короля Польши и прямым потомком знаменитой и несчастной царицы Марины Мнишек, жизнь которой описана герцогиней д'Абрантес.

Эта заметка, весьма лестная для самолюбия одного из свидетелей бракосочетания, рассердила сестру Ганской Алину Монюшко, когда та прочла ее в Париже, и вызвала ироническую отповедь с ее стороны: «Она мне сказала, что род ваш вымерший, разорившийся, пришедший в упадок и т. д. и заметка не соответствует действительности... Просто ужасно, как твои близкие походят на моих...» Эта «снотворная Алина» все допытывалась, правда ли, что ее сестра собирается в скором времени второй раз выйти замуж. Бальзак осторожно ответил, что он очень хотел бы этого, но что ничего еще не решено, а впрочем, если бы это произошло, то его личное состояние, свободное от всяких долгов, составляло бы триста тысяч франков, да сто тысяч в год он зарабатывает своим пером. На это Алина, помрачнев, ответила с тяжким вздохом: «Так, значит, моя сестра сделала бы в смысле денег превосходную партию?» Настоящая сцена из комедии. Однако «богатый жених» ума не приложит, как и где ему достать денег, чтобы заплатить за особняк, за его ремонт, за мебель, за реставрацию резных панелей, росписи и обоев из тисненой кожи. А курс акций Северных железных дорог все понижается!

В небе, затянутом черными тучами, иной раз возникали просветы. Георг и Анна писали Бальзаку письма, и их счастье умиляло его.

Графу и графине Мнишек. 23 октября 1846 года:

Мои чудесные, прелестные, миленькие, дорогие мои влюбленные акробатики, папаша Бильбоке подает в отставку: ведь Гренгале подрос, да и Зефирина стала самостоятельной особой. В пьесе она выходит замуж за отвратительного Дюканталя; но мы все это

переменяли, как говорит Мольер. Зефирина обрела счастье с Гренгале, с Гренгале сфинксокрылым — чешуекрылым — жесткокрылым — допотопным, но надеюсь, не ископаемым...

Хочу сказать вам, как меня трогает свидетельство дружеской приязни, которым служит ваше письмо, ибо оно написано в ту пору, когда у двух таких очаровательных супругов, как вы, недостает времени и для самих себя...

Еще один луч солнца: Ротшильд дал займы восемнадцать тысяч франков для уплаты за дом. И наконец (а это самое главное), Бальзак снова может работать на полную мощность. Романы «Кузина Бетта» и «Два музыканта» продвигаются быстро, а за ними последуют «Крестьяне» и «Мелкие буржуа». Силы ему придает радостная надежда, что скоро он расквитается с кредиторами, заплатит за дом и «спасет кассу». Но какой это адский труд!

Ах, мой волчишка, ты не знаешь, что значит сочинять книгу за книгой! Хорошо читать их, если они хороши, но написать восемь книг подряд — это труднее, чем выиграть сражение под Йеной!.. Помолись за меня Господу Богу, спроси, чтобы всегда у меня на кончике пера были мысли, как постоянно будут на нем чернила. А ведь мне нужны не только мысли, нужен еще и стиль!..

Будут у него и мысли, и стиль. Массовое издание «Человеческой комедии» поможет ему вновь завоевать публику. Он испытывает подъем, оттого что «Судебное следствие» имеет успех. Подул попутный ветер. А тут еще начала печататься фельетонами «Кузина Бетта», и раздаются единодушные восторженные крики: «Вот шедевр!» Бальзак и сам удивлен: «Я и не думал, что «Кузина Бетта» так получится. Ты увидишь там сцены, лучше которых я еще не создавал за всю свою литературную деятельность... Впечатление у публики огромное — в мою пользу. Я победил!..»

Теперь все пойдет прекрасно. Волчок и волчишка будут счастливы и богаты. «О, 1847 год будет потрясающим!» Уже несколько месяцев Бальзак поглощен исправлениями и переделками «Человеческой комедии». Теперь, когда он может посвятить творчеству все свое время, он напишет за год двадцать романов и три-четыре театральные пьесы.

И вдруг грянул гром! Эвелина тяжело заболела и слегла в Дрездене. Доктора предписали ей лежать неподвижно, если она хочет сохранить ребенка. Бальзак в ужасе бежит к доктору Наккару. Тот успокаивает его.

Конечно, госпожа Ганская напрасно тронулась в путь до истечения пятого месяца беременности. Но все еще может обойтись. Увы, не обошлось. Ребенок, родившийся до срока, тотчас умер. Бальзак-Горио, обманутый в своих надеждах, плачет. Первым его побуждением было помчаться к ней. Но разве это возможно? Пришел срок нового взноса за акции Северных железных дорог, значит, сиди за письменным столом. Рухнули великие надежды.

Я уже так полюбил своего ребенка, который родился бы от тебя! В нем была вся моя жизнь. Поверь мне, крушение материальных дел — сущий пустяк... А вот теперь наше соединение, награда за жизнь, исполненную труда и лишений, едва начавшееся счастье — все теперь остановлено, отсрочено и, может быть, погибло! Но в конце концов, ты мне осталась, ты по-прежнему любишь меня. Вот за что я должен благодарить Бога, опять взяться за работу и ждать. Снова ждать!..

Он ждал уже тринадцать лет. А теперь еще и думал, что сам оказался невольным виновником большого несчастья, сначала в Солере, когда зачал ребенка, а затем в Висбадене, посоветовав своей Еве поехать в Дрезден вместе с молодыми супругами Мнишеками.

Никогда себе этого не прощу! Ведь, несомненно, эта тряска, толчки в поезде и вызвали ужасную беду, убившую столько надежд и счастья, не говоря уж о твоих страданиях. Лечись хорошенько, ведь эти болезни очень коварны, так как приводят к страшным последствиям, с которыми трудно справиться! Слушайся доктора, не выходи из дому, не волнуйся, не тревожь себя никакими заботами...

Никакими заботами? Почему же он сам-то не следует своему совету? «Ничто меня больше не занимает, ничто не радует, ничего мне больше не хочется. Вот уж не думал, что можно так полюбить зачаток существования! Но ведь в нем была ты, в нем мы были оба». Мрачные мысли стирают все остальные, и, сказав себе: «Я не могу съездить в Дрезден, иначе я потеряю двенадцать дней труда», он проводит эти двенадцать дней, отдавшись черным думам. Мозг его подобен теперь измученному, загнанному коню, который упал и лежит без сил, не чувствуя ни хлыста, ни шпор. Эвелина поручила Анне написать ему, что «волнение встречи с ним было бы для нее роковым». В два часа ночи он смотрит на огонь, тлеющий в камине, и, думая о ней, спрашивает се-

бя: «Почему нет писем?» Наконец письмо приносит ему некоторое облегчение: Виктора-Оноре не было, родилась и умерла девочка.

Ты не ослабила моего горя из-за тех мук, которые причинило тебе ужасное несчастье, но мои сожаления уменьшились, потому что я очень горячо хотел Виктора-Оноре. Уж Виктор-Оноре не покинул бы свою мать и был бы возле нас двадцать пять лет. Весь оставшийся нам срок жизни...

Лиддида поговаривает теперь о том, что ей пора вернуться в Верховню, чтобы навести там экономию и восстановить «волчишкино сокровище». Нет! Единственное сокровище — это она сама. Если они не поженятся в июле 1847 года, Бальзак за себя не ручается: «Горе меня сгложет, или я сам наложу на себя руки, чтобы покончить с такой жизнью». Тоска в самом деле подтачивает его здоровье, и он теперь так похудел, что на него страшно смотреть.

Помимо душевных мук есть и еще беда: его упорно преследовали парижские завистники, угрожавшие их счастью. Свет оказался «бочкой, усаженной изнутри перочинными ножами», о которых говорится в сказках Перро. Герцогиня де Кастри, хоть она и «стоит на краю могилы и похожа на разубранную покойницу», поворачивает один из этих ножей в сердечной ране Бальзака. Она коварно заводит разговор о некой графине Мнишек, польке, задававшей балы в годы Наполеоновской империи и кокетничавшей с герцогом де Майе. Знаком ли с ней Бальзак? Он делает вид, что не знает такой дамы, а когда упоминается имя госпожи Ганской, восклицает: «Но ведь ей пятьдесят восемь лет, и она уже бабушка!» Тогда Анриетта де Кастри начинает расспрашивать его об особняке Божона.

«Говорят, это безобразный дом». «Просто ужасный,— ответил я.— Форменная казарма, а перед ним садик — в тридцать футов шириной и в сто футов длиной. Двор похож на тюремный. Но что поделаешь! Меня прельстили уединенность, тишина и дешевизна...» И когда она поверила, что я устроился очень плохо, что я никогда не женюсь и что я опять пущусь во всякие безрассудства, она стала обворожительно любезна. Вот тебе и старый друг!..

Что касается Дельфины де Жирарден, у той ходившие о Бальзаке слухи вызвали приступ кокетства. Победа над Чужестранкой подняла в ее глазах престиж Бальзака. Когда он пришел к ней в гости и по чисто

писательской заинтересованности завел с ней долгую беседу о трудном начале ее супружеской жизни, она вообразила, что он питает к ней нежные чувства. Она попыталась разыграть сцену из его рассказа «Силуэт женщины». Бальзаку нужны были лишь материалы для романа «Беатриса», а Дельфина де Жирарден решила, что он ухаживает за ней. Ева может быть совершенно спокойна: как ни соблазнительны донжуанские замашки, но госпожа де Жирарден стала просто отвратительна. Однако ж он сопровождал ее в театр, и она тоже заговорила с ним о его женитьбе на Ганской.

Вот что я ответил ей: «Это было бы для меня так прекрасно, что я могу лишь надеяться, но не верить в это. Четырнадцать лет я люблю только одну эту особу благородной, чистой любовью. Я прежде всего ее друг, и до такой степени, что готов проехать полторы тысячи лье ради того, чтобы выполнить какой-нибудь ее каприз, и желал бы, чтобы у нее побольше было капризов. Я знаю, что, если мы не поженемся, она ни за кого не выйдет замуж. Быть ее другом — этого достаточно для меня, я гордился бы этим всю жизнь. Но если б она мне сказала (а я узнал бы это только от нее самой): «Я выхожу замуж за такого-то князя», я бы через десять дней умер... И тщеславие тут ни при чем, ведь четырнадцать лет она — вся моя жизнь. Вот и все. Уже давно ни состояние, ни имя, ни прочие вульгарные приманки, пленяющие мужчин, не играют тут никакой роли. Я питаю рыцарское, высокое чувство любви и надеюсь, мне отвечают взаимностью. Тому порукой глубокое благочестие этой дамы. Если б она сказала мне в ответ на мою дружбу, я потерял бы веру в Бога. Вот истинная правда о том романе, который сочиняют в свете; мне известно, что болтают обо мне, ровно ничего не зная».

По-видимому, мои слова ошеломили ее, она смотрела на меня странным взглядом.

«Я кажусь очень веселым, остроумным, даже легкомысленным, если хотите, но все это ширма, скрывающая душу, неведомую свету, ибо ее знает только она. Я пишу для нее, я ищу славы ради нее. Она для меня все — и публика, и будущее!»

«Вы объясняете мне, как была создана «Человеческая комедия». Подобный монумент можно воздвигнуть только так...»

Несомненно, писатель старательно выправил подлинный текст разговора для показа его своей возлюбленной. Однако ж Дельфина и газета «Ла Пресс» строили против него козни в Академии, и ему приходилось держать себя осторожно с супругой Жирардена. А кроме того, он боялся нескромной болтовни, которая могла бы разжечь претензии его кредиторов. Теофилю Готье, восхищенному великолепным убранством особняка Божона, он с лицемерным, ханжеским видом сказал: «Я теперь еще

беднее, чем прежде; все это мне не принадлежит. Я оставил дом для одного друга, который должен приехать. Я только сторож и привратник этого особняка».

С тех пор как Ева задумала возвратиться на Украину, начался спад его творческой энергии — Бальзак больше не может написать ни строчки; он сидит целый день за столом, как наказанный школьник, не в силах извлечь из своей головы ни единой мысли, хоть и пьет черный кофе чашку за чашкой. Вместо того чтобы писать романы, он читает чужие романы, и среди них ему попадает настоящий шедевр — «Чертова лужа» Жорж Санд. «Я все надеюсь, — пишет он Ганской, — что вот с минуты на минуту выскочит пробка, остановившая поток мыслей в мозгу...» Погода (декабрь 1846 года) стоит ужасная — дождь, снег. На сердце тяжело. Ничего на ум не идет, Бальзак все мечтает о «своем гнезде»; и ему кажется, что во всем Париже не найдется гостиной, которая своим убранством могла бы сравняться с гостиной в «доме Бильбоке» — «стены в ней обшиты великолепнейшими резными панелями», покупка которых избавила его от расходов на штофные обои. «У нас с тобой, двух безумцев, будет очень скромный домик. Зато обстановка в нем будет восхитительная...»

Тебе, должно быть, смешно, что великий твор-р-рец гр-р-рандиозной «Человеческой комедии» до такой степени пристрастился к мебелировке своего дома и прочим подобным делам, что непрестанно о них думает и говорит да вновь и вновь принимается за одни и те же подсчеты, как лафонтеновский башмачник, прикидывавший, куда он истратит свою сотню экю. Но что поделаешь, волчишка! Ведь это для нас с тобой...

«Для нас с тобой...» Однако для этого надо, чтобы Ева вернулась в Париж. Жить в особняке Божона ей пока неприлично, но Бальзак снимет для нее меблированную квартиру с садом в районе Елисейских Полей. Она может, если захочет, не раскрывать своего инкогнито, только пусть приезжает! Разлука с ней — для него смерть. Но Ганская все продолжает жаловаться на безумные расходы. Когда Бальзак получает из Дрездена «грозное письмо касательно бережливости», он задается вопросом, кто эти злые и глупые люди, чьим советам об осторожности следует его Ева.

Ах, волчишка! Если б ты не была в своем письме такой прелестной, такой любящей матерью, я мог бы пожаловаться, что ты проявляешь оскорбительное недоверие ко мне. А ведь мне сорок во-

семь лет, у меня уже пробивается седина. Я хочу иметь состояние, я ищу способов к этому. Я не желаю, чтобы повторилась история с Жарди и никакая другая ошибка, а ты воображаешь, будто я очертя голову пушусь в прежние глупости! Ты превращаешь меня в старого ребенка, в поэта, полного иллюзий!.. Будь спокойна, дорогой мой волчонок, больше найдется людей, которые считают меня скупым, чем таких, которые видят во мне расточителя...

Ему не удалось убедить ее. «После Божона будет Монконтур, все начнется сызнова. Я полюбила несправедливого расточителя!» Он отвечает: «А я полюбил милейшую особу, которая очень легко верит всему дурному и быстра на расправу! Но я уверен, что будущее отомстит за меня, когда ты увидишь, что я сделался скопидомом...» Впрочем, если она возвратится на Украину, он последует за ней. Что его может удержать во Франции? Уж, конечно, не слава и не меблировка дома. Он за месяц все ликвидирует и уедет с огромной радостью, с глубоким равнодушием ко всему, что не имеет отношения к ней. «Я даже не закончу «Крестьян», Боже мой, да я не напишу больше ни единой строчки. Я стану мечтателем и счастливейшим человеком в мире, буду собакой или мужиком моего волчонка, всегда буду близ тебя, не расставаясь с тобой...» Чего она ждет? Чтобы он состарился? А все-таки жаль, что она не увидит особняк Божона.

Все принимает достойный вид: закончили мостить двор, проложили тротуар, заасфальтировали дорожки в саду; ставят теперь на фасаде лепные украшения... Мы и снаружи не будем такими уж безобразными, как я полагал. Скоро начнем сажать, сеять, подстригать газон; устроим на стенах трельяжи для зелени — пусть в раю моей Евы все будет в полном порядке; пусть она не говорит, что Оноре упустил то или другое. Художник подкрашивает купол; Эдуэн освежает стершуюся роспись. Через три недели особняк будет неузнаваем.

А если б ты знала, сколько я накупил белья! Просто ужас! Четыре дюжины простыней для прислуги, сто тряпок, двенадцать дюжин салфеток и т. д. и т. д.

И пусть ее не мучает мысль, как оплатить все эти чудеса. В Санкт-Петербурге она говорила ему с лукавым и гордым видом: «Будь спокоен, ты женишься не на какой-нибудь бесприданнице». Прекрасно, он теперь может ей ответить. «Будь спокойна, ты выйдешь замуж не за какого-нибудь голодранца». В 1850 году он заплатит все свои долги, и «волчишкино сокровище» будет в целости; купленный особнячок поднимется в цене до трехсот ты-

сяч франков; у Бальзака будет шестнадцать тысяч франков дохода, из которых шесть тысяч ему предоставит Французская Академия. Частенько бывало, что Ева покачивала головой и смеялась над его финансовыми мечтаниями, но на этот раз все высчитано с математической точностью. «Сьекль» скоро переиздаст самые его знаменитые романы; в свою очередь и «Конститусьонель» собирается еще раз напечатать его произведения, имевшие успех: «Человеческая комедия» расходуется очень хорошо, это настоящий триумф. Есть только одно препятствие: в разлуке с любимой он больше не может работать, у него даже выпадают из памяти слова. Неуверенность приносит ему бесчисленные муки. «Хотелось бы мне знать: я ли буду жить в России или ты согласишься жить в Париже?»

И вдруг неожиданный поворот в планах госпожи Ганской: она обещает приехать на два месяца в Париж, а уж потом вернется на Украину, чтобы посвятить свою дочь и зятя в обязанности крупных помещиков. Бальзак сразу выздоровел. Два месяца обожаемая женщина будет возле него! «Два месяца, целая жизнь!.. Ах, только это и существует сейчас для меня! А потом пусть я погибну. Все мне безразлично, только бы на два месяца воплотилась в жизнь моя мечта! Я буду работать, я на твоих глазах допишу «Крестьян»!» Целебное средство тотчас подействовало. Бальзак пишет по двадцать — тридцать страниц в день. «Последнее воплощение Вотрена» закончено. К 25 января закончен «Кузен Понс» — роман, который, по мнению Верона, «тр-р-ребовательно-го Верона», оказался даже выше такого шедевра, как «Кухина Бетта». «Ах, волчишка, это все совершилось твоими милостями, твоими чудесами».

Ну, ясно тебе, как много счастья ты подарила мне? Не бойся, ты не разоришься, не узнаешь никаких мучений, если последуешь моим советам, то есть поселишься в снятой мною меблированной квартире на Елисейских Полях, будешь выходить из дому и прогуливаться со мною, лишь когда стемнеет, будешь вести жизнь, подобную той, которую вела Эстер в дни ее счастья, когда она жила на улице Тетбу, но, конечно, я с нею тебя не сравниваю, какие же могут быть сравнения, когда подобная любовь возгорается в чистом сердце! Это рай земной, рай еще пустынный, но созданный искусно...

К началу февраля 1847 года путь свободен. Бальзак едет во Франкфурт встречать Ганскую. Он снял на улице Нев-де-Берри квартиру на срок с 15 февраля по

15 апреля. Квартира находится в нижнем этаже великолепного особняка: прихожая, гостиная, столовая, три спальни, комната для прислуги, все покои расположены анфиладой, окна выходят в сад. Ганская будет иметь в своем распоряжении «превосходный наемный выезд».

Не могу свыкнуться с мыслью, что в субботу вечером буду держать любимую в своих объятиях, у сердца своего. Все кажется мне сном. И как то бывало, когда я шел в театр, становится страшно — а вдруг я опоздаю. Даже дрожь пробирает при такой мысли. Будем вместе два месяца! Два месяца брачного союза, будем жить в укромном уголке, втайне от всех, счастливые, ни с кем не видясь, совершая лишь вылазки в Консерваторию, в Оперу, к Итальянцам и т. д. Право, твой Норе с ума сойдет от счастья.

Будь спокойна: квартира стоит 330 франков в месяц; на стол — 370 франков, а всего — 700 франков, как раз столько, сколько получено от твоей сестры. Клади 500 франков на удовольствия, на экипаж и т. д. Общая сумма — 1200 франков, а за два месяца — 2400 франков. Считай еще 2400 франков на обратный путь, всего, следовательно, 5000 франков. Возьми с собой из осторожности еще 2000 франков. Итого 7000 франков — на февраль, март, апрель и май. Ну разве это так уж много? Ты ведь считала вдвое больше. Боже мой, как я изголодался по тебе, как жажду тебя!.

XXXVI

ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ

Любовь и ненависть — два чувства, которые сами себя питают, но из них ненависть живет дольше.

Бальзак

Великий писатель, томимый неутоленной жаждой любви, преследуемый навязчивой мыслью о браке, ребяческим стремлением собирать диковинки, страстями, тормозившими его работу, поистине уподоблялся героям своих романов. Однако творческая его мощь не угасла, и ум оставался светлым. Лишь только он немного успокоился за будущность своей любви и поверил в возможность приезда любимой к нему в Париж, сразу разгорелся пламень вдохновения и вызвал к жизни новые шедевры. Бальзаку даже удалось снова взяться за своих неподатливых «Крестьян», придать роману подлинно широкий размах.

Как мы уже говорили, замысел этого произведения подсказан был Бальзаку в 1834 году Венцеславом Ган-

ским, но автор отбросил первый свой набросок. Надо остановиться на «Крестьянах» более подробно, так как роман, бесспорно, имеет огромную историческую значимость. У Бальзака было много случаев наблюдать мир земледельцев — в Турени, у Жана де Маргонна и Жозефа де Савари, в Лиль-Адане — у Вилле-Ла-Фэ; в окрестностях Вильпаризи; да, быть может, и в Жарди. Он разгадал, где коренится одна из важнейших социальных проблем. Французская революция успокоила часть буржуазии, открыв ей доступ к власти; однако она не удовлетворила крестьянство. Крупные поместья были вскоре восстановлены, зачастую владельцами их становились генералы наполеоновской Империи, а позднее, при Реставрации, — и бывшие сеньоры. Деревенский люд не принимал этого возврата к прошлому; Бальзак, историк нравов, видел, какие многочисленные узы связывали между собой мелкую сельскую буржуазию — нотариусов, торговцев земельными участками, управляющих имениями, мэров — и крестьянство, которое эта буржуазия натравливала на новых феодалов.

Хотя книгу заказал ему Ганский, хотя будущая жена Бальзака сама была «крупной помещицей», писатель умел глубоко проникать в чувства своих персонажей и понимал недовольство крестьян. «Богатый ворует, сидя дома возле печки, — говорит один из героев романа, дядюшка Фуршон, — так оно много спокойней, чем подбирать, что валяется где-то в лесу... Видел я прежние времена, вижу и теперешние, дорогой вы мой ученый барин. Вывеску, правда, сменили, а вино осталось все то же!» А если помещиком становится не бывший сеньор, но буржуа? «...Вы все еще не расчухали, — говорит Фуршон, — что нынешние буржуа будут почище прежних господ... Что с ними бы случилось, кабы мы все разбогатели?.. Сами они, что ли, стали бы пахать? Сами стали бы хлеб убирать?..» Бальзак предсказал в «Крестьянах», что масса недовольных; порожденных Революцией, «когда-нибудь поглотит буржуазию, как буржуазия в свое время пожрала дворянство».

Если помещик податлив и позволяет соседу браконьерствовать на своих землях, его терпят. А если нет... Бальзак нарисовал воображаемое имение Эги близ Виль-о-Фэ (название скопировано с фамилии Вилле-Ла-Фэ, а поместье находилось где-то в Бургундии около Жуаньи, где супрефектом был Латур-Мезрэ). Куплен-

ное сперва «прелестницей» времен Директории, красивой оперной дивой Софи Лагер, имение Эги перешло в годы Империи в руки генерала графа де Монкорне, героя битвы при Эслинге, вспыльчивого великана, хрупкая супруга которого становится любовницей журналиста Эмиля Блонде, смазливового и остроумного разбойника пера. Управляющий имением Гобертен сначала думал, что ему можно будет и в царствование генерала продолжать выгодные махинации, которыми он занимался при жизни певицы. Но генерал Монкорне, не знающий обычаев края и в качестве образцового солдата возлагающий все свои надежды на благодетельную силу дисциплины, намеревается строго следовать закону.

— Вы кормитесь моей землей,— заявил ему граф.

— А по-вашему, мне надо было кормиться воздухом? — с усмешкой возразил Гобертен.

— Вон, убирайтесь отсюда. негодяй!

Уволенный Гобертен будет заменен честным Мишо. Но генерал неосторожно разворошил опасное гнездо термитов. Гобертен, продававший и скупавший земельные наделы, связан родством и свойством со всей округой и держит ее в руках. Председатель суда — его двоюродный брат и союзник. Ни о каких законах не может быть речи в этих деревнях, где царит грубое вожделение (алчущее клочка земли или насилия над девушкой) и где полевой сторож знает, что ему надо на все смотреть сквозь пальцы. Крупный помещик, личность праздная, всегда окажется побежденным. Он выиграет дело в окружном городе и все проиграет на своих землях, запутавшись в сетях корыстных интересов своих противников. Благородного Мишо убьют, и убийца так и останется ненайденным, ибо свидетели будут держать язык за зубами. Это преступление напоминает убийство Поля-Луи Курье *, происшедшее близ Тура в 1825 году, его подоплека была известна Бальзаку. Супрефект советует генералу Монкорне продать имение и вложить деньги в ренту.

— Чтобы я отступил перед крестьянами, когда я не отступил даже на Дунае!

— Да, но где ваши кирасиры? — спросил Блонде.

Через неделю после этого странного разговора по всему департаменту и даже в конторах парижских нотариусов были расклеены огромные объявления о продаже по

участкам имения генерала Монкорне. Местный ростовщик Грегуар Ригу приобретает всю землю, оставляет за собой виноградники, отдает леса Гобертену, а замок — «черной шайке» спекулянтов. Вывеску переменяли еще раз, но вино осталось все то же.

Проходит много времени после этих событий; Блонде, дошедший до последней степени нужды, хотя она и скрыта была под оболочкой блестящей светской жизни, уже близкий к самоубийству, получает письмо с черной сургучной печатью. В письме графиня де Монкорне извещает его о смерти своего мужа, после которого она осталась единственной наследницей. Сорокалетняя женщина дружески протягивает свою руку и предлагает значительное состояние человеку, который был ее возлюбленным в дни молодости. Эмиль Блонде становится префектом, женится на Виржини де Монкорне (дочери виконта де Труавиля и русской княгини Шербеловой). Легко представить себе, что, создавая такой конец книги, Бальзак думал о желанной для него развязке собственного романа: о женитьбе на русской аристократке, уже давно избравшей его своим возлюбленным.

Но, чтобы прийти к этой счастливой концовке своего произведения, писателю надо было преодолеть тысячу трудностей. Ему нелегко было проникнуть в крестьянскую среду, еще более скрытную, более замкнутую, чем общество Сен-Жерменского предместья. Правда, он уже изучал сельский мир, как это видно по романам «Сельский врач» и «Сельский священник». В «Социальном катехизисе» он рассматривал проблему цен на продукцию сельского хозяйства и утверждал, что Франции выгодно поддерживать их на очень низком уровне, «для того чтобы ее промышленность могла бороться с английской, которая является главным регулятором». Бальзак полагал, что процветание Франции могло основываться только на «крайней воздержанности» французских крестьян — этим эвфемизмом, фарисейским выражением прикрывалась ужасающая нищета деревни. В глазах Бальзака это был социальный факт, равносильный наличию в зоологии видов животных, обреченных на вымирание. В действительности же не было никаких оснований для того, чтобы земледелец соглашался приносить подобную жертву. Бальзак сознавал, что должен глубже изучить этот вопрос, чрезвычайно важный для мыслителя, желавшего быть историком своего времени.

Но ему все не удавалось в «Крестьянах» найти правильный угол зрения. Газета «Ла Пресс» заплатила Бальзаку девять тысяч франков в счет гонорара за обещанный ей конец романа, который она хотела напечатать фельетонами. Но конец так и не был написан, и Бальзаку пришлось возвратить часть полученного аванса. «Крестьяне» — посмертное произведение, оно появилось только в 1855 году. Эвелина Ганская, став женой, а затем вдовой Бальзака, пыталась прибегнуть к помощи Шанфлери, потом привлекла к сотрудничеству Рабу, чтобы дописать незаконченный роман. Оба они отказались; тогда Эвелина де Бальзак, безуспешно попытавшись сделать это собственными силами, удовлетворилась тем, что опубликовала наброски, сделанные Бальзаком еще в 1838 году, добавив к ним «лишь несколько своих песчинок и зернышек гравия». Вдова Бальзака поступила правильно. Книга эта — одна из прекраснейших в мировой литературе, полная глубокой правды, столь же верной ныне, как и в XIX веке. Она все так же ясно показывает, что нельзя командовать ни крестьянами, ни целыми народами с помощью юрисдикции, основанной на отвлеченных рассуждениях. Какой-нибудь Монкорне всегда столкнется в полях с противником, подобным Гобертену. Тут Бальзак, так же как и всюду, хочет, чтобы законы имели в виду живых людей, таких, каковы они в действительности. Правда, многие его упрекали за то, что из-за политических предрассудков он искажил (и даже оклеветал) крестьянство.

Лебединой песнью Бальзака, еще не старого годами, но преждевременно изнуренного тревогами, разочарованиями и бессонными ночами, оказался его диптих «Бедные родственники». Он знал, что делает решающую ставку.

Бальзак — госпоже Ганской, 16 июня 1846 года:

Настало время, когда мне необходимо создать два или три значительных произведения, чтобы свергнуть ложных кумиров убогодочной литературы и доказать, что я моложе, свежее и сильнее, чем прежде. «Старый музыкант»¹ — это бедный родственник, угнетенный, оскорбленный, но человек большого сердца. «Кузина Бетта» — это бедная родственница, униженная, оскорбленная женщина, которая служит интересам трех-четырех семейств и в конце концов мстит им за все свои обиды...

¹ «Кузен Понс». — *Примеч. автора.*

Это симметрическое разрастание темы нравилось писателю. Вначале он собирался написать две новеллы. Основой для одной из них — «Кузен Понс» — послужил рассказ Альберика Секона «Два фаготиста Гранд-Опера». «Вот увидите, что я извлеку из вашего сюжета», — сказал Бальзак молодому писателю. И он столько вложил своего, разрабатывая эту тему, что новелла превратилась в большой роман.

Такой коллекцией, как у старика Понса, Бальзак хотел бы обладать (и даже воображал, что составил ее). Так же как Понс, он обожает рыться в старинном хламе у антикваров; подобно Понсу, боится, как бы посетители не осквернили его сокровищ, взирая на них глазами профанов. Кроме самого себя, у Бальзака тут было достаточно прототипов: Даблен, щупленький торговец скобяными товарами, собирал старинные ценные вещи; у Соважо, первой скрипки в оркестре Оперы, любовь к музыке сочеталась, как у Понса, с интересом к старинным вещам, а этот Соважо переписывался с Бальзаком. Воплощаясь в жизнь, тема «бедных родственников» отодвинулась на второй план. Подлинный сюжет романа — страстная дружба Шмуке, трогательного учителя музыки барышень де Гранвиль («Дочь Евы»), с Сильвенем Понсом; трагедия Понса, лакомки и прихлебателя, внезапно лишенного вкусных трапез, изгнанного и опозоренного своей родственницей госпожой Камюзо (как изгнан был аббат Бирото вероломной девицей Гамар); злобные хитрости привратницы, желтоглазой старухи Сибо, и ужасного Ремонанка, похожего на чудовище морских глубин; незаслуженное состояние, полученное супругами Камюзо, которые так преследовали своего родственника Понса, а когда он умер, захватили оставшееся после него наследство, ограбив беднягу Шмуке, — словом, темой романа является драма невинных душ, на которых нападают со всех сторон, запугивают их, опутывают сетями интриг. Драма маленьких и беззащитных людей! Нельзя не восхищаться, видя, как гениальное дарование писателя, его проникновенный взгляд на мир обогатили скудную новеллу Альберика Секона. «Мне по крайней мере кажется, — писал Бальзак, — что это один из шедевров, где все так просто и вместе с тем все говорит сердцу человеческому. Суть здесь так же глубока, как в «Турском священнике», но более ясна и столь же печальна, как там. Я в восторге от этой вещи». И Бальзак имел право

говорить так. Роман «Кузен Понс» до сих пор глубоко волнует читателя.

Книга эта остается значительной и как картина, рисующая жизнь мелкой буржуазии и типы простолюдинов, весьма отличные от той парижской среды, какую чаще всего описывал Бальзак, — среды обитателей богатых кварталов, на которые он около 1822 года с жадностью взирал с холма кладбища Пер-Лашез и куда в конце концов ему удалось проникнуть. В «Человеческой комедии» мы чаще встретим герцогинь, чем гризеток. «Цезарь Бирото», «Чиновники», «Мелкие буржуа» являются исключениями. Журналисты и художники, фигурирующие в «Утраченных иллюзиях», связаны через газету, театр и мир куртизанок со «сливками общества», живут в преддверии высшего света времен Реставрации. Роман «Кузен Понс» относится ко временам Луи-Филиппа, действие в нем начинается в 1843 году на Ганноверской улице, у Камюзо де Марвиля, но очень быстро перемещается на Нормандскую улицу, в квартал Марэ, где в жалкой квартирке на четвертом этаже живет Понс, создавший у себя настоящий музей — чудесное собрание шедевров. Этот облезлый, облупившийся дом — опасные джунгли, и перед нами мелькают бегло набросанные угрюмые фигуры их обитателей: гадалка с ее ассистенткой, жабой Астартой; продажный стряпчий, ходатай по делам бедняков. Но каким чудесным светом поэзии озаряет эту мрачную историю нежная человеческая дружба (о которой так мечтал Бальзак)! Да, он доказал своим хулителям, что «никогда еще не был так велик».

Роман «Кузина Бетта» тоже необыкновенно разросся в процессе его создания. Первоначальную идею Бальзаку дала, как это уже случалось, Лора Сюрвиль своим рассказом «Кузина Розали», напечатанным в 1844 году в «Журнале для детей». Брата и сестру с детских лет соединяли родственные черты воображения. Но там, где Лора бесхитростно рассказывала «простую ясную историю, исполненную благонравия и добрых чувств», Бальзак создал, по словам Пьера-Жоржа Кастекса, «сложную, не слишком пристойную и жестокую книгу». Бетта — «инфернальная личность», сжигаемая пламенем ненависти, как «виноградная лоза», обратившаяся в изогнутый огненный прут. Страшный характер Бетты как будто сам собою создавался под пером писателя. Бальзак

вновь переживал экстаз стихийного творчества, к действующим лицам «Человеческой комедии» прибавились новые персонажи: Лизбета Фишер, Валери Марнеф, бразилец Монтес, Аделина и Гектор Юло.

Приемы письма остались те же, что и в «Утраченных иллюзиях»: идея опиралась на реальную действительность, элементы которой воображение расширяло, создавая незабываемые чудовища. Так нарисован был и образ самой кузины Бетты: Бальзак писал, что это и его собственная мать (у которой он, конечно несправедливо, открыл, как ему кажется, под внешней оболочкой материнской привязанности тайную ненависть к нему), это и Марселина Деборд-Вальмор, и тетушка Розалия, его заядлый враг в семье Ржевусских. Можно предположить, что и госпожа де Бреньоль, «взбесившийся ньюфаундленд», тоже дала некоторые штрихи для этого образа. Лизбет Фишер, некрасивая, бедная, униженная, строит дьявольские планы, чтобы разорить и опозорить семейство Юло, восстает против него, так же как Сова ополчилась против Эвелины Ганской.

Барон Юло (родной брат маршала Юло, с которым мы познакомились в «Шуанах»), военный интендант, член Государственного совета, командор ордена Почетного легиона, оказался старым распутником и все глубже опускался в адскую бездну похоти. Высказано было предположение, что для супругов Юло могли быть взяты черты реальной супружеской пары: Виктора Гюго (Гектор Юло) и Адель Фуше (Аделина Фишер). Кроме удивительного звукового сходства имен, Гюго, пэр Франции, за год до написания романа был уличен в любовной связи с Леони Биар, как Юло — с Валери Марнеф. Надо сказать, что отношение Бальзака к Гюго всегда было двойственным; Гюго восхищался им, Гюго поддерживал его кандидатуру в Академии; Бальзак восторгался Гюго как поэтом, но довольно несправедливо осуждал его как человека. Возможно, что инцидент с Леони Биар был использован в романе «Кузина Бетта», как и многое другое.

Бернар Гийон полагает, что и в самом себе Бальзак, которого преследовали тогда неотвязные эротические мысли, мог найти кое-какие черты для создания образа Юло. Говорили также, что прототипом Юло послужил отчасти некий граф д'Ор, член Государственного совета,

умерший за год до написания романа. В области художественного творчества все возможно. Мужчины, женщины, друзья, любовницы, распутство, наслаждения и сам автор становятся материалом, который бросают в горнило. Говорит ли Бальзак о себе или о Гекторе Юло, когда пишет: «Ежедневно, разглядывая себя в зеркале, в конце концов, по примеру барона Юло, люди приходят к заключению, что они мало изменились и все еще молоды, тогда как другие видят, что наша шевелюра уже напоминает мех шиншиллы, на лбу треугольниками врезались над бровями морщины, а живот выпятился, как большая тыква». Центральной темой книга напоминает романы «Отец Горио», «Евгения Гранде», «Поиски абсолюта», ибо и там и тут говорится о разрушении семьи и ее достояния из-за всепожирающей страсти (в данном случае — старческого эротизма). Семья Юло долго и упорно борется с безумцем; но страсть, восставшая против природы, нахлынула чудовищной волной и все затопила.

После смерти Валери Юло живет с фигуранткой театра, с работницей и, наконец, с очень юной девушкой, почти ребенком, которую ему продали родители. Напрасно домашние пытаются держать его взаперти. Он убегает по ночам к безобразной неряхе служанке, живущей в мансарде их дома. Не только он сам становится слабоумным и гнусным стариком, он увлекает за собою и свою жену, святую женщину, тянет ее на тропу, ведущую к бездне. «Скажи мне, — молит она, — что они делают, эти женщины, чем они так влекут тебя? Я постараюсь...» Однако «бесноватые счастливы на своем гноище». Из всех произведений Бальзака это самое жестокое и самое прекрасное. Но сверхчеловеческие усилия, которых оно стоило ему (книга написана была за два месяца), окончательно подорвали его здоровье.

Ева наконец извещает о скором своем прибытии. Бальзак должен ехать во Франкфурт встречать ее. Благодаря вспышке работоспособности у него есть немного денег. Идет переиздание «Человеческой комедии»; он продал «Кузена Понса» и «Последнее воплощение Вотрена» и даже едва начатый роман «Депутат от Арси». В Париже Ганская возьмет на себя расходы по хозяйству, Бальзак должен предоставить постельное и столовое белье и серебро. Однако нужно внести вперед квартирную плату за два месяца (шестьсот шестьдесят фран-

ков), нанять кухарку, уволить Сову и рассчитаться с ней. Но все это неважно! «Как мало значат деньги в сравнении с любовью!» Будущее прекрасно!

И он пишет Ганской:

Теперь я живу только той мыслью, что на этой неделе увижу тебя, я уже впиваю твое дыхание, сжимаю тебя в объятиях, ощущаю ткань твоего платья! Думается, я по меньшей мере полдня не буду сводить с тебя глаз, наслаждаясь счастьем смотреть на тебя...

Он добавляет:

В первый раз мы будем вместе, и одни, совсем одни. Нам ни перед кем не придется сдерживаться, и мы оба дадим волю своему дурному характеру. Я тебя стану колотить, а ты — бранить меня...

Четвертого февраля 1847 года он поехал во Франкфурт и привез оттуда «добрую, пышную, нежную и сладострастную Еву». Сладострастную? Да, несомненно. Нежную? Не всегда. Она истерзала ему сердце, когда он показывал ей особняк на улице Фортюне. Он ждал восторженных возгласов, а она все раскритиковала. Слишком много столов наборной работы, слишком много бронзы, слишком много мрамора, слишком много шкафов, инкрустированных медью и черепахой. Зачем он потратил целое состояние на убранство такого «мрачного и нелепого» дома? Хороша награда за все его труды и любовную заботу! Да и как она может судить об этом особняке, когда он весь в лесах и еще не закончили свою работу штукатуры?

На то время, пока Ганская гостила у него, он забросил почти всю работу, чтобы водить свою Еву в Пале-Рояль к Вери (где Люсьен де Рюбампре, приехав в Париж, дерзнул пообедать и заплатил за обед столько, что мог бы прожить на эти деньги в Ангулеме целый месяц); водил он ее и в другие модные рестораны, на Выставку изящных искусств, в Варьете, где она превесело хохотала. Дома они держали очень скромный стол. «Целых два месяца,— читаем мы в его письме к Ганской,— я видел, как очаровательная женщина ежедневно ест рагу из остатков вчерашнего жаркого, а свежие бифштексы оставляет своему волчку, и ни разу я не сказал ей нежного спасибо! Но я это видел и был этим тронут...»

Прошло два с половиной месяца жизни с глазу на глаз, и Ева уехала из Парижа; он проводил ее до Франкфурта и вернулся один, «как тело без души».

Прощай, моя дорогая, любимая, сокровище мое! Вверимся надежде, как ты говоришь. Это последняя буря, последние наши невзгоды... Тысячу раз обнимаю, тысячу раз целую тебя, мой миленький Эвелино. Люблю тебя еще больше, чем прежде. Хочу, чтоб ты стала моей женой, а без тебя и жить мне не хочется...

Произведения, созданные Бальзаком после расставания с его Евой, подернуты дымкой грусти. С 1829 по 1842 год его несла волна воспоминаний, он рассказывал о своей юности и радовался своим удачам. После смерти Венцеслава Ганского мир воображаемый потускнел. Вместо туманных мечтаний о славе и любви, которые его вдохновляли и поддерживали, существовало одно-единственное и четкое желание, неотвязно преследовавшее его, — брак с любимой женщиной. В некоторых написанных тогда романах («Онорина», «Альбер Саварюс») отражена тоска мужчины, сомневающегося в том, что его любят, или же пессимизм разочарованного человека («Крестьяне», «Бедные родственники»). Бальзак надеется закончить свое грандиозное творение. «Вот уже шестнадцать лет я работаю над ним, и мне надо еще восемь лет, чтобы его завершить», — пишет он Зюльме Карро. Этот моралист хотел бы придать «Человеческой комедии» (с помощью «Аналитических этюдов») глубокий смысл, не оставить свой монумент непонятым. Хватит ли у него на это сил и времени?

XXXVII

ТЕЛО БЕЗ ДУШИ

Видали вы когда-нибудь, как лев зевает в зоологическом саду? Это грустное зрелище.

Бальзак

Надо признать, что в отчаянии Бальзака, лишившегося своей любовницы, есть нечто от барона Юло. Возбуждающие, чувственные воспоминания мешают ему работать. Пребывание любимой в Париже не дало ему того, о чем он мечтал: Ганская устраивала ему такие тяжелые сцены, что он помнил их до конца жизни. Но он уже не может обойтись без нее. «Мой милый волчишка, если б я не любил тебя до обожания, меня уже давно не было бы на свете. Я все делаю только ради те-

бя и только благодаря тебе! У меня больше нет своего собственного существования...» Он чувствует себя глубоко одиноким — нет у него ни друзей, ни семьи. Как-то раз, перебирая свои вещи, он нашел вышитые домашние туфли и записку, написанную карандашом: «Я вышила эти туфли в те часы, когда оставалась одна, а вы где-то бегали». Он вдруг разразился слезами и два часа плакал, запершись в своем кабинете. Рассказал он об этом Ганской не для того, чтобы растрогать «грефин» (как он говорил, передразнивая немца-лакея, всегда так называвшего Ганскую), — нет, это душевная реакция изнуренного, больного человека, ставшего крайне чувствительным.

И все же ему приходится бегать по всему Парижу. Во-первых (Бальзак по-прежнему любил такие перечисления), Сова, перед тем как убраться с улицы Басс, украла любовные письма Эвелины к Бальзаку и соглашалась вернуть их только за весьма большой выкуп. Она грозилась написать дочери и зятю госпожи Ганской (вернувшись в Польшу) и послать им копии похищенных писем. Для матери это было бы ужасным унижением. Стряпчий Габо советовал пойти на мировую и выкупить компрометирующие письма. Бальзак вступает в переговоры, предлагает пять тысяч франков — сумма для него огромная, так как он кругом в долгах. Прокурор и комиссар полиции тоже уговаривают Бальзака взять обратно его жалобу в суд по обвинению госпожи де Бреньоль в воровстве и в шантаже. Судебный процесс обошелся бы не в пять тысяч, а дороже, да еще дело получило бы отвратительную огласку. Непомерно дорого обходится и правосудие, и нарушение законов.

Встречи с этим ядовитым созданием, переговоры с ней приводят Бальзака в лихорадочное, нервное состояние. Наконец в июле госпожа де Бреньоль возвратила письма в обмен на плату чистоганом. Разумеется, она попыталась сохранить одно-другое письмо, касающиеся Виктора-Оноре. Бальзак со своей стороны хранил письмо, в котором негодяйка признавалась, что украла переписку, а на основе этого признания она всегда могла быть привлечена к суду. Лишь только письма были возвращены, он сжег их, в последний раз взглянув на дорогие пожелтевшие листочки, приходившие с Украины, из Швейцарии, из Италии, Германии, потом по-

смотрел на пепел и снова заплакал: «Я затрепетал, увидев, как мало места занимают пятнадцать лет жизни. Что ж, огнем души они написаны, огнем земли погублены!..» После тягостного эпизода с Совой Эвелина потребовала уничтожения всех своих писем.

Во-вторых, пришлось переселиться на улицу Фортюне и там самому расставлять по полочкам и по этажеркам статуэтки из саксонского фарфора, вазочки с бледно-зеленой глазурью, большие китайские вазы. Эта механическая работа утомляла его, зато спасала от отчаяния. Да и что могло сравниться с тишиной, царившей на улице Фортюне: там он чувствовал себя совсем как в деревне. Он обещал Еве больше ничего не покупать и старался сдерживать обещание. Но ведь что надо, то надо! Кухня, да и буфетная тоже не оборудованы. А тут представляются «потрясающие случаи». Как же их упустить! Например, он нашел комод, творение Ризнера, с выдвижным верхом наборной работы — верх очень пригодится, из него можно сделать прекрасный стол. К сожалению, этот великолепный комод, кажется, стоит тысячу, а то и две тысячи франков. Бальзак входит в магазин, спрашивает цену: «Триста сорок франков!» Как тут устоять? Было бы безумием отказаться от него! К тому же, приобретя комод, покупатель обнаружил (как он говорит), что вещь эта принадлежала сестре Наполеона, Элизе Бонапарт. «Вещь уникальная, оригинальная, королевская», — восхищался Бальзак в письме к Ганской.

Но пусть Ева не тревожится. Он стал рассудительным и осторожным. Пожалуй, даже чересчур. Видел, например, две замечательные вазы, которые очень подошли бы к его кабинету, но отказался от мысли купить их. Зато он приобрел портрет, по-видимому, набросок, сделанный Тицианом; старинную китайскую вазу темно-синего цвета; консоль работы Буля; кариатиду в виде скульптуры из дерева. «Вы, конечно, полагаете, что я совсем разорился, погубил себя? — оправдывается он перед Ганской. — Но я заплатил за все лишь триста пятьдесят франков!» А удовольствия от этих покупок он получил на шесть тысяч франков. «Нужно еще приобрести три-четыре вещицы для ватерклозета, превосходного ватерклозета...» Ох уж этот ватерклозет!

Пришлось купить для этого потайного уголка, во-первых, хорошенькую кушетку; во-вторых, за пятьдесят франков угловой шкафчик, чтобы убирать в него известный вам предмет, а на него ставить кувшин; в-третьих, полочку для подсвечника; в-четвертых, три консоли палисандрового дерева для вазочек с цветами. Вы меня спросили в Майнце, что я собираюсь делать с купленной чашей из китайского фарфора. Ее употребляют на то, чтобы стряхивать в нее воду со щетки. Надо, чтобы в этом уголке было приятно находиться, и у меня там красиво, как в будуаре, но видите, сколько это стоило!

Из Верховни он получает суровую отповедь. «Довольно!» — восклицает *Eva furiosa*. Хорошо. Однако нужно купить будильник, старый испортился, не ходит; Бальзак видел в лавке добротный красивый будильник, стоивший только сто франков, но не решился приобрести его. «Я теперь не куплю и за десять су то, что стоит тысячу франков... С тратами покончено». Раз его боже-ство полагает, что у Бильбоке страсть к покупкам, что это своего рода порок, а не благоразумие и осторожность, то он вернется к строжайшей, «квакерской простоте». Он не заглянет ни в одну лавку.

Ваше величество, не снимете ли вы запрет с приобретения ларя, самого обыкновенного рундука красного дерева, в каковой рундук буду ставить мои башмаки и сапоги, а также запрет с приобретения комода для хранения моего белья в гардеробной? Ежели сии покупки являются нарушением закона, я по-прежнему буду засовывать свои башмаки в жардиньерки на лестнице — в пустующие жардиньерки, поскольку покупать цветы мне не по карману: я ведь ничего не пишу, ничего не зарабатываю, а потому не имею права тратить деньги.

В-третьих, с финансами дело обстоит очень плохо. Акции Северных железных дорог все падают, несмотря на чудодейственные биржевые рецепты. Бальзак (вернее, Ева Ганская) потеряет на них 60 000 франков. Чтобы покрыть убыток, нужно было бы прикупить еще двести семьдесят пять акций по низкому курсу, и, когда он поднимется до 650 франков (сейчас он 560 франков), получится выигрыш в 25 000 франков вместо потери в сумме 50 000. Вот что могут сделать богатые люди. Но несчастные волчки и волчишки, не обладающие капиталами, получают одни только убытки. С ума сойти! «У меня нет философического отношения к таким делам». Эта операция с акциями Северных железных дорог, считая и предстоящие взносы, обойдется им в 130 000 франков. «Неудивительно, что я жалею, зачем

связался с несчастным домом, за который еще надо платить и платить». Однако ж этот особняк, такой маленький, такой скромный, полон прекрасных произведений искусства. «Нам необходимо приобрести два горностаевых покрывала для постелей... Только горностаи и гармонируют с этой артистической, вавилонской и даже восточной пышностью убранства...» Понадобится десять «Лилий долины», чтобы оплатить столько чудес. Он их и напишет будущей зимой в Верховне.

Он дает себе слово потрудиться как следует на Украине, а в особняке Божона работа у него не спорится. «Мой ум ни на чем не может сосредоточиться; я затрагиваю множество сюжетов, и все они становятся мне противны... Целыми часами я предаюсь воспоминаниям и, право же, совсем оступел». Его гложет тоска, на него нападает хандра, и напрасно он пытается «подхлестнуть обессиленный мозг». Мозг работает вяло... А ведь у Бальзака есть обязательства, он дал обещания и должен их выполнить: закончить «Крестьян», написать роман «Депутат от Арси».

Как трудно засесть за работу! Однако нужно добыть 18 000 франков ренты и выплатить 55 000 долгу — на все это требуется капитал в 600 000 франков. Работай, несчастный автор «Человеческой комедии», пиши «Воспитание государя», сочиняй романы, сочиняй... грошовые пьесы. Плати за свою роскошь, искупи свои сумасбродства и жди свою Еву в аду мучений перед чернильницей и девственно чистой бумагой...

Надо отослать «Крестьян» в «Ла Пресс», но его тошнит, когда он пробует перечитать рукопись. Единственный труд, доставляющий ему теперь удовольствие, — это сочинение писем, длинейших писем к своей «далекой принцессе». «Ну что ж вы хотите! Мысли мои следуют за сердцем, и как же мне писать «Крестьян»?..» У него теперь другая идея: написать пьесу «Оргон» — продолжение мольеровского «Тартюфа», но в комедии Бальзака весь дом будет жалеть о Тартюфе, и в ней будет показано торжественное возвращение лицемера, которого приветствуют и Мариана, и Эльмира, и госпожа Пернель. Но пьесу надо написать в стихах, а Теофиль Готье отказывается сотрудничать с Бальзаком. «И вот мне пришла в голову мысль дать один акт Шарлю де Бернару, два акта — Мэри, а еще два акта распределить между двумя другими поэтами».

Выясняется, однако, что тут коллективный метод ра-

боты непригоден. Рассчитывать можно только на самого себя. Бальзак вновь принимается за черный кофе. В неделю у него ушло полкилограмма кофе. Не написал ни строчки. Даже под потоками мокко мозг отказывается работать. Он буквально угасает от какой-то непонятной болезни, вызванной тем, что рушится надежда на счастье, которое было так близко. Лоран-Жан, встревоженный бездействием Бальзака, принес ему Диккенса («Сверчок на печи»), чтобы развлечь друга. Бальзак делится с Ганской своими впечатлениями: «Эта книжечка — настоящий шедевр, без малейшего изъяна. За нее Диккенсу заплатили сорок тысяч франков. В Англии платят лучше, чем у нас!..» И вот жестокий удар — дерзкое письмо Жирардена, где говорится, что если газета «Ла Пресс» и настаивает на опубликовании последней части «Крестьян», то лишь потому, что за Бальзаком числится недоимка — он возвратил не всю сумму полученного им аванса. «Если бы вы могли расквитаться с нами полностью, я охотно отказался бы от «Крестьян». Бальзак взвился на дыбы, как от удара хлыстом: «Вопреки вашему мнению я считаю свою книгу превосходной». Грубость Жирардена он объясняет опубликованием в «Ла Пресс» фельетона Даниеля Стерна (псевдоним госпожи д'Агу), «синего чулка», питающей ненависть к Бальзаку со времени выхода в свет «Беатрисы». Единственным неопровержимым ответом хулителям могла быть только новая прекрасная книга. Но «дом мой омерзителен, литература глупа, и я сижу сложа руки, когда мне нужно работать».

Чем объясняется это долгое бессилие? Прежде всего тем, что для литературного творчества необходима глубокая сосредоточенность. Раньше, когда Бальзак столько создавал и на улице Кассини, и на улице Батай, и на улице Басс, а еще больше — в Саше, во Фрапеле, в Булоньере, он забывал весь внешний мир. Теперь же душу его томит тревожная, почти болезненная любовь, и, помимо того, особняк на улице Фортюне налагает на него множество докучных обязанностей. Приходится, например, самому нанимать прислугу. Он дает расчет Милле и заменяет его эльзасцем Франсуа Мюнхом, будущим кучером «дорогой графини». Занелла, вошедшая в милость, предлагает ему превосходную горничную, набожную бельгийку, которая умеет шить, стирать и гладить. Трое слуг — значит, 90 франков в месяц на жалованье

им, да еще надо прокормить их; следовательно, хозяин должен иметь 12 000 франков годового дохода. Во времена Бальзака, при его славе, жить на широкую ногу считалось вполне естественным. Но едва он решил, что подобрал себе надежную прислугу, как вдруг оказалось, что вероломная Занелла предает его. Она пообещала его соседу, художнику Гюдену, показать весь дом в отсутствие Бальзака, как привратница Сибо показывает Ремонанку коллекцию, собранную кузенком Понсом. Лишний раз мы видим, что жизнь повторяет литературные произведения. Бальзак удручен печальным и мерзким опытом! «Я верю теперь только Богу и моей дорогой девочке».

Потом является и отнимает у него время свирепая Алина Монюшко, сестра и враг Евы Ганской, которой она в детстве кулаком разбила нос. Дама эта, загостившаяся в Париже, находит, что Бальзак очень любезен, когда около него нет Евы. Ее Ржевусское величество сама приказала ему: «Ослепите мою сестру». Алина больше чем ослеплена — она поражена, потрясена, ошеломлена. Осматривая «гнездышко» на улице Фортюне, она будто бы произнесла слова, достойные кухни Бетты.

Она пришла в ярость при мысли, что этот, как она выразилась, дворец (где решительно все, вплоть до самого обыкновенного гвоздя, говорит о том, что это жилище обставлено для обожаемой женщины) будет принадлежать ее сестре, которую она колотила в детстве. «Ну что такое Верховня в сравнении с этим очаровательным особняком? — заявила она. — Я нигде не видела ничего подобного. Верховня, господин де Бальзак, — это образец безвкусицы, ибо мой дорогой зять как раз и грешил отсутствием вкуса».

Знаешь, дорогая, я не мог удержаться и захохотал при этих словах, полных посмертной мести, ибо сразу все понял по злобному тону этого замечания. Разве мог человек, который Еву предпочел Алине, проявить в чем-нибудь хороший вкус?

Добравшись до библиотеки, она сказала: «Но ведь одна эта комната, должно быть, обошлась в сто тысяч франков! Библиотека в Нейи и в Сен-Клу — ничто перед ней». «В этом доме любят книги», — ответил я. Она удалилась, ошарив от восхищения и прекрасно поняв, что раз у меня такой дом, то уж по одному этому ясно видно, что я миллионер.

Алина в ужасе отпрянула от кровати Бальзака, увидев на ней две подушки. Всем его близким знакомым было известно, что он спит высоко и поэтому подкладывает под голову две подушки. Но Алина полагала (и надеялась), что он прячет у себя женщину. «А почему две

подушки?» — спросила она. «Ну, это в предвидении будущего».

И все же домашними хлопотами, посетительницами, покупками и мечтаниями нельзя в полной мере объяснить полное бездействие Бальзака. Истинная причина в том, что он чувствует себя больным, да он и в самом деле болен. Его друг Фредерик Сулье умирает от гипертрофий сердца, кровообращение у него нарушено и ноги очень распухли. «Это меня поразило,— пишет Бальзак,— мне кажется, что и у меня гипертрофия сердца». Его поверенный, стряпчий Гаво, видя, как он томится, посоветовал ему уехать из Парижа. «Уезжайте,— сказал Гаво,— иначе вы конченный человек». Конченный человек? Нет еще. Но бодрости духа, несомненно, уже нет, а Бальзак всегда утверждал, что состояние духа влияет на телесное состояние. Все он видит теперь в мрачном свете. Буржуазная монархия, установившаяся во Франции, кажется ему шаткой, в скором времени в Италии вспыхнет восстание, и этот пожар охватит всю Европу. «Вы не представляете себе,— пишет он Еве,— какой путь проделал коммунизм — учение, которое требует все перевернуть, все подвергнуть разделу, даже съестные припасы и товары, распределив их между всеми людьми, почитая их братьями друг другу...» Ева знает, что он думает об этом, но нельзя же вставать поперек дороги своему веку!

Чтобы встряхнуться, Бальзак попробовал совершить паломничество в Лиль-Адан, куда ездил в юности, к Вилле-Ла-Фэ. Возвращение к истокам жизни иной раз бывает благодетельным.

Через тридцать лет я вновь увидел знакомый лес и долину, но эти любимые края, почти что моя родина, в восемнадцать лет возвратившие мне здоровье, теперь не помогли мне. Все было как во сне. Я отправился по Северной железной дороге. Потом шел семь часов, как солдат в походе, с этапа на этап; обратно я вернулся по железной дороге. Ничто меня не захватило. На все я смотрел без волнения, не испытывая тех движений души, которых ждал. Ах, если б рядом со мною была ты, моя Лина, и если б я мог сказать тебе: «Вот под этим деревом я мечтал о славе; здесь я думал о женщине, которая меня полюбит; а там искал исцеления от тирании моей матери и т. д. ...» Все тогда обрело бы смысл!..

Он вновь становится ребенком, которому хочется прикинуться к матери и положить ей голову на плечо. В разлуке с возлюбленной он мечтает о ней, надеется

найти у нее и любовь и сочувствие, какие дарила ему Dilecta. Увы! Ева ведет себя как суровый, да еще и малосведущий судья, не знающий законов нужды. Бальзак чувствует, что она уязвлена, горько обижена и почти враждебна к нему. Он так хотел бы разорвать путы всяких деловых и денежных обязательств и поспешить к ней. «А подумаю и вижу, что я вовсе не нужен вам, и тогда отчаяние вдвойне терзает меня: из-за того, что меня уже никто не ждет, и из-за того, что я не написал ни строчки... О дух мой, где ты? В Бердичеве, на равнине русской Босы, которую я так ясно представляю себе, хотя никогда ее не видел!» И он стонет: «Будьте милостивы к отсутствующему, постарайтесь понять его лучше, чем понимали до сих пор». Ну зачем она журит его за леность, вызванную избытком любви? «Сдавайте рукопись, рукопись, милостивый государь», — насмешливо говорит волчишка. Да, рукопись, подписанную Скорбью и Горькой Тоской, — «двумя союзниками, сокрушающими жизнь».

Почему же та, которую он обожает, запретила ему приехать на Украину? Потому что она боится общественного мнения, потому что погрязла в материальных делах и потому что она стара (по ее словам), а ему будто бы нужны красивые и свежие женщины, потому что Сам (то есть царь) косо посмотрел бы на его приезд? И Бальзак в отчаянии ищет помощи у «милочки Анны».

Ваша дорогая матушка пишет мне очень мало и запрещает приехать на Украину. Такое положение я считаю противоестественным.

Я привык к вам троем, без вас жизнь мне стала невыносима и ничто не может меня развлечь. Я теперь как собака, потерявшая хозяина и жаждущая найти его.

Это смирение, этот печальный взгляд ласковой собаки, которую гонят прочь, раздирает душу! Эвелина все-таки любит его и не лишена доброты, в конце концов она преодолела свои страхи и склонилась на его мольбы. Пусть он приезжает! Тотчас он стряхивает с себя оцепенение, спешит завизировать паспорт и готовится к путешествию. Издатель Суверен даст ему необходимую сумму, или же он заработает ее, опубликовав несколько новелл. «Я возьму с собой шестнадцать ржаных хлебцев и копченый язык для своего пропитания от Кракова до Верховни». Ах, как он счастлив, что едет! Без любимой нет ему жизни. «Все возможно с моим волчишкой. Без

него все невозможно, и я все бросаю тут. Мое мужество иссякло в ожидании. Заметьте, я не жалуясь, потому что ни один человек на свете не был счастливее меня... В вас таится бесконечность...»

И как он спешит к этой бесконечности! Нельзя ехать быстрее. Он отправился 5 сентября 1847 года по Северной железной дороге, стоившей ему так дорого, затем мчался на почтовых — скорой почтой, экстра-почтой, тряся в кибитке и в понедельник, 13 сентября, прибыл в Верховню. Ему предсказывали, что его ждут всяческие неприятности в этом путешествии по чужим странам, языка которых он не знает. Он благоразумно запасся корзинкой с провизией — морскими сухарями, сгущенным кофе, сахаром, копченым языком и бутылкой анисовой водки. Но оказалось, что его знаменитое имя повсюду обеспечивало ему радушный прием. Начальник таможни на границе, господин Хакель, чиновник с очень приятным и умным лицом, сам вышел ему навстречу и пригласил закусить с ним «чем Бог послал». А Бог послал ему великолепную трапезу, которая привела Бальзака в восхищение.

Разумеется, благодаря высокому покровительству начальника с Бальзаком обращались самым почтительным образом во всех грозных таможнях, которыми его пугали. Русская дисциплина произвела на путешественника благоприятное впечатление. Зато ему очень не понравилась кибитка — экипаж с плетеным из лозняка кузовом, «в котором у седока болят все косточки от дорожной тряски... Ночь была чудесная; небо походило на синий покров, прибитый серебряными гвоздиками. Глубокую тишину оживлял лишь колокольчик, непрерывно звеневший на шее лошади, серебристый и однообразный его звук в конце концов становится бесконечно милым...»

Наконец, проехав через «знаменитейший» город Бердичев, Бальзак прибыл на Украину. «Это пустыня, царство хлебов, это прерии Купера с их безмолвием. Тут начинается украинский чернозем, слой черной и тучной почвы толщиной в пятьдесят футов, а зачастую и больше, ее никогда не удобряют...» Бальзак заснул глубоким сном, а пробудившись от чьего-то громкого возгласа, «увидел подобие Лувра, греческий храм, позолоченный заходящим солнцем». То была Верховня.

У МАРКИЗЫ КАРАБАС

Весьма знаменательно... что мы нередко подчиняем свои чувства собственной воле, берем своего рода обязательства перед собою и сами творим свою судьбу.

Бальзак

Он лелеял большие надежды. Все исполнилось. Воздушные замки, которые он строил так долго, стали вполне реальным замком на Украине.

Бальзак — Лоре Сюрвиль:

Дом у них — настоящий Лувр, а поместье величиной с наши департаменты. Невозможно представить себе, какие тут просторы, как плодородна земля, которую никогда не удобряют, а засевают хлебом каждый год. У молодого графа и молодой графини вдвоем имеется около двадцати тысяч крестьян мужского пола, то есть в общем у них тысяч сорок «душ», но, чтобы обработать все эти земли, понадобилось бы четыреста тысяч душ. И засевают тут лишь столько, сколько можно убрать...

Целых тридцать лет Бальзак мечтал о счастье стать маркизом Карабасом, и вот он оказался будущим супругом маркизы.

Волшебные дни. Атала, Зефирина и Гренгале встретили Бильбоке с искренней радостью. Ему отвели прекрасное помещение, состоявшее из спальни, гостиной и кабинета. Серебро, фарфор и ковры, особенно ковры, пушистые, королевские, вполне удовлетворяли этого требовательного ценителя. Из всех окон его покоев открывался вид на беспредельные хлебные поля Украины. Таких апартаментов «для приезжих друзей» во дворце было пять или шесть!

Эта страна удивительна тем, что наряду с величайшей роскошью тут недостает самых обыкновенных предметов, необходимых для комфорта. Здешнее поместье единственное, где употребляют карселевскую лампу и где устроена больница. В доме видишь зеркала в десять футов высотой, а стены не оклеены обоями... Мы отапливаемся здесь соломой (а ведь Верховня — сущий Лувр). За неделю в печах сгорает столько соломы, сколько ее бывает на рынке Сен-Лоран в Париже...

Но радушие хозяев заставляло забывать и об отсутствии комфорта, и о суровой русской зиме. Эти боги

живут на своем Олимпе по-семейному. Анна читает марсельского историка Капефига, автора десятитомного сочинения «Европа во времена Луи-Филиппа». Сидя рядом с нею, мать вышивает. Бильбоке беседует с графом Георгом, именуемым Гренгале, о грандиозной спекуляции, ибо он видит на Украине, как и повсюду, возможность заняться выгодными деловыми операциями.

По этому поводу он обращается за консультацией к Сюрвилю. Вот в чем дело. Георгу Мнишеку принадлежит в нераздельном владении с его братом Андреем поместье Вишнёвичи, одно из лучших в Российской империи; в этом поместье, находящемся около Брод, имеется двадцать тысяч десятин дубовых лесов. А во Франции тогда был большой спрос на дубовую древесину, которая шла на железнодорожные шпалы. Требовалось узнать, по какой цене можно было бы продавать вишнёвичские дубы французским железным дорогам, учитывая стоимость перевозки, 1) гужом от Брод до Кракова и 2) по железной дороге от Кракова до Парижа, включая и сплав бревен плотами через Рейн у Кёльна и через Эльбу у Магдебурга, так как мосты-виадуки еще не построены и переправа речным транспортом неизбежна. «Возьмем приблизительные цифры. Если дубовое бревно обойдется в десять франков, да двадцать франков положить на перевоз, а всего тридцать франков, за какую цену можно продать в Париже шестьдесят тысяч бревен? Если барыш составит лишь двадцать франков с бревна, между компаньонами придется делить миллион двести тысяч франков. Да еще останется бесчисленное количество дров для топлива» Расчеты, достойные Феликса Гранде.

Удивительно, добавляет Бальзак, что такое выгодное дело еще никем не начато, но это объясняется беспечностью русских помещиков, их можно назвать своего рода креолами, на которых вместо негров работают «мужики». Пусть Сюрвиль отвечает немедленно, так как госпожа Ганская хочет повезти своего гостя в Крым и на Кавказ — до самого Тифлиса.

Нельзя и представить себе, какие огромные богатства накопились в России, но их сводит на нет отсутствие путей сообщения... На днях я был в Верховенском фольварке, где молотят хлеб машинами, и на одно это селение приходится двадцать ометов высотой в тридцать шесть футов, длиной в пятьдесят, а шириною в двенадцать футов... Но воровство управителей и всякие траты намного

уменьшают доходы... В Верховне приходится налаживать в усадьбе все ремесла: там есть и кондитер, и обойщик, и портной, и сапожник, и прочие мастера из числа домашней челяди. Теперь я понимаю слова покойного господина Ганского о его дворне, он говорил мне в Женеве, что у него триста слуг и даже создан из них целый оркестр...

Хозяева Верховни завели у себя суконную фабрику, выделывавшую очень хорошие сукна — по десять тысяч «штук» в год. Француза привели в смятение эти «колоссальные богатства».

Все земельные владения Эвелина Ганская собирается отдать своей дочери Анне в обмен на пожизненную ренту. «Я знал о ее намерениях, — пишет Бальзак Лоре Сюрвиль. — И кстати сказать, восхищен тем обстоятельством, что счастье моей жизни свободно от всякой корысти». По правде говоря, только эта передача имения и делала возможным для Ганской вступление в новый брак. Но оставалось еще преодолеть много препятствий: получить дозволение царя, победить сопротивление родственников Ганской. «Только приехав сюда, я понял, сколько всевозможных трудностей стоит на пути к осуществлению моих желаний».

Ходили слухи, что в Верховне две легкомысленные женщины мешали Бальзаку писать. Факты доказывают обратное. Бальзак закончил там в декабре 1847 года второй эпизод «Изнанки современной истории»; но он еще работал и над романом «Депутат от Арси» — большим произведением с огромным количеством действующих лиц (на сцену выводится сто персонажей), работал он также над «Мелкими буржуа», над «Театром, каков он есть» и над «Женщиной-писательницей» — начало этого многообещающего произведения позволяло надеяться, что писатель покажет «эволюцию бальзаковского общества, параллельную эволюции французского общества». Клод Виньон, который в романе «Кухина Бетта» выступает в роли секретаря маршала Виссембургского, военного министра, а в «Комедиантах неведомо для себя» занимает кафедру в Сорбонне и ведет фельетон в «Журналь де Деба», в романе «Женщина-писательница» становится академиком, оставаясь в то же время членом Государственного совета, и получает «по совместительству» пятнадцать тысяч франков жалованья. Жозеф Леба, бывший приказчик торговца сукнами Гильома, а затем хозяин лавки под вывеской

«Кошка, играющая в мяч», пять лет занимает пост председателя коммерческого суда, а затем делается пэром Франции. Прославленный Годиссар, банкир и директор железнодорожного акционерного общества, уже и позабыл, что он был когда-то простым коммивояжером. Андош Фино, фигурирующий в записной книжке Бальзака как граф Фино де ла Кайери¹, несомненно, больше и не вспоминал о тех временах, когда молодые пираты журналистики дерзко обращались с ним. Ведь способность забывать наблюдается не только у отдельных лиц, но и у целого общества. Тот мир, который Бальзак носит в своей голове, писал Морис Бардеш, «живет своей самостоятельной жизнью, и вместе с тем верен исторической правде».

Ганская не только не мешала ему продолжать работу, но побуждала к ней Бальзака. На обратном пути в Париж он писал ей: «Не упрекайте меня за то, что я мало работал. Скажите себе, что я совершил чудо — написал „Посвященного“». Речь идет о втором эпизоде романа, повествующем о филантропии; Бальзак хотел озаглавить его «Братство утешения», а затем дал ему название «Изнанка современной истории». Это произведение задумано было как противоположность «Истории Тринадцати»; в нем сообщество могущественных и очень богатых людей посвящает себя служению добродетели. Первый фрагмент, «Гнев святого», появился в 1842 году в благомыслящем журнале «Мюзе де Фамий». Он написан в том же духе, что и «Сельский врач» и «Сельский священник»; за эту книгу автор мог бы удостоиться Монтионовской премии. Создать ее оказалось нелегко. «Сделать интересную драму без единого волка, забравшегося в овчарню,— трудная штука».

Выход найден: ввести в овчарню раскаявшегося волка. Годфруа, молодой разорившийся денди в желтых перчатках, обретает на улице Шануанес, в тени Собора Парижской Богоматери, покровительницу, старую баронессу де ла Шантери, которую окружают четыре незнакомца, бесстрастные, словно бонзы, и пользующиеся глубоким уважением как архиепископа, так и самой высокой знати. Тайнственное сообщество распола-

¹ Под этой фамилией Бальзак поставил: «г-н де Савари». — Примеч. автора.

гает огромными капиталами и употребляет их на то, чтобы спасти несчастных. Заговор добродетели должен быть для читателей занимательным, как похождения распутницы Торпиль. Чтобы этого достигнуть, Бальзак вспоминает историю (подлинную) шуанского мятежа.

В годы Империи старую маркизу де Комбре приговорили в Руане к двадцати двум годам тюремного заключения в кандалах да еще выставили у позорного столба за то, что она скрывала у себя заговорщиков. Ее дочь, Каролина Аке де Фероль, погибла на эшафоте. Бальзак сделал из госпожи де ла Шантери двойник действительно существовавшей женщины, некую *mater dolorosa*¹, над которой тяготеют жестокие воспоминания. Через Вимара, секретаря руанского апелляционного суда, Бальзак достал текст обвинительного акта и, передавая в романе этот документ, мало отдалялся от подлинника. Зачем тут выдумывать? Это обычный прием романистов. Но множество подробностей показывают, что книга писалась под крылышком Эвелины Ганской. Незнакомцы с улицы Шануанес все читают «Подражание Христу». Почему? Потому что экземпляр «Подражания» был в 1833 году первым подарком Евы Бальзаку. Писатель хранил в нем свои любовные сувениры — засушенные цветы и обрывки лент. И эту же благочестивую книгу госпожа де ла Шантери дает неопиту Годфруа. «Ведь в произведениях Бальзака религия, так же как и политика, зачастую носит сентиментальный и романтический характер», — писал Морис Регар. По вечерам Бальзак читал у камелька хозяевам Верховни страницы, написанные днем. Даже Георг Мнишек, больше любивший собирать коллекции насекомых, чем читать романы, казалось, был увлечен книгой, что можно считать «одной из крупных побед Бильбоке».

Хотя эпизод «Посвященный» написан был ослабевшей рукой, в нем есть свои достоинства. Ради драматического эффекта та семья, которую Посвященному (Годфруа) поручено спасти, оказывается семьей главного прокурора Бурляка, а он выступал когда-то в суде как обвинитель госпожи де ла Шантери и ее дочери

¹ Скорбящую мать (лат.).

и добился для последней смертного приговора. У Бурляка имеется вполне реальный прототип — барон Шапе-Мариво, главный прокурор при уголовном и особом суде в Руане; имя этого человека — Бернар — писатель дал и барону Бурляку. Роль трогательной жертвы, необходимой во всякой мелодраме, играет Ванда, дочь Бурляка, страдающая таинственной болезнью — польским колтуном. У доктора Кноте, состоявшего лейб-медиком в Верховне, Бальзак мог получить сведения об этой странной болезни и взять некоторые его черты для образа доктора Альперсона, который в романе излечивает больную Ванду. А сама Ванда, «веселое избалованное дитя, музыкантша, страстная любительница чтения, поглощающая романы, расточительница и кокетка», напоминает Анну Мнишек — Бальзак был гостем в чисто польском доме и использовал знакомство с новой средой.

Рукоделие, которым занималась госпожа Ганская, в романе становится портьерой, вышитой юной Вандой. Бальзака восхитила мысль изобразить Бурляка, несмотря на его неумолимую прокурорскую суровость, неким подобием Горио — страстно любящим отцом, который создает для своей дочери иллюзию роскоши, тогда как соседняя комната обставлена нищенскими, развалившимися вещами. Этой мыслью он, несомненно, обязан был недавно прочитанному рассказу Диккенса «Сверчок на печи». У себя дома на улице Батай он с удовольствием вел своих посетителей по обшарпанному коридору и комнатам с голыми стенами, а затем открывал перед ними дверь в будуар, подобный чертогу из «Тысячи и одной ночи». Конец книги одни могут считать мелодраматическим, а другие — возвышенным, это зависит от настроения читателя. В ту минуту, когда бывший прокурор, потрясенный добротой своих спасителей, почти без чувств падает на пол, появляется, как призрак, госпожа де ла Шантери, и Бурляк, подняв на нее глаза, шепчет: «Так мстят за себя ангелы». Сама религия принимает у Бальзака магический характер и становится орудием в руках могущественной оккультной силы. Но в плане «Человеческой комедии» сюжетом романа является не столько личная драма его героев, сколько картина парижского милосердия, столь же сокрытая от посторонних взоров, как и его пороки.

Можно представить себе, что при литературных чтениях, происходивших в гостиной верховненской усадьбы, слушательницами было пролито немало слез, и эти женщины, которые порою обращались со своим другом Бильбоке как с веселым забавником, признали, что ему доступны все виды величия. Для него *прощать* было вполне естественно — люди таковы, каковы они есть. Надо изображать их без всякой снисходительности, что зачастую делал Бальзак, но следует уважать в них благородные черты, которые найдутся даже у самых плохих людей.

Хозяйки Верховни повезли своего гостя в Киев.

Бальзак — Лоре Сюрвиль:

Ну вот, я видел Северный Рим, татарский город с тремястами церквей, с богатствами Лавры и святой Софией украинских степей. Хорошо поглядеть на это разок. Приняли меня чрезвычайно радушно. Поверите ли, один богатый мужик прочел все мои произведения, каждую неделю он ставит за меня свечку в церкви св. Николая и обещал дать денег слугам сестры госпожи Ганской, если они сообщат ему, когда я приеду еще раз, так как он хочет увидеть меня.

Госпожа Бальзак прислала новогоднее поздравление и сообщила, что произвела инспекционный осмотр в его доме на улице Фортюне.

Я все нашла там в образцовом порядке, везде такая чистота, что самой рачительной хозяйке не к чему было бы придраться. У тебя два хороших сторожа, я считаю их честными людьми; им хочется, чтобы ты поскорее вернулся. Они сказали мне, что их не раз уверяли, будто ты вот-вот приедешь, но они видели, что говорится так для того, чтобы они не ослабляли усердия в работе. Твой архитектор бывает в доме, как мне сказали, раз в неделю.

Я, дружок, всегда в твоём распоряжении, и ты знаешь, что я очень рада бываю, когда могу быть чем-нибудь полезной тем, кого я так люблю. Можешь рассчитывать на меня во всем и для всего в любой час моей жизни.

По старому обычаю скажу тебе, как провела я первый день Нового года. Прежде всего сходила в церковь и, помолившись в храме Господнем, обратила все мысли свои к вам, просила у Бога только одного: счастья для моих милых детей...

Бальзак наслаждался обществом своих любимых «акробатов» и, чувствуя, как он изнурен и устал, хотел бы подольше побыть в тихой гавани, которой была для него Верховня, но необходимость сделать очередной

взнос за акции Северных железных дорог заставила его уже в январе, в самые морозы, тронуться в обратный путь. Ганская дала ему лисью шубу, но холода были такие, что поверх шубы пришлось укутаться еще в теплую крылатку. Бальзак вез с собою 90 000 франков, которые ему дала Чужестранка на оплату акций и на прочие деловые расходы.

Хочется думать, что, гостя на Украине, Бальзак был счастлив. Впервые в жизни он оказался в одном из тех дворцов с бесчисленной челядью, о которых мечтал с детских лет. Его не возмущало, что неизменная почтительность вышколенных слуг поддерживалась суровыми наказаниями, ожидавшими их за малейшие нарушения дисциплины. Тщетно Зюльма Карро упрекала его за бесчувственность к страданиям народа. Она была вправе удивляться, что воображение писателя, такое могучее, когда он рисовал людей своего класса, оказалось бессильным представить себе нищету и угнетение. Но будем снисходительны, ведь в течение трех месяцев он впервые чувствовал себя свободным от повседневных забот, от необходимости срочно готовить к сдаче рукописи, от мучительных тревог из-за неоплаченных векселей и счетов. Он испытывал облегчение, как человек, но его творческая деятельность ослабела. Если он не работал в Верховне в том темпе, которого требовала прежняя горячка, то отчасти потому, что в «польском Лувре» на него не давила необходимость; к тому же продолжение «Человеческой комедии» ставило перед ее творцом новые проблемы.

Созданные им персонажи постарели вместе с ним; многие из них умерли. На кладбище Пер-Лашез уже был великолепный памятник, под которым покоились Эстер Гобсек и Люсьен де Рюбампре. Вотрен стал префектом полиции, Растиньяк вторично получил министерский портфель. Разумеется, было бы очень хорошо, если бы поэт мог оживить эти тени, которые, как мертвые герои Гомера, жаждали собраться вокруг него. Персонажи, ищущие своего создателя, теснятся в прихожих его незаконченных романов. Бальзак принимает их, он знает, что можно было бы сделать с ними, но боится, что у него не хватит сил завершить свою эпопею. Вот о чем он думал, когда, кутаясь в мех, наброшенный ему на плечи Евой Ганской, ехал в санях по унылой заснеженной равнине.

РЕВОЛЮЦИЯ, ПОТряСЕНИЯ, НАРОДНОЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

О народ, совершающий Революцию,
О море, глухое, слепое от ярости.

Виктор Гюго

Февраль 1848 года. Возвратившись, Бальзак увидел Францию, кипевшую страстями. То было время «банкетной кампании» сторонников Реформы, когда за десертом ораторы требовали всеобщего избирательного права. Тьер сравнивал кабинет министров с кораблем, который дал течь и с каждой минутой все глубже погружается в воду. Ламартин возвещал, что после революции во имя свободы произойдет революция, вызванная презрением к монархии. Даже национальная гвардия кричала: «Да здравствует Реформа!» Охлаждение буржуазии к королю было серьезной угрозой для буржуазного режима. Бальзак никогда не питал симпатии к Июльской монархии, он желал более сильной власти. Но он боялся конвульсий, сопровождающих всякий переворот.

Двадцать второго февраля он обедал у Маргонна, у которого была квартира в Париже. Из-за восстания половина гостей отсутствовала. Домой Бальзаку пришлось возвращаться пешком, так как перепуганный хозяин наемной кареты отказался прислать за ним экипаж. Толпы народа при свете факелов носили по улицам трупы убитых. Двадцать третьего февраля Бальзак, забыв о революции, был полон «сладостных мыслей». «Бенгали» мечтал «о розах своего сада». Садам называлась его «милая киска». Вечером он узнал, что король уступил и пожертвовал своим министерством. «Это первый шаг Луи-Филиппа к изгнанию, или к эшафоту», — писал Бальзак госпоже Ганской. Опасения толкали его в лагерь ультрароялистов. «Политика должна быть безжалостна для того, чтобы государства были крепки, и признаюсь, после всего, что я сейчас видел, я, как и прежде, одобряю и австрийский *carcere duro*¹, и Сибирь, и прочие методы абсолютизма. Моя доктри-

¹ Тюремный карцер (ит.).

на абсолютизма с каждым днем приобретает все новых сторонников; к числу их принадлежит теперь и мой зять». Бедняга Сюрвиль! Ему тоже было страшно.

Двадцать четвертого февраля Бальзак из любопытства последовал за колонной повстанцев и видел, как они в Тюильри разбивали зеркала и люстры, рвали красные бархатные гардины с золотой бахромой, жгли книги. Эти сатурналии, говорил он, внушают ему отвращение. Однако ж он унес с собою часть украшений и драпировки трона, а также школьные тетради маленьких принцев, внуков Луи-Филиппа. Коллекционер утешил консерватора.

Виктор Гюго и его друзья желали бы спасти династию установлением регентства герцогини Орлеанской, умной женщины либеральных взглядов. Но вооруженный народ осадил Палату. Рождалась Республика. Начнется анархия, думал Бальзак, нищета, грабежи. Его не успокаивало то, что во временное правительство вошел его друг Ламартин. Бальзак считал поэта очень порядочным человеком, но опасался его лирических восторгов. Деньги утекали; акции Северных железных дорог упали еще ниже; трехпроцентные облигации падали с каждым днем. Старик Гранде скупал бы их сейчас. Бальзак написал Мнишекам, чтобы они прислали для этого деньги во Франкфурт и передали их в его распоряжение; Мнишеки этого не сделали. Паника была так велика, что невозможно было напечатать статью или фельетон. Издатели и газеты не решались рисковать.

Двадцать четвертого февраля в Тюильри Бальзак встретил Шанфлери, молодого писателя-фельетониста, принадлежащего к парижской богеме. Двадцать седьмого февраля он пригласил Шанфлери к себе на улицу Фортюне и принял его, облачившись в свою знаменитую белую сутану. Гость нашел, что Бальзак очень хорош собою.

Живые черные глаза, могучая шевелюра с пробивающейся седью, яркие краски лица, в которых резко перемежались желтоватые и красные тона на щеках, какая-то странная щетина на подбородке придавала ему вид веселого вепря... Он смеялся часто и громко, от смеха у него колыхался живот, за приоткрытыми полными румяными губами виднелись редкие зубы, крепкие, как клыки...

Бальзак продержал у себя Шанфлери три часа и надавал ему много советов. Молодой литератор писал

маленькие рассказы. «Рассказики ни к чему не приведут,— говорил Бальзак.— Ваши новеллы слишком коротки; если долго заниматься сочинением таких вещей, это должно сузить кругозор». Он вспомнил, что знал одного человека, по фамилии Берту, уроженца Камбре, который каждую неделю печатал новеллу в газете «Ла Пресс». «Года два он имел успех. А потом что с ним случилось?.. Сочиняйте новеллы и рассказы, раз это вам нравится, но не больше трех в течение года. И смотрите, пишите их только для своего удовольствия; за десять лет вы опубликуете тридцать новелл, считая по три в год. Если вам удастся создать двадцать шедевров из числа этих тридцати новелл, вы должны почитать себя счастливым. Зато десять месяцев в году пишите пьесы для театра, чтобы зарабатывать деньги, много денег, потому что художник должен вести роскошную жизнь». Присоединяя к наставлениям пример, он показал гостю свою галерею и заявил, что Ротшильд очень завидует ему. Осматривая коллекцию, молодой литератор с удивлением думал: «Я же знаю эту галерею! Где я видел ее?» И вдруг он узнал ее: это была галерея кузена Понса.

Шанфлери выпала удача встретиться с Бальзаком, когда тот был в хорошем расположении духа, но очень скоро события вновь повергли его в тревогу. Казалось неизбежным столкновение между буржуа и рабочими. Люди в блузах против людей в сюртуках. Выборы на основе всеобщего избирательного права были назначены на апрель. Бальзак написал в газету «Конститусьонель», что он готов баллотироваться. Никто, говорил он, не имеет права уклониться «в тот момент, когда Франция призывает всех, олицетворяющих ее силы и разум». Он не обольщался относительно своих шансов на успех. «Большинство людей — посредственности,— сказал он Александру Вейлю, встретив его на бульваре,— а потому они в общем и голосуют за подобных себе посредственностей... Вы верите, что Ламартин может быть главой Республики? Только до тех пор, пока он будет позволять, чтобы вожаки тащили его за собой на буксире. Но в тот день, когда ему вздумается самому навязать им хотя бы одну из своих идей, одного из своих приверженцев, его раздавят, как стеклянный стакан». А что касается его, Бальзака, то, если его не выберут, он уедет из Франции. Но возможно ли

будет уехать? Революция уже перекинулась в Германию, в Австрию и в Польшу.

Его не оставляла мысль вернуться в Верховню. Ну что ему делать в Париже? Две его кормилицы — литература и театр — теперь плохо питают его, к тому же он не желает быть гражданином Республики. Пока Ламартин состоит министром, нетрудно будет получить заграничный паспорт. Но до отъезда необходимо расплатиться с долгами. Где найти денег? Ему предложили возобновить постановку когда-то запрещенного «Вотрена», однако предложение сопровождалось бесчестными, по мнению Бальзака, требованиями — чтобы актер Фредерик Леметр передразнивал низложенного короля. «Это гнусно, и я не соглашусь на это даже за восемьдесят тысяч франков». Но вот маленькая удача в его жизни: Луиза де Бреньоль, именовавшаяся «дрянью», вышла замуж, но не за скульптора Эльшота, а за богатого промышленника Шарля-Исидора Сего — неожиданный брак, обращавший эту интриганку в невестку пэра Франции! «Не сошел ли с ума этот человек? — пишет Ганской Бальзак... — Какая, однако, удача! Она дает мне уверенность, что уж теперь эта оса не ужалит моего дорогого волчишку!..» Можно было надеяться, что, после того как Луиза де Бреньоль сделала такую хорошую партию и стала светской дамой, она больше не будет заниматься шантажом и вернет наконец последние из украденных ею писем.

Резкие повороты парижской жизни поражают своей внезапностью. Уже в начале марта Жирардены дали блестящий вечер. Вокруг Бальзака все — и буржуа и финансисты — спекулировали, покупали по низкой цене земельные участки и дома. Денежные люди — все игроки, они всегда верят, что следующий кон принесет им удачу: «Так как Республика не продержится больше трех лет (это самый долгий срок), надо постараться не упустить выгодных случаев... У нас неизбежно будет какой-нибудь диктатор или диктатура, и мы возвратимся к монархии, лицемерно именуемой конституционной...» — писал Бальзак Ганской. Но пока что нужно было найти себе работу.

Возрождалась надежда на театр. Мари Дорваль искала пьесу для *Театр-Историк*, где руководителем был Гоштейн. У Бальзака лежали в его папках наброски драмы «Мачеха», которая подошла бы театру,

и автор мог быстро ее дописать. В издательском деле и книжной торговле был застой, театр оставался последней надеждой, а Бальзак переживал такую полосу безденежья, что приготовленное на обед жаркое приказывал растянуть на целую неделю.

Госпоже Ганской:

Чувствую, как постарел. Работать становится трудно, в светильнике остается немного масла, лишь бы он в силах был осветить последние рукописи, которые я собираюсь завершить. Пять-шесть пьес для театра все могут уладить, а мозг мой еще достаточно живо работает, чтобы я мог их написать. Но последние вещи я пишу со слезами — это моя прощальная дань. Да, я уже больше не жду для себя ничего хорошего... Есть люди, которые словно созданы для того, чтобы знать в жизни только горести, тогда как другим все улыбается. Но я смиряюсь. Благодарю вас, благодарю Господа Бога за все счастье, которое вы мне подарили.

Ах, если бы Бальзак мог достигнуть в театре того же, что и в литературе, он был бы спасен и богат. Но как работать среди беспорядков? «Скоро произойдет сражение, и Республика проиграет его». А тогда поднимутся все ценные бумаги. Вот если б Жоржи (Георг Мнишек) доверил ему 100 000 франков! Сейчас на 27 000 франков можно было бы купить столько акций Северных железных дорог, сколько раньше на 120 000! Контрреволюция, несомненно, победит: «Мы не только на вулкане, мы в самом жерле вулкана». Когда Бальзак писал эти строки, он слышал, как на улице толпа пела «Марсельезу».

Хотя у Бальзака расстроилось зрение (у него двоилось в глазах, и Наккар опасался паралича зрительного нерва), драма «Мачеха» двигалась вперед. Он надеялся прочесть пьесу актерам 9 апреля. «Мы сыграем ее 29 апреля... Если мне повезет в театре, все спасено. Я стану Скрибом в драме и буду зарабатывать по сто тысяч франков в год». Но как писать в такой атмосфере? Баронесса Ротшильд, барометр политического давления, полна «мрачного спокойствия, предшествующего буре». Бальзак думал, что после выборов в Национальное собрание вспыхнет гражданская война. Однако он не снял своего имени из списка выдвинутых кандидатов в депутаты — раз объявлена лотерея, он не мог оказаться безучастным свидетелем и не взять билеты. Он оставался пессимистом. Может быть, через полтора ме-

сяца в Европе не уцелеет ни одного трона. «И знаете ли, не следует обольщаться. Король был символом собственности. Боюсь, что через некоторое время нападут и на собственность...» Это уж было бы концом всего. Пусть госпожа Ганская хорошенько запомнит, что даже в России собственность окажется под угрозой. Если придется бежать с Украины, Еву ждет убежище в Париже, так как через три месяца Париж будет самым надежным городом в мире. Мятеж породит там диктатуру.

Девятого апреля он прочел два акта «Мачехи» Мари Дорваль и Гоштейну, и они, казалось, были восхищены. Шестнадцатого апреля, хотя глаза у него болели, он прочел третий акт. Директор Ипполит Гоштейн, состоявший в связи с актрисой Маргаритой Лакресоньер, умолял Бальзака дать ей роль. Какие интриги! Какие неприятности! «Писать для театра, знаете ли, — это значит согласиться вести безумную жизнь». И подумать только, у него в работе шесть пьес! «Но в театре я заработаю необходимые мне пятьсот — шестьсот тысяч франков, или же я сдохну!» Кстати сказать, совершая эти Геркулесовы подвиги, он учится драматургическому ремеслу, и вскоре ему будет так же легко писать пьесы, как и романы. Что касается политики, в Париже, гул стоит от всяческих слухов. Дураки карлисты вообразили, будто «старая англичанка» госпожа Ламартин, «дочь купца, торговавшего сыром», посадит на престол Генриха V. «Можно лопнуть от смеха». А впрочем, как знать! Всякое бывает. Тогда Бальзак станет по меньшей мере префектом Эндры-и-Луары или же директором департамента изящных искусств или же получит патент на табачную лавочку.

А пока что Париж остается угрюмым; на Елисейских Полях теперь проезжает пятьдесят экипажей вместо десяти тысяч, дефилировавших там в прошлом году. Правительство затыкало рот прессе: «Нам дана свобода умирать с голоду, равенство в нищете, братство в трущобах». По бульвару проходили процессии землекопов. Девятнадцатого апреля, как раз перед выборами, Бальзак поместил в газете «Конститусьонель» письмо, в котором ратовал за устойчивую власть.

Начиная с 1789 года и до 1848 года Франция, или, если угодно, Париж, каждые пятнадцать лет меняли характер своего правительства. Не пора ли ради чести нашей страны найти, создать проч-

ную форму государства, господство длительной власти для того, чтобы наше благоденствие, наша торговля, наши искусства, дающие жизнь торговле, кредит, слава — одним словом, все достояние Франции не ставилось бы периодически под вопрос? По правде сказать, наша история за последние шестьдесят лет могла бы объяснить историческую проблему исчезновения тридцати Парижей, от которых остались лишь обломки в нескольких точках земного шара, где их откроют путешественники и украсят свои музеи памятниками прежних времен, породивших нынешний Париж.

Да будет новая Республика могущественной и мудрой, ибо нам нужно правительство, которое подпишет договор на более долгий срок существования, чем пятнадцать или восемнадцать лет, да и то по воле второй договаривающейся стороны! Вот мое пожелание, равносильное исповеданию веры...

Двадцать третьего апреля Франция голосовала. Бальзак получил десятка два голосов, не больше! А за Ламартина голосовало (в одном только Париже) 259 800 человек. Откровенно говоря, вполне естественно, что монархические убеждения Бальзака не принесли ему голосов избирателей. Хотя в результате выборов прошли «умеренные», будущее в глазах Бальзака оставалось тревожным. Париж, как он полагал, не примет того состава Национального собрания, который ему посылала провинция. Больше чем когда бы то ни было Бальзак хотел уехать из Франции. Ламартин обещал ему выдать заграничный паспорт; оставалось только получить русскую визу. Пока что Бальзак заканчивал «Мачеху», обедал у герцогини де Кастри («Она просто ужасна, настоящий труп») и принимал у себя свою будущую свояченицу Алину Монюшко. Она привезла к Бальзаку свою дочь Полину, очень красивую девушку.

Третьего мая он видел у герцогини де Кастри пьесу Мюссе «Каприз», поставленную любительской труппой. Роже Альденбург (внебрачный сын герцогини и Виктора Меттерниха) был «смешон» в роли Шавиньи; госпожа де Контад очень плохо сыграла роль Матильды. «Отчего получается, что светская женщина, изображающая на сцене светскую женщину, теряет всю свою прелесть и становится отвратительной?.. Как это возвышает настоящих актеров и доказывает их талант!..» С улицы Бак на улицу Фортюне он возвращался пешком. Хорошая прогулка! Всю дорогу он мечтал о Верховне: «С какой радостью я отдал бы все свои драмы за то, чтобы попить с вами чайку за большим, покрытым клеенкой столом в вашей столовой, а я

должен ждать, когда поставят мою пьесу и подыметя занавес в угоду бестолковой публике, которая меня освищет!...»

В день святого Оноре (16 мая) на улицах Парижа забили общий сбор. Мари Дорваль (у которой только что умер ее внук Жорж Люге) отказалась от роли Гертруды в «Мачехе», и роль эта по желанию Гоштейна была передана его любовнице. И все же пьеса имела блестящий успех — первый успех, достигнутый Бальзаком в театре. Наконец-то ему удалось вложить в драму силу, присущую его романам.

Сюжет пьесы таков. Гертруда де Мейлак служит гувернанткой в доме графа де Граншан, старого наполеоновского генерала, ставшего при Реставрации фабрикантом-суконщиком в Лувье (довольно странный конец военной карьеры); ей удалось женить на себе этого генерала, достославного обломка Империи, дочь которого, Полину, она воспитала. Гертруда любит Маркандаля, молодого управляющего графа, и, узнав, что в него влюблена и Полина, пытается отравить свою падчерицу. Бальзак сам указал истоки пьесы. Как-то раз, будучи гостем в одном семействе, с виду очень дружном, он заметил, какими свирепыми взглядами обменивались мачеха и падчерица, и угадал, что они ненавидят друг друга. Он не стал добиваться сведений об этих двух женщинах, как полагается делать писателю-реалисту, а предпочел довериться своей интуиции. К семейной драме он примешал картину эпохи, написанную в лучших традициях «Человеческой комедии». Молодой Маркандаль, претендент на руку Полины, — сын генерала, изменившего Наполеону в 1815 году, Граншан, ярый бонапартист, наказывает клятвопреступника даже во втором поколении — он не отдаст Маркандалю свою дочь. Это вражда Монтекки и Капулетти.

Теофиль Готье написал восторженную статью: «*Театр-Историк* вопреки неблагоприятным обстоятельствам и летней жаре только что достиг успеха, которому мы очень рады, потому что он побудит гениального писателя посвятить драме и комедии редкие качества, которые он проявил в романе». Готье задается вопросом, почему самый глубокий знаток сердца человеческого раньше не проявил в театре поразительного своего таланта, делавшего его литературным феноменом, столь

же удивительным для физиологов, как и для поэтов, и дает такой ответ: «Цензура, сейчас фактически уничтоженная, была в данном случае самой малой помехой, тут надо говорить о трудностях внутреннего порядка, о скрытых ловушках, о тайном отвращении, о нарочито воздвигаемых преградах, о всяческих препятствиях, отделяющих замысел произведения от его осуществления перед рампой...» Гордость гения возмущается этими западнями: «Директор, режиссер, актеры мужского и женского пола, статисты... машинисты, декоратор и осветитель одержимы одной мыслью: навязать вам не ту драму, которую вы написали, а другую... Вы уступаете их требованиям, и публика освистывает все те глупости, которые они всем скопом нагородили».

На этот раз у Бальзака руки были развязаны, и критика единодушно отнеслась к нему благожелательно. Теофилю Готье, дружественному судье, вторил Жюль Жанен, зачастую враждебный Бальзаку в своих отзывах. «„Мачеха“, — писал он, — вполне удавшаяся пьеса; лишней раз этот замечательный романист показал, что он умеет сочетать высшую степень изящества и силу... естественность, искусство и талант». К несчастью, политические бури оказались роковыми для спектакля. Париж горел в лихорадке восстания. Многие не решались выйти из дому. Со второго представления театр на две трети пустовал. Гоштейн уведомил автора, что увозит свою труппу в Англию. Пьесу возобновят позднее, когда волнения стихнут. «Мачеха» не принесла Бальзаку и пятисот франков! Но похвалы действовали ободряюще, побуждали и дальше идти по этому пути. У Бальзака были замыслы других пьес: «Мелкие буржуа», «Меркаде», «Оргон», «Безумное испытание», «Ричард Губчатое Сердце», «Петр и Екатерина». Ганской он сообщал, что напишет все эти пьесы «для очистки совести». «Если же до декабря этого года положение не изменится ни для моей жизни, ни для моего сердца, я больше не стану бороться, пусть течение потихоньку уносит меня, как утопленника. Вы больше ничего не услышите о Бильбоке...»

Этот элегический тон порожден новыми тревогами, вызванными Евой. Она была внимательна и нежна к своему любовнику, пока тот гостил в Верховне, а лишь только он вернулся в Париж, стала как будто равнодушной и черствой. Эта чувственная женщина

испытывала потребность в непосредственной близости, тогда как у Бальзака с его богатым воображением любовь кристаллизовалась на расстоянии. Он писал Ганской целые тома, в ответ получал записочки. Она советовала ему жениться на молоденькой. Алина Монюшко, которой он показал это невероятное письмо, сразу же предложила ему в жены свою дочь Полину, и он счел это еще более невероятным. Бросить красивую юную девушку в объятия пятидесятилетнего мужчины... Но сестры были врагами друг другу.

Маргонн, видя, что он печален и одинок, обычным своим холодным и изысканно вежливым тоном пригласил его к себе в Саше, где писатель мог спокойно поработать. Бальзаку хотелось закончить роман «Мелкие буржуа», и; кроме того, его угнетало необъяснимое молчание Чужестранки — он принял приглашение.

Сначала Саше хорошо подействовало на него, он вновь увидел родную Турень, ее леса, ее прекрасные долины, маленькие замки, описанные в «Лилии долины». Вспоминая день за днем счастье, пережитое в Верховне, он сравнивал себя с Луи-Филиппом, который в своем изгнании в Клермоне наверняка с тоской вспоминал о Тюильри. Февральская революция несколько не изменила жизни в замке. Госпожи де Маргонн, унылой горбуньи, уже не было в живых; все так же яростно после завтрака и после обеда Маргонн и его гости сражались в вист с соседними мелкими помещиками. Вино из виноградников Вуврэ бросалось в голову, а работа над «Мелкими буржуа» совсем не двигалась. Несмотря на строгую бережливость Маргонна, ели в его доме хорошо, слишком хорошо для Бальзака, у него усилились одышка и перебои в сердце. Ему трудно было подниматься в гору, а еще труднее взбираться по ступенькам лестницы — он задыхался. Он думал, что у него отек легких, что разбухшее сердце «переполнено кровью».

К этому надо добавить тяжелые потрясения: кровавые июньские дни в Париже; двадцать пять тысяч убитых, Ламартин навлек на себя «глубочайшее презрение», закрылись театры. Маргонн готовился уехать из Саше, считая его не очень надежным убежищем в случае всеобщего восстания. Хотя Бальзак находил Париж еще менее надежным, у него не оставалось другого вы-

хода, как вернуться на улицу Фортюне. Все же он радовался, что его не было в Париже в дни восстания, ведь ему пришлось бы в рядах национальной гвардии атаковать баррикады повстанцев; его плотная фигура представляла бы собой отличную мишень. К счастью, он уехал в Саше своевременно и в штабе не могли заподозрить, что он дезертировал, сознательно нарушив обязанности солдата-гражданина.

В Париже его ждал чудесный сюрприз: несколько длинных писем от любимой. Значит, он напрасно обвинял ее, думал, что она забыла его. Виновата во всем оказалась почта, а не равнодушие. О, эти любовные письма! «Уже полдень, а я их читаю с десяти часов утра!.. Это райское блаженство. Видели вы когда-нибудь дрозда, опьяненного виноградным соком, когда идет сбор винограда?.. Он как в раю. Вот и я упиваюсь, пью без передышки из источника вашей души, переживаю за два часа два месяца вашей жизни. Это неопишимо...» Тотчас же он отвечает на «распекание». Ну как она могла встревожиться по поводу *нелепой* выходки Алины, предложившей Бальзаку в жены собственную дочь? Уже семнадцать лет, с тех пор как он увидел в Невшателе некую даму в фиолетовом бархатном платье, он мечтает только об одной женщине. «Полно, мы будем вместе жить и вместе будем покоиться *in aeternum*¹ — пусть даже и в вечности меня распекает моя неизменная спутница. И сейчас в угрюмом и обезлюдившем Париже, из которого выехала треть его населения, мне весело — вы знаете отчего. Ведь я вижу, что вы любите меня так же, как я вас люблю...»

А в доме у него полный беспорядок. Занелла стряпает плохо и не прибирает как следует: «Ах, если б вы знали, как мне нужна «жи-ина»! В ожидании того счастливого времени, когда его жена возьмет в свои руки бразды правления в доме, он возлагает на мать и на своих племянниц Софи и Валентину обязанность сделать инвентарную опись всего имущества. Когда он поедет на Украину, мать, всегда готовая к услугам сына, поселится на улице Фортюне. К счастью, есть кое-какие денежные поступления. Комеди-Франсез дает ему аванс в сумме пяти тысяч франков под будущую пьесу

¹ В вечности (лат.).

«Мелкие буржуа», а театр Одеон предлагает пять тысяч франков за «Ричарда Губчатое Сердце». Как знать, может быть, он еще проживет достаточно долго, чтобы перевести «Человеческую комедию» в драматургический план. Это было бы замечательное предприятие! Кроме того, Ганская прислала десять тысяч франков, что позволило сделать новый взнос за акции Северных железных дорог — акции нужно сохранить во что бы то ни стало, так как строительство железнодорожной сети скоро будет завершено и курс акций поднимется до тысячи франков. Сколько приятных новостей! От них исчезли перебои в сердце. Любимая прислала в письме цветок розового подснежника. Сразу Бальзак чувствует себя молодым и гонит прочь все сомнения.

Четвертого июля умер Шатобриан. «Пережив июньские дни, Париж как будто оступел, в ушах у него все еще стоял шум ружейных перестрелок, гул набата, пушечных залпов, и он не услышал того торжественного молчания, что сопровождает кончину великих людей...» — писал Виктор Гюго. Бальзак участвовал в погребальном шествии. Вокруг него парижане болтали о своем. «Эти похороны были уроком. Все было холодно, рассчитано, бездушно. Пришли словно на биржу», — писал он Ганской. Вечером Бальзак обедал у Сюрвилей и играл в вист. На улицах слышалось: «Проходи! Стой! Кто идет?» Глухих или рассеянных, помедливших с ответом, убивали.

Бальзак тотчас решил выставить свою кандидатуру в Академию, чтобы занять освободившееся кресло Шатобриана. Разве не нужно было для славы Академии, чтобы умершего великого писателя заменил великий живой писатель? Гюго, с которым Бальзак говорил, обещал ему свой голос. Он восхищался Бальзаком и через Вакери просил его написать фельетон для газеты «Эвенман», которую он основал. Редкостная удача в эти дни хаоса! Между Огюстом Вакери и Бальзаком завязалась дружба. Вакери, готовившийся поставить на сцене свою драму в стихах «Трагальдабас», пригласил Бальзака на репетицию. Возвращались они вместе пешком от театра Порт-Сен-Мартен до Фобур-Сент-Оноре. «Трагальдабас» совсем не нравился Бальзаку («Отвратительная пьеса из породы „под Гюго“»), но он охотно вел доверительные разговоры со своим молодым спутником. Он начинал верить в воцарение

Генриха V; тогда ему, Бальзаку, можно будет попросить, чтобы его назначили послом в Лондон или в Санкт-Петербург. «Как жаль,— говорил он,— что Виктор Гюго скомпрометировал себя, присоединившись к Республике!.. Не будь этого, любые честолюбивые притязания стали бы для него дозволены». Вакери робко заметил, что ведь и Бальзак также добивался избрания в депутаты. «О, это большая разница,— ответил Бальзак,— меня же не выбрали».

Семнадцатого августа он прочел в Комеди-Франсез свою пьесу «Меркаде» (по-новому называвшуюся «Делец»). Читал он изумительно. Теофиль Готье, слышавший эту пьесу раньше, восхищался актерским талантом Бальзака.

Его чудище тьякало, мяукало, ворчало, рычало, вопило на все лады, возможные и невозможные. Незаплаченный Долг сначала пел соло, и его арию поддерживал мощный хор. Кредиторы вылезали отовсюду: из-за печки, из-под кровати, из ящиков комода, из камина; одни проскальзывали сквозь замочную скважину; другие забирались через окно, как любовники; иные выпрыгивали из чемодана, как игрушечные чертики из шкатулки с сюрпризом, а прочие проходили сквозь стену, будто через люк. Такая сутолока, такой галдеж, такое нашествие, словно волны морского прилива. Меркаде тщетно пытался стряхнуть их с себя, на приступ шли другие, и до самого горизонта смутно виднелось мрачное кишенье марширующих кредиторов, целые полчища термитов спешили пожрать свою добычу.

«Никогда,— сказал Жюлю Кларети один из актеров, слушавших чтение,— никогда еще ни один человек не создавал у меня такого ощущения. Гений — это непреодолимая сила». Пьеса была принята единогласно, но Бальзак, рискуя потерять все шансы на удачу как в театре, так и в Академии, стремился лишь к одному — вновь уехать на Украину. В нем говорил не столько страх перед революцией, сколько потребность быть возле любимой.

Я верховничал весь день, и в мечтах я настолько переносусь в Верховню, что вижу даже самые незначительные мелочи ее обихода. Мысленно я открываю шкаф со сладостями, тот, что стоит у окна в твоей спальне рядом с дверью красного дерева, которая ведет в туалетную комнату, пересчитываю пятна воска от свечей, оплывавших на бархатную скатерть того стола, за которым мы играли в шахматы... Раскрыв большой шкаф, смотрю на носовые платки моего любимого волчишки... сижу за чаем, который подавали в половине девятого в спальне мадам Эвелины. Клянусь честью, любовью к тебе — я живу там...

Да, это действительно любовь. У далекой возлюбленной уже нет огромного состояния; ей сорок восемь лет. «И если меня томит неодолимая жажда быть возле своего волчонка, если я живу лишь для того, чтобы чувствовать свою киску, если меня гложет желание услышать шелест твоего платья, сомненья нет, это настоящая любовь...»

Он уже готовился к путешествию и к свадьбе. Разыскав священника своей приходской церкви Сен-Филипп-дю-Руль, который был с ним очень любезен, Бальзак получил от него *demissiorium* — разрешение на бракосочетание в одной из польских епархий. Русский посол дает ему визу, но киевский губернатор направляет секретные инструкции военному губернатору Одессы: «Его императорское величество соблаговолили милостиво разрешить французскому литератору Бальзаку, приезжавшему в Россию в прошлом году, снова приехать... Честь имею просить ваше превосходительство держать его под строгим надзором и аккуратно уведомлять меня о результатах такового».

Решив все бросить и в случае нужды принять русское подданство, если царь этого потребует, Бальзак 19 сентября поехал к своей «полярной звезде». Он оставил Лоран-Жану доверенность, дав ему полномочия блюсти его литературные и театральные интересы. Госпожа Бальзак назначалась правительницей особняка на улице Фортюне. С этим «гнездышком», хоть оно и «достойно было двух ангелов», он расстался без сожаления. Он чувствовал себя чужим новому миру, рождавшемуся в Париже и во всей Франции. Для того чтобы описать преобразовывавшееся общество, ему не хватало дистанции во времени и свободы мысли. Да и как работать, когда он горит желанием поскорее вступить в брак, который был бы для него спасением! Больной всегда бывает немного ребенком. Измученный, задыхавшийся, он чувствовал потребность положить голову на плечо ласковой матери. Пусть мать-любовница иной раз и пожурит расточительного сына — это не убивает любви. Наоборот. А кроме того, если мощь его воображения и уцелела (об этом свидетельствуют наброски — начальные отрывки романов, написанные в то время), у него не хватает теперь физических сил, чтобы построить и закончить эти произведения; он надеялся, что в украинском уединении здоровье вернется к нему.

ЛАДЬЯ В ТУМАНЕ

Я состою в оппозиции, которая называется жизнью.

Бальзак

Конец 1848 года и весь 1849 год Бальзак прожил в Верховне. После парижской сутолоки и тревожной сумятицы он попал в тихую заводь. Ему отвели прекрасные комнаты, к нему приставили слугу — великана Фому Губернатчука, который иной раз кланялся ему в ноги. Утром, когда он входил в свой рабочий кабинет, прислуживавший ему мужик разводил жаркий огонь в камине. Бальзак, обутый в меховые домашние туфли, кутался в халат из термоламы, черкесской ткани, удивительно теплой и легкой. Казалось, будто он «облачен в солнечное сияние». На письменном столе горели свечи в серебряных канделябрах. Бальзак не спеша работал над несколькими вещами — «Мадемуазель дю Виссар, или Франция во времена Консульства», «Женщина-писательница» — или принимался за «Театр, как он есть». Но это уже не был тот каторжный труд, когда просроченный вексель заставлял его писать по новелле за ночь. Во время пребывания Бальзака в Верховне, если в Париже вдруг срочно требовались деньги, он обращался к своей хозяйке, и она через посредство русского банкира пересылала нужную сумму Ротшильду. Легкость убивает плодовитость.

Нельзя сказать, что владелица усадьбы всегда благожелательно принимала просьбы о деньгах. Свои поместья она отдала дочери, выговорив себе только пожизненную ренту, что ограничило ее средства. Оставалась последняя надежда — граф Георг Мнишек, но молодая его жена, графиня Анна, была мотовкой, и сам Мнишек увяз в долгах. Огромные имения давали супругам смехотворно малый доход. Обоих тревожил брак их матери с расточительным французом, обремененным тяжелым пассивом. Они с радостью дали у себя приют гениальному гостю, оживлявшему дом, но опасались, что Эвелина Ганская возьмет на себя во Франции непосильные денежные обязательства. Прекрасный особняк на улице Фортюне, о котором с такой гордостью

рассказывал Бальзак, не был еще полностью оплачен, большие деньги Бальзак оставался также должен и за обстановку. Да и не придется ли будущей госпоже де Бальзак содержать на свои средства всю семью своего супруга? У свекрови не осталось ни гроша; госпожа Ганская уже обещала выдавать ей на содержание по тысяче двести франков в год. Зять Сюрвиль тоже жаловался — дела его, как всегда, шли плохо, жених Софи ретировался, и Лоре предстояло дать приданое двум дочерям. Узы сердца и ума, соединявшие Бальзака с его «полярной звездой», оставались прочными, но Ганская все еще колебалась, не решаясь скрепить их браком. Во всяком случае, следовало подождать, пока Бильбоке расквитается со всеми своими долгами. А как можно доверять человеку, который никогда не умел отличать подделку от настоящих ценностей?

Эти сомнения, которые он угадывал и которые Ганская зачастую откровенно высказывала, терзали Бальзака. Ведь он выбился из сил, и лишь этот феерический брачный союз мог, как ему казалось, восстановить его положение и дать ему счастье. Академия? Он поручил матери развезти его визитные карточки всем «бессмертным», но разве карточки заменяют личное посещение? «Ты мне в обрез отсчитал карточки для академиков. Скоро будет баллотировка. А не нужно ли было бы предпринять еще какие-нибудь шаги?» — робко спрашивала матушка. Одиннадцатого января должно было решиться, кто из кандидатов займет кресло покойного Шатобриана. Когда Виктор Гюго в этот день сел на свое место, Ампи и Понжервиль (два «бессмертных», обреченных на самое смертельное забвение) наклонились к нему и прошептали: «Бальзак, не правда ли?» Гюго ответил: «Ну конечно!» Было только два кандидата: герцог де Ноай и Бальзак. Герцог де Ноай получил двадцать пять голосов, Бальзак — четыре; два бюллетеня признаны были недействительными, один оказался пустым. Через неделю состоялись новые выборы на место умершего Вату. Бальзак получил два голоса — за него голосовали Гюго и Виньи. Если бы учитывали голоса по их весомости, то Бальзак был бы выбран; но их просто подсчитывали, и поэтому прошел граф де Сен-При. Автор «Истории завоевания Неаполя» одержал верх над автором «Человеческой комедии». «Всякое собрание — это народ», — сказал кардинал

де Ретц. Лоран-Жан писал Бальзаку: «Подсчет был плох, зато академики уж очень хороши».

Тем временем матушка царила на улице Фортюне над Франсуа и Занеллой и выдерживала атаки нотариуса, сборщика налогов и поставщиков. Ей дано было предписание подгонять обойщика, приобрести хрустальные розетки для канделябров, выкупить из ломбарда и доверить в качестве образца ювелиру Фроман-Мерису серебряное блюдо, по которому тот должен сделать несколько мелких тарелок, чтобы пополнить сервиз; заказать очень красивые консоли наборной работы в духе изделий Буля, украшенные химерами (красноречивый герб), на консоли водрузить две китайские вазы, которые при переноске следует поддерживать снизу — ведь если ухватить их сверху, они могут надломиться. Словом, на мать возложено сто поручений, требующих множества хлопот и волнений, утомительных для старухи семидесяти двух лет, но она успешно со всем справляется. Сын дозволяет ей разъезжать по его делам в наемном экипаже (а не в омнибусе, хотя этот вид транспорта стоит всего шесть су). Она хорошо питается, живет в тепле и наслаждается в этом очаровательном доме комфортом, тем более для нее ощутимым, что перед этим она находилась в стесненных обстоятельствах, граничивших с нуждой.

Почти всегда она просыпается около четырех часов утра и прежде всего возносится душой к Господу Богу, затем нежится в постели до шести часов. Она одевается одна, без помощи Занеллы, идет к мессе, дает затем распоряжения слугам, говорит Франсуа: «Нынче сыро, нужно калорифер затопить»; заказывает Занелле обед: «Суп, вареные каштаны, немного рыбы». Вечером читает «Подражание Христу» и вяжет покрывало на постель для своей внучки Софи. Разумеется, жизнь довольно однообразная — хоть бы разочек сыграть в триктрак или в шашки, но, «живя в твоём волшебном дворце, где мне так хорошо прислуживают, я все вспоминаю прежние счастливые дни. Проживи отец еще хоть несколько лет, я пользовалась бы теперь если и не такой роскошью, то, во всяком случае, удобствами, соответствующими моему возрасту и положению!.. Но я за все Господа благодарю, да будет воля его...» — пишет она сыну.

Оноре проявляет к ней некоторое внимание, вполне

ею заслуженное, поскольку она немало трудится ради него; зато он сурово выговаривает ей, если она совершит какую-нибудь ошибку. Он добился от своей Евы, чтобы она послала его матери 31 000 франков на очередной взнос за акции Северных железных дорог и на уплату некоторых долгов. Ротшильд обязан был выплатить присланные деньги на дому, по адресу получательницы: улица Фортюне, дом № 14, госпоже Саламбье. Почему указана девичья фамилия матери? Да потому, что Бальзак сам должен деньги этому банку и боится, как бы какой-нибудь не в меру усердный кассир не перехватил в уплату долга часть поступившей суммы, увидев имя «Бальзак». Но когда служащий банка явился в «волшебный дворец», слуги заявили, что они знать не знают госпожи Саламбье! Разумеется, банк Ротшильда, которому сообщили: «Госпожа Саламбье? Таковая не известна», поднял тревогу в русском банке Гальперина, через который Ганская переводила деньги. Гальперин запросил в Верховне новых указаний. Какое унижение для Бальзака! «Ну просто нож в спину! — жаловался он матери. — Да еще сколько раз его повернули в ране. Как я страдал!»

И зачем его мать допускает такую неосторожность, что открыто говорит в своих письмах о денежных неприятностях Лоры? Как она осмелилась написать, что Сюрвиль будет разорен, если не удастся дело с Капестаном (речь шла об осушении болота в департаменте Эро)? Госпожа Бальзак и понятия не имеет, что значит прибытие почты в таком далеком углу, как Верховня! Приезжает верхом из Бердичева казак, привозит почту. Его нетерпеливо ждут, сообщают друг другу содержание писем, свежие новости. Бальзак неосмотрительно начал читать вслух столь неудачное послание матери. И ему пришлось признаться, что Сюрвиля, так же как и самого Бальзака, вот уже двадцать лет травят кредиторы. И тогда в Верховне пошли бесконечные сетования: «Если бы мы не затеяли постройку дома на улице Фортюне, который обойдется так дорого, у нас были бы теперь наличные деньги и мы могли бы облегчить страдания изобретателя». Мать не имела также права говорить о заемном письме, выданном господином Гидобони-Висконти, а уж если говорить, называть его господином Фессаром. Ну как это у нее не хватает сообразительности избежать таких промахов!

Несчастливая старуха тоже вспылила: «Когда вы будете полюбезнее с вашей бедной матерью, она вам скажет, что любит вас и молится за ваше спокойствие. А наше спокойствие весьма гадательно...» В ответ Бальзак раздражается гневом:

Верховная, 22 марта 1849 года:

Дорогая матушка! Если кто-нибудь бывал когда-либо изумлен, то, конечно, тот пятидесятилетний мальчик, к которому было обращено твое письмо, где перемешаны «вы» и «ты»,— письмо от 4 марта, полученное мною вчера... Не желая получить другое письмо в том же духе, скажу тебе, что я посмеялся бы над ним, если б оно не принесло мне глубокого огорчения, ибо я вижу в нем полное отсутствие справедливости и полное непонимание нашего с тобой положения. Тебе, однако, следовало бы знать, что если мух не ловят на уксус, то уж тем более не привлечешь этой неприятной кислотой женщину. По воле рока твое письмо, нарочито сухое и холодное, попало мне в руки как раз в ту минуту, когда я говорил, что в твои годы тебе следует жить в достатке и что Занелла должна оставаться при тебе, что я не успокоюсь до тех пор, пока ты не будешь иметь, кроме 100 франков пенсии ежемесячно, еще и оплачиваемую мною квартиру и 300 франков на Занеллу... И вот надо же! Когда я, как ты сама признаешь, говорил по поводу этих вещей совершеннейшую правду... мне подают твое письмо— в моральном плане оно произвело на меня впечатление того пристального и злобного взгляда, каким ты устрашала своих детей, когда им было по пятнадцать лет. Но, к сожалению, в пятьдесят лет подобные приемы уже не действуют на них.

Кроме того, особа, которая может составить мое счастье, единственное счастье жизни бурной, трудовой, тревожной, полной превратностей, той жизни, которую я с юности и до сей поры веду в постоянной нищете,— это ведь не ребенок, не восемнадцатилетняя девочка, ослепленная славой, или прельстившаяся богатством, или покоренная чарами красоты. Ничего этого я не могу ей дать. Этой особе уже за сорок лет, и она перенесла много испытаний. Она очень недоверчива, и обстоятельства жизни усилили ее недоверчивость... Вполне естественно, что при том расположении мыслей, в каком я знаю ее уже десять лет, я сказал ей, что она ведь не вступает в брак с моими родными, что в полной ее воле будет видеться или не видеться с ними, а сказать так меня побудили честность, деликатность и здравый смысл.

Я не скрыл этого условия ни от тебя, ни от Лоры. Однако даже это обстоятельство, вполне естественное, показалось вам подозрительным, и вы сочли его только предлогом или каким-то дурным замыслом с моей стороны, желанием возвыситься, аристократничать, бросить своих близких и т. д. ...А между тем это чистейшая и единственная правда... Неужели ты думаешь, что твои письма, где ты наспех бросишь мне несколько ласковых слов, мне, который должен бы стать для тебя предметом гордости, а особенно письма, подобные тому, какое я получил вчера, могут привлечь к новой семье женщину такого характера и такой опытности?..

Я, конечно, не прошу тебя притворно выражать чувства, которых у тебя нет,—ведь только Богу да тебе известно, что с самого моего рождения ты отнюдь не душила меня поцелуями. И ты хорошо делала, ведь если бы ты любила меня, как своего обожаемого Анри, я, вероятно, стал бы таким же, как он, и в этом смысле ты была для меня хорошей матерью. Но я хотел бы, чтобы у тебя появилось сознание своих интересов, которого у тебя никогда не было, и чтоб ты хоть ради них не мешала бы моему будущему, я уж не говорю — моему счастью...

Бальзак дивился слепоте своих родных. Как! У него такие серьезные шансы жениться на богатой и знатной женщине чудесной доброты, женщине, которой восторгается вся Россия и которая в Париже пользовалась бы большим весом и, занимая в свете видное положение, помогла бы выдать замуж обеих девиц Сюрвиль, а мать в угоду своему высокомерному характеру все готова испортить! Неужели Лора не понимает, что для госпожи Ганской ничего нет проще, как распротиться с Бальзаком и с его августейшей фамилией? Не делает этого госпожа Ганская потому, что ее дети и она сама все больше восхищаются Бальзаком. И неудивительно, что их возмущает, отчего его собственные родные не выказывают ему такого же уважения.

Бальзак — Лоре Сюрвиль:

Не поворачивай в дурную сторону все, что я тебе говорю. Я говорю от чистого сердца и хочу тебе разъяснить, как вам надо себя вести в вопросе о моей женитьбе. Так вот, дорогая детка, надо действовать осторожно, обдумывать каждое слово, каждый свой поступок. В общем, если я окажусь в чем-либо неправ в этом длинном письме, не надо за это на меня сердиться; прими из моих советов то, что сочтешь верным, и главное — сожги письмо, и больше о нем говорить не будем. То же самое я рекомендую сделать и маме... Пожалуйста, запомни хорошенько, что у меня нет ни малейшего желания помыкать своими родными, быть самодержцем, требовать повиновения... Я хотел бы только, чтобы мои близкие не делали ошибок; если мои советы идут наперекор здравому смыслу, не станем больше говорить об этом... Я жажду лишь одного: полного спокойствия, семейной жизни и более умеренного труда, чтобы завершить «Человеческую комедию».

Думается, все теперь ясно, и, если вдруг мои планы здесь осуществятся, я надеюсь создать, как говорится, хорошую семью. Если же меня постигнет полная неудача, я заберу библиотеку и все, что мне принадлежит на улице Фортюне, и как философ построю по-новому свою жизнь и свое будущее... Но на этот раз я поселюсь где-нибудь на полном пансионе, сниму одну меблированную комнату, чтобы иметь независимость во всем, не связывать себя даже обстановкой... Для меня в нынешнем деле, оставив в стороне чувство (неудача меня морально убила бы), возможно лишь

одно решение — все или ничего, орел или решка. Если я проиграю, я жить не стану. я удовлетворюсь мансардой на улице Ледигьер и сотней франков в месяц. Мое сердце, ум, честолюбие стремятся только к тому: чего я добиваюсь вот уже шестнадцать лет; если это огромное счастье мне не достанется, мне больше ничего не надо, ничего я не хочу.

Не следует думать, что я люблю роскошь; я люблю роскошь, собранную на улице Фортюне, но при условии, что ей будут сопутствовать прекрасная женщина знатного рода, жизнь с нею в достатке и прекрасные знакомства; сама же по себе роскошь не вызывает во мне никаких нежных чувств. На улице Фортюне все создано лишь *во имя Ее и для Нее...*

Была и другая обида, правда, маленькая. В начале своего пребывания на Украине он получил несколько писем от своих племянниц, и эти девичьи письма, полные «кошачьей» ласковости и остроумия, очень забавляли графиню Анну. А затем Софи и Валентина перестали писать из-за того, объясняла госпожа Бальзак, что дядя Оноре перестал им отвечать. «Как! Ты, моя мать, находишь, что твой пятидесятилетний сын обязан отвечать племянницам! Да мои племянницы должны считать для себя честью и радостью, если я черкну им несколько слов...» Матери пришлось смириться перед такой бурей. Софи и Валентина снова принялись подражать госпоже де Севинье. Очаровательная Софи вела также дневник. В этом семействе всех тянуло к перу. Первого января 1849 года Софи описывала обед, который они с Валентиной устроили на улице Фортюне «у бабуси»...

Бедная бабуся! Какая радость для нее принимать нас, изображать из себя важную даму, какой она была когда-то... В большом камине с лепными украшениями пылал яркий огонь... а какой был славный обед — все любимые наши кушанья! Франсуа и Занелла усердно хлопотали вокруг нас! Один лишь папа был печален и мрачен... Дядя в России! Он даже не написал нам! Живет он там в роскоши, в богатстве и думать позабыл о своих беденьких племянницах.

Софи влюбилась в сына Зюльмы Карро — любовь оказалась без взаимности. Что касается дядюшки Даблена, то он, явившись с обычным своим новогодним визитом, не принес подарка.

Фи, какой гадкий! Старый холостяк, у которого сорок тысяч франков годового дохода, одержим страстью ко всякому старинному хламу и мог бы, кажется, подарить хотя бы китайскую чашку за два франка. Впрочем, в его годы скряжничать простительно.

Дядя Оноре написал наконец. Письмо грустное. Он еще не уверен, что состоится его женитьба на красивой и знатной графине Ганской. А будет ли он счастлив? Она очень гордая и при всей дядюшкиной знаменитости будет ставить его ниже себя. Может быть, я ошибаюсь. Поэтому я горячо желаю, чтобы все вышло по его желанию. А все-таки это разлучит нас. Мы будем унижены. Но какое это имеет значение? Буду нынче вечером молиться о женитьбе дядюшки... Я хочу любить его таким, каков он есть... Он сообщил бабушке, что назначает ей содержание сто франков в месяц. Какое счастье! Надо признать, что близ важной дамы чувства его облагораживаются и сердце возрождается. Он добрый человек. Он любит по-настоящему...

Юная Софи — умница, она уже понимает, что настоящая любовь порождает доброту. Она жалеет своих родителей и прощает им, что они неудачники в жизни: «Боже мой, как мучительно видеть, что отец, такой мужественный человек, утратил мужество! Он столько работал!.. Он ложится спать, но не спит...» И вот, чтобы развлечь папу, Софи возит его в Тюильри или в Нейи. «Как хорош Париж! Как прекрасно солнце! Как воздух свеж и мягок!..»

Натуралисту любопытно наблюдать у Софи и Валентины черты «небесного семейства», проявившиеся и у нового поколения. В обеих девушках заметна склонность писать, легкое тщеславие, природная доброта. И тон и манеры у них мещанские, от деда и бабки они унаследовали инстинктивное почтение к знатности и презирают торговцев. Даблен несколько отличается от обычных торгашей. Он любит красивые, художественные вещи, с удовольствием слушает, как Софи играет на пианино.

«Я уважаю его, но из гордости не показываю ему этого. Он богат, и я не хотела бы смешиваться с тем сбродом, который метит на его наследство...» Впрочем, когда Даблен «окружен своими приспешниками, в нем проступают вульгарные черты, он позволяет себе топорные шутки и смеется, как лавочник...» Все Бальзаки, как известно, артистические натуры. Они забывают, что кое-кто из их предков тоже держал лавку в квартале Марэ. Мама закончила пьесу «Счастливая женщина». Папа прочел ее и раскритиковал. «Создавая произведения искусства, — говорит Софи, — никогда не надо слушать суждения своих родных, близкие судят то слишком мягко, то слишком строго». Право, можно подумать, что мы в Вильпаризи, в 1820 году.

Бальзак — Лоре Сюрвиль, 25 июня 1849 года:

Письма твоих девочек доставляют здесь несказанное удовольствие. По их слогу, по почерку и по содержанию наши читатели уже угадали характер обоих авторов, склад ума и тип красоты, свойственный каждой. Их писем громогласно требуют здесь, когда приходит славный толстый пакет, на котором я узнаю твой почерк. Если когда-нибудь графиня Анна приедет в Париж, она часто будет давать девочкам билеты к Итальянцам, в Оперу и в Опера-Комик. Но возможно, отъезд в Капестан похитит у Парижа этих двух крошек. Ты мне пролила целебный бальзам на душевную рану своими словами о Капестане. Сюрвиль привел наконец к цели свою ладью...

Но ладья самого Бальзака еще плыла в тумане. Энергичному сумасброду Лоран-Жану было поручено вести переговоры с издателями и редакторами газет. Госпожа Бальзак должна была подписывать договоры, но не обсуждать их. Поверенный в делах проявил много рвения и ума, но все же не мог добиться постановки «Дельца». Он сообщал в Верховнюю театральные новости. Гоштейну удавалось делать полные сборы в его театре — благодаря «вековечным „Мушкетерам”». Из всех театров на Бульварах только он ухитряется в настоящее время выколачивать деньги. Успех имел еще один театр, который ставил маленькую пьесу, нападавшую на Республику. Лоран-Жан находил, что эта пьеса — большая низость. «Целый год терпеть правительство, которое ты ненавидишь, каждый день кланяться ему, платить ему, как дурак, и воображать, что твоя честь спасена, если ты по вечерам будешь помаленьку высмеивать его, — это полная потеря смелости». Лоран-Жан торопил Бальзака, просил поскорее прислать ему шедевр: «Не хочу тебя упрекать, но вот уже полгода как Франция овдовела, утратив своего гения, и я не вижу, чтобы ты готовил что-то великое... Твой лакей Лоран-Жан».

Госпожа Ганская, Анна и Георг Мнишек по-прежнему проявляли «беззаветную привязанность» к нему, нежность, стремились вырвать сорняки, которыми поросла дорога его жизни, но самое главное дело — свадьба — все откладывалось, и эти отсрочки раздражали Бальзака. «Надежды застопорились». Графиня Эвелина зависела от царя; чтобы узаконить передачу имения Анне Мнишек, учредить пожизненную ренту и даже на то, чтобы заключить церковный брак, требовалось разрешение императора, которое еще не было получено, несмотря на мольбы и хлопоты.

Бальзак — Его Сиятельству графу Уварову, министру народного просвещения,

Санкт-Петербург, 5 января 1849 года:

Скоро уже шестнадцать лет, как я люблю благородную и добродетельную женщину... Особа эта является русской подданной, и полнейшая ее преданность не подлежит сомнению. Разумеется, высокие качества ее оценены по достоинству, ибо вам все в России известно... Она не хочет выйти замуж за иностранца без согласия августейшего повелителя. Однако ж она удостоила меня права просить об этом согласии. Я отнюдь не ропщу на покорность госпожи Ганской, ибо нахожу это естественным. Соответственно своим политическим убеждениям я никогда не критикую и тем более не иду против законов любой страны. Если б я давно уже не исповедовал таких принципов, меня привела бы к ним судьба тех людей, которые их не придерживаются. Впрочем, меня не страшит то, что счастье моей жизни ныне зависит исключительно от Его Величества императора Российского, и мое ожидание счастливого исхода становится почти что радостной убежденностью в этом, настолько я верю в рыцарскую доброту Его Величества, равную его могуществу...

В молодости Бальзак промурлыкал бы: «Та-та-та». Но доживет ли он до дня свадьбы? Он тяжело заболел. Уже давно сердце беспокоило его. В 1849 году беспокойство сменилось жестокой тревогой. Он не мог ни ходить, ни поднять руку, чтобы причесаться, — сразу начиналось удушье. Несколько раз приступы были так сильны, что могли привести к смерти. Обитателей Верховни лечили два врача — доктор Кноте и его сын, ученики знаменитого немецкого доктора Франка, пользовавшегося европейской известностью и практиковавшего в Санкт-Петербурге. Бальзак считал, что оба доктора очень хорошо его лечат. Их диагноз — гипертрофия сердца. Они стремились «восстановить затрудненное кровообращение в венозной системе» и очистить загустевшую кровь. Но когда больного заставляли съесть натошак целый лимон, у него поднималась такая рвота, что ему казалось, будто он сейчас умрет. «Однако при моем бычьем организме властительнице человечества придется еще повозиться со мной. Я состою в оппозиции, которая называется жизнью». Мать напомнила ему, что в семействе Саламбье ни она сама, ни бабушка не переносили лимонов.

В таком состоянии невозможно было отправиться в обратный путь. Сначала Бальзак назначил отъезд на сентябрь 1849 года, но в это время он чувствовал себя слишком плохо для подобного путешествия. «Нуж-

но лечиться еще шесть или восемь месяцев для того, чтобы клапаны сердца вновь приобрели эластичность...» — писал он родным. Ему нравился доктор Кноте — гофмановский персонаж, составлявший секретные порошки и коллекционировавший скрипки. Молодые супруги Мнишеки без всякого неудовольствия и даже с радостью приняли эту затяжку пребывания у них больного Бильбоке (он уже прожил в Верховне больше года). Однако у них самих были свои беды: два пожара, три судебных процесса, рухнувшие постройки, неурожай. Граф Георг, который до сих пор сам управлял имением, где трудилось пятьсот хлеборобов, подумывал о том, чтобы сдать всю землю в аренду, оставив себе только усадьбу и парк.

Бальзак почти каждую зиму страдал бронхитом. В 1850 году он сильно простудился, ему казалось, что он умрет, выкашливая свои легкие. Он писал родным:

Пришлось безвыходно сидеть в своей комнате и даже лежать в постели, но наши дамы по великой своей доброте приходили составить мне компанию, не брезгуя моим страшным кашлем и харканьем, ведь меня всего выворачивало, как при морской болезни. Меня бросало в пот, словно я заболел потницей. Словом, намучился я, но теперь распростился с недугами и даже акклиматизировался.

Что касается «великого дела», то все тут могло еще устроиться в желанном смысле. Со стороны госпожи Ганской было бы настоящим самопожертвованием согласиться выйти замуж за тяжело больного человека, который уже физически не мог быть ее возлюбленным, а как писатель, по всей видимости, впредь работать будет очень мало. Вдобавок политическая ситуация во Франции оставалась тревожной и смутной. Луи-Наполеон стал президентом Второй республики; Бальзак и его матушка не ждали добра от этого бесхарактерного человека.

Что касается бедняги президента, из всего видны его умственная усталость и озабоченность. Он, по-видимому, не способен носить непроницаемую маску и всегда так встревожен, что зачастую отвечает да вместо нет и по большей части не понимает того, что ему говорят. А в воздухе уже вновь повеяло недовольством. Каждый спрашивает себя: «Чем все это кончится?»

Благоразумно ли было для Эвелины Ганской расстаться с украинским имением, с положением владетельной особы, чтобы подвергаться в чужой стране опасностям

восстания и исполнять обязанности сиделки при больном?

Зима 1849/50 года прошла очень тяжело. Три недели Бальзак не выходил из спальни, бессменной сестрой милосердия состояла при нем госпожа Ганская, а единственным его развлечением было смотреть, как Анна Мнишек, разодетая с царственной пышностью, собирается на балы в соседние поместья. Наконец в марте 1850 года пришли все разрешения от императора, все бумаги были в порядке, и Бальзак мог отправиться в Бердичев, где должно было состояться его бракосочетание. До последней минуты он все сомневался в своем счастье. Однако он засыпал госпожу Бальзак подробнейшими указаниями относительно его возвращения домой, на улицу Фортюне, вместе с «дорогой супругой». Он просил, чтобы в жардиньерках стояли «красивые-красивые цветы», а в вазах — кустики капского вереска. До приезда новобрачных требовалось переплести все книги. Хозяйственные распоряжения Бальзака отличались такой же подробностью, как и описания в его романах.

За три дня до свадьбы он еще не был уверен, что она действительно состоится. Одиннадцатого марта он писал матери: «Все готово для известного тебе дела, но я напишу о нем, только когда все кончится. Здесь, как и повсюду, эти вещи можно считать совершившимися, лишь когда выйдешь после церемонии». Стрелки весов, на которых Эвелина взвешивала все *за* и *против*, колебались до последнего мгновения. Наконец жалость, любовь и слава взяли верх, и она решилась.

Свадьба состоялась четырнадцатого марта, в семь часов утра, в Бердичевском костеле св. Варвары, где, как писал Декав, «с крыши стекала вода от тающего снега, а на колокольне трезвонили колокола; обряд совершал аббат граф Озаровский, присланный епископом Житомирским. Одним из свидетелей был Георг Мнишек. «Графиня Анна сопровождала мать, и обе сияли от радости», — пишет Бальзак. После бракосочетания все семейство поехало обратно, в Верховню, и прибыло туда только в десять часов вечера; все были измучены. Азиатские ветры сотрясали дом. Бальзак задыхался. Пятидесятилетняя новобрачная страдала от приступа подагры: «Руки и ноги у нее так распухают, что она не может шевелить пальцами, не может ходить...» Доктор Кноте назначил страдающей артритом помещице любо-

пытное и садистское лечение: «Она ежедневно погружает ступни в утробу молочного поросенка, которого режут и вскрывают при ней, так как нужно, чтобы ступни опутались еще трепещущими внутренностями животного. Нечего и рассказывать, как пронзительно визжит поросенок, не понимая, что ему оказывают великую честь, и стремясь избавиться от нее...» Ни муж, у которого сердце отказывалось служить, ни жена, больная ревматизмом, не в силах были совершить путешествие. Отъезд отложили до конца апреля. «Надеюсь, что еще в апреле я вернусь в Париж... Увы! Для моего здоровья очень нужен воздух родины, надеюсь, что он поможет и моей жене, здоровье которой тоже в плачевном состоянии...»

Женившись, Бальзак написал четыре торжествующих письма: своей матери, сестре, доктору Наккару и другу тяжелых дней Зюльме Карро.

Бальзак — госпоже Карро, 17 марта 1850 года:

Мы с вами такие старые друзья, что вы только от меня должны узнать о счастливой развязке великой и прекрасной драмы сердца, длившейся шестнадцать лет. Итак, три дня тому назад я женился на единственной женщине, которую любил, которую люблю еще больше, чем прежде, и буду любить до самой смерти. Союз этот, думается мне, — награда, ниспосланная мне Богом за многие превратности моей судьбы, за годы труда, за испытанные и преодоленные трудности. У меня не было ни счастливой юности, ни цветущей весны, зато будет самое блистательное лето и самая теплая осень...

Доктору Наккару он сообщил о своих ослепительных родственных связях и о плачевном состоянии своего здоровья. Что теперь скажут завистники, узнав, что он стал мужем правнучки Марии Лещинской, зятем адъютанта русского царя, племянником первой статс-дамы императрицы? Но что скажет доктор Наккар, увидев, что его пациент не в силах подняться по двадцати ступенькам, что его мучит удушье, что он не может стоять и все присаживается? Бальзак опьянен полным успехом своих планов, но не питает никаких иллюзий относительно будущего. Бедук даровал ему этот союз, о котором он мечтал всю жизнь, но он знает, что брачное ложе будет для него ложем смерти. Подобно Мари Верней в «Шуанах», он мог бы сказать: «Жить осталось только шесть часов». В 1834 году он написал: «Вот было

бы любопытно, если бы автор «Шагреновой кожи» умер молодым». Любопытно? Нет, неизбежно. Разве возможно прожить до старости, когда еженощно сжигаешь свою жизнь? Но «во что бы то ни стало умереть надо в своем гнезде». Бальзак торопится привести жену на улицу Фортюне.

Но надо еще съездить в Киев, чтобы там вписали госпожу де Бальзак в паспорт мужа и выдали визу на выезд из Российской империи. Во время этой поездки он получил воспаление глаз. Он не может ни читать, ни писать: какое-то черное пятно застилает бумагу. После нового лечения доктор Кноте отпускает супругов, и 25 апреля они трогаются в путь. Они ехали через Краков и Дрезден, и путешествие их было ужасным. Дороги развезло, карета увязала в грязи по самые дверцы. Задыхающемуся, почти слепому Бальзаку приходилось вылезать из берлины и сидеть на размокшей земле, пока крестьяне, вооружившись самодельным домкратом, вытаскивали из грязи карету. Бальзак хватался за сердце и дышал с трудом.

Ева де Бальзак—своей дочери Анне, Броды, 30 апреля 1850 года:

Меня очень беспокоит его здоровье: приступы удушья у него случаются все чаще, да еще крайняя слабость, совсем нет аппетита, обильный пот, от которого он все больше слабеет. В Радзивиллове нашли, что он ужасно переменялся, что его с трудом можно узнать... Я его знала семнадцать лет, а теперь каждый день замечаю какое-нибудь новое его качество, которого я не знала. Ах, если бы вернулось к нему здоровье! Прошу тебя, поговори о нем с доктором Кноте. Ты и представить себе не можешь, как он мучился эту ночь. Я надеюсь, что родной воздух пойдет ему на пользу, а если надежда обманет меня, поверь, участь моя будет печальна. Хорошо женщине, когда ее любят, берегут. С глазами у него, бедного, тоже очень плохо. Я не знаю, что все это значит, и минутами мне очень грустно, очень тревожно...

А в заключение: «Бильбоке говорит, что он поправится, как только вступит на французскую землю». Десятого мая они прибыли в Дрезден. Бальзак, не видя букв, которые выводил на бумаге, написал Лоре Сюрвиль: «Наконец-то мы здесь, живы, но больны и устали. Подобное путешествие сокращает жизнь на десять лет; сама посуди, каково это было: бояться, что мы в дороге опрокинемся и задавим — она меня, или я ее, или оба умрем, задавив друг друга. А ведь мы друг друга обожа-

ем...» Бальзак настоятельно просил и Лору, и госпожу Бальзак, чтобы старуха мать не дожидалась супругов на улице Фортюне. Ведь это было бы неприлично. «Моя жена должна поехать к ней и засвидетельствовать ей свое почтение. Когда это будет сделано, мать может по-прежнему выказывать свою преданность; но она унизит свое достоинство, если останется и будет помогать нам распаковывать вещи». Госпожа Бальзак-старшая (вежливая замена эпитета вдовствующая) должна была вручить ключи слуге-эльзасцу Франсуа Мюнху и отправиться ночевать к дочери в Сюрен.

Путешественники задержались на несколько дней в Дрездене, где их радушно приняли друзья Евы. Супруги ходили по магазинам. Бальзак купил себе превосходный дорожный несессер, а его жена — «жемчужное ожерелье, которое святую и то бы свело с ума». Своим детям госпожа де Бальзак написала: «Метр Бильбоке целует вас». Супруги казались счастливыми, насколько можно быть счастливыми, когда вблизи во мраке бродит смерть.

Наконец в тихий майский вечер они прибыли в Париж. Утром этого самого дня старуха мать покинула дом и уехала в фиакре, предварительно украсив, по приказанию сына, жардиньерки цветами и поставив в вазы кустики капского вереска. В сумерки на улице Фортюне остановилась дорожная карета. Из нее, задыхаясь, вылез почти слепой мужчина, изнуренный двухдневным перегонном и бессонницей, а за ним — все еще красивая женщина. Кучер позвонил. Никакого ответа. В доме, однако, жили, в окна видно было, что все комнаты освещены и украшены цветами. Несмотря на долгие и громкие звонки, никто не вышел отворить дверь. Прибытие, которое Бальзак хотел обставить столь торжественно, походило на дурной сон. Среди ночи кучеру пришлось идти к слесарю Гримо, проживавшему на улице Фобур-Сент-Оноре в доме № 175. Когда же наконец супругам удалось войти в особняк, так любовно убранный, они убедились, что на Франсуа Мюнха, их слугу, внезапно напало буйное помешательство. Он все разгромил в доме, потом забаррикадировался. Чтобы сдать его в больницу, надо было дожидаться рассвета. Расплатившись со слесарем, с кучером и отпустив обоих, Ева ушла к себе, в красную спальню, а Оноре к себе, в голубую спальню.

Последний лоскуток шагреновой кожи, лежавший в его жилетном кармашке, стал совсем маленьким — не больше лепестка розового подснежника.

ХЛІ

НАВСТРЕЧУ СМЕРТИ

Когда дом построен, в него входит
Смерть.

Турецкая пословица

«Бильбоке доехал в таком ужасном состоянии, в каком ты никогда его не видела. Он ничего не видит, не может ходить, то и дело теряет сознание», — писала Ева своей дочери Анне. Бальзак не в силах был подняться с постели, жена сидела возле него. На следующий же день после его возвращения доктор Наккар навестил своего пациента и друга. Испуганный состоянием больного, он тотчас потребовал созвать консилиум, который и состоялся 30 мая. Врачи предписали пустить кровь или поставить кровососные банки, давать слабительное и мочегонное; предписали избегать всяких волнений, говорить мало и вполголоса.

В заметках доктора Наккара говорится и о его личном впечатлении. У него уже не было никакой надежды. Бальзак внешне так изменился, что эта перемена ни от кого не могла укрыться. «А уж тем более от врача, который пользовал, изучал и любил больного с детских его лет. Каким зловещим признаком была для него эта перемена!» Наккар установил, что болезнь сердца развилась и приняла новый, роковой характер. Бальзак задыхался, говорил отрывисто, прерывающимся голосом. Однако в течение нескольких дней надеялись, что лечение и отдых улучшат — хотя бы временно — его состояние.

Госпожа де Бальзак сохраняла олимпийское спокойствие, очень подходившее к ее челу Юноны. В письме от 7 июня к «возлюбленной дочери, дитяти своего сердца» она со странным равнодушием сетует, что не может «избавиться от бивуачных порядков в доме, отчего уходит так много времени, и притом досаднейшим образом».

Бальзак, почти совсем потерявший зрение, диктовал жене свои письма. Эта работа, медицинский уход, до-

машние хлопоты так поглощали хозяйку дома, что она едва урывала в сумерки минутку, чтобы походить в садике «между кустами цветущей сирени и отцветающего раkitника» и подумать о своих детях, «погружаясь мыслями в даль грядущего».

Когда Ева де Бальзак говорила в письмах о своем желании «жить в уединении с двумя своими дорогими детками», была ли у нее уверенность, что ее мужу, недолго осталось жить? Такого впечатления не создается. «Лечение,— говорит она,— дало прекраснейшие результаты. Бронхит прошел, глаза начинают видеть, обмороки прекратились; припадки удушья случаются все реже». Но госпожа де Бальзак не может отойти от своего больного. Ей даже некогда съездить в монастырь, навестить Лиретту Борель, в монашестве именуемую сестрой Марией-Доминикой. Ева — преданная сиделка.

Преданная и мужественная. Она стойко переносит перемену в условиях жизни, усталость и тревогу.

Никогда я не чувствовала себя так хорошо. Воздух Франции очень полезен для моего здоровья... Я наконец познакомилась со свекровью; так как обязанности сиделки не дают мне выходить из дому, она сама приехала навестить сына; здоровье ее совсем поправилось, а что касается ее самой, то, между нами будь сказано, это *elegantka zestarzala*¹, вероятно, она была очень хороша собой... К счастью, она не так уж часто будет требовать от нас внимания и почтения, ибо на лето уехала в Шантильи. Дочь мне больше нравится, очень маленькая, кругленькая, как шарик, но у нее есть и ум и сердце. Муж ее прекрасный человек, а девочки просто прелесть.

Между Евой де Бальзак и Лорой Сюрвиль завязалась дружеская переписка.

Ева — Лоре Сюрвиль, 1 июня 1850 года:

Бедному Оноре нынче утром пускали кровь... Наш чудесный доктор Наккар навещал его... Мы много говорили о вас нынче утром, и он был так растроган... Конечно, для вас не окажется новостью, что доктор Наккар — одна из прекраснейших душ, какие вышли из рук Создателя.

Доктор Наккар у нее в большой милости: «Невозможно найти человека более ученого и вместе с тем более простого, более любезного и обаятельного». Софи Сюрвиль уже готова полюбить свою новую тетку, назы-

¹ Престарелая щеголиха (польск).

вает ее (в подражание дяде) «прелестная»; племянницы считают, что она оказывает благотворное влияние на своего гения. «С тех пор как дядя заболел, а потом женился, он стал такой милый и ласковый со своими». Все «небесное семейство» пьянеет от гордости, и все приятели чванятся оттого, что принц-президент Республики (Луи-Наполеон) приказал справиться о здоровье Бальзака.

Но Ева находит, что жизнь очень печальна «в этом несчастливом доме... Да неужели Господь Бог не сжалятся наконец над нами? Неужели мы еще мало пострадали?» Но Бальзак хранит веру в будущее. Еще блещут его прославленные карие глаза с золотыми точечками, хотя лицо, покрытое могильной бледностью, опровергает этот уцелевший признак молодости. «Он стал лишь тенью самого себя...» — пишет Лоран-Жан, которого ужаснул облик друга. А Готье писал потом: «Нет ничего опаснее, как осуществленное желание... Совершился долгожданный супружеский союз; гнездышко для счастливой жизни выстлано пухом; «Бедные родственники» получили всеобщее признание. Это было слишком хорошо; ему оставалось только умереть... Но никто не ждал роковой развязки... Мы были твердо убеждены, что он переживет всех нас». Бальзак так часто и так убедительно говорил о долголетию, которое сулил ему колдун Балтазар, что и друзья в конце концов уверовали в это предсказание.

Добрый Тео, собравшийся ехать в Италию, 19 июня пришел на улицу Фортюне проститься. К несчастью, больного не было дома: он поехал в коляске (безумная неосторожность) в таможню выкупать свои дрезденские приобретения. Как у кузена Понса, коллекционер в нем бросал вызов болезни, только бы защитить свои сокровища. Он был в отчаянии, что разминутся с Готье, и продиктовал жене короткое письмо к нему: «Хоть вы и не застали меня дома, это не значит, что мне стало лучше. Я лишь кое-как дотащился до таможни — вопреки запрещениям врачей... Мне подают большие надежды на выздоровление, но я навсегда должен оставаться на положении бессловесной и недвижимой мумии. Я хочу хоть этим письмом ответить на вашу дружбу, она мне стала еще дороже в одиночестве, в котором держит меня медицина». В конце письма больной собственноручно нацарапал каракулями, которые почти невозможно

было прочесть: «Я больше не могу ни читать, ни писать». С какой силой он описал бы в одном из своих романов эту смерть заживо и эту трагическую беспомощность!

Несколько раз у больного и его жены появлялась иллюзия выздоровления. Доктор Наккар, приходивший каждый день, поставил диагноз — острое белковое мочеизнурение; он видел в кажущемся улучшении лишь временное ослабление болезни. У старика врача сложилось наилучшее впечатление о госпоже Ганской: «благородное, великодушное и возвышенное сердце». Бальзака навестили Поль Мерис и Огюст Вакери; больной принял их в халате, полулежа в глубоком кресле. Посетители пожали ему руку, пытаясь скрыть свою печаль. «Побеседуйте с моей женой, — сказал им Бальзак. — Мне сегодня запрещено разговаривать, но я буду вас слушать».

Побывал у больного и Виктор Гюго, полный важности и дружелюбия, пышущий здоровьем. Он пришел в хороший день: Бальзак был весел, полон надежды, не сомневался в своем выздоровлении, смеялся, показывал свои отеки. Впоследствии Гюго рассказал об их беседе.

Мы много говорили и спорили о политике. Он упрекал меня за мою «демагогию», а я его — за легитимизм. Он мне говорил: «Как вы могли так безмятежно отказаться от звания пэра Франции, самого прекрасного после титула короля Франции!» И еще он говорил мне: «Я приобрел особняк Божона без сада, но зато с хорами в маленькой часовне, что стоит на углу улицы. У меня на лестнице есть дверь, ведущая в часовню. Один поворот ключа — и я могу слушать мессу. Для меня эти хоры дороже сада». Когда я уходил, он, с трудом передвигаясь, проводил меня до этой лестницы, показал эту дверь и крикнул жене: «Главное — пусть Гюго посмотрит все мои картины!»

Случалось, что, говоря о Гюго, Бальзак отзывался о нем сердито и несправедливо, но в глубине души любил его и восхищался им. Они были самыми великими людьми своего времени, и оба знали это.

Письма, приходившие из России от Анны Мнишек, по-видимому, были откликами на успокоительные вести из Парижа: «Слава Богу! Да будет тысяча раз благословенно имя Господне за то, что в драгоценном здоровье моего милого отца наступило заметное улучшение... О улица Фортюне, радость души моей, миллион раз сча-

стливая! Улица, так удачно названная!..¹» Анна Мнишек передает, что доктор Кноте сказал ей: «Ах, если бы я мог еще месяц полечить господина де Бальзака, а главное — если бы мне удалось убедить его съедать ежедневно по лимону, он бы теперь выздоровел...» Святая простота!

В июле дела пошли плохо. Один из участников консилиума, доктор Луи, сказал Виктору Гюго: «Он проживет месяца полтора, не больше». Отеки стали чудовищными. Лора писала матери:

Доктор смело назначил поставить больному водянкой на живот сто пиявок, в три приема... Но несмотря на веселость, никогда не покидающую супругов, несмотря на каламбуры Оноре, на его шутки под самым носом у смерти, он так походил на умирающего, что моя невестка спокойно сказала Софи в ту ночь, когда обнаружился перитонит: «Я думала, что потеряю его». Но чудесная надежда, которая не оставляет ее, вскоре взяла свое, и утром она не моргнув глазом без страха поставила последние тридцать пиявок... Моя невестка кажется мне загадкой. Знает ли она об опасности? Или не знает? Если знает, то ведет себя героически.

Несомненно, она знала об опасности. Наккар не стал бы обманывать эту женщину, стойкость которой была для него очевидна. Он одобрял в ней твердость души. Чему послужили бы стоны и сетования? Гораздо лучше было с ее стороны старательно ставить пиявки и не подрывать веру в благополучный исход, не иссякавшую у Бальзака, к которому в минуты просветления возвращалась вся сила ума. Он говорил о будущих своих романах. Подсчитывал, сколько времени понадобится, чтобы их написать. «Один лишь Бог знает, — читаем мы в заметках доктора Наккара, — как много потеряно из-за того, что не собрали последних высказываний Бальзака, его замечаний о созданных им характерах, о его планах и замыслах... которые впервые его перо уже не могло запечатлеть».

Среди тяжелых органических разрушений господин де Бальзак, всегда понимавший до конца участь человеческую, пожелал побеседовать с достойным священнослужителем, для коего религия была лишь высшим выражением вселенского разума. Каким горестным зрелищем было душевное спокойствие человека, еще молодого, видящего, как обрывается поток славы, достигнутой его трудолюбием, ценою тридцатилетней деятельности, бессонных ночей и высоких познаний, как исчезает надежда увидеть завершенным свое

¹ Фортюне (fortunée) — по-французски означает «счастливая».

творение, а более всего этого — надежда на семейное счастье, завоеванное им...

Священник, о котором идет речь, аббат Озур, был настоятелем церкви Сен-Филипп-дю-Руль, он отправлял службы и в пресловутой часовне Божона. Бальзак в своих романах часто описывал смерть: смерть отца Горио, смерть госпожи де Мёрсоф, смерть Понса, смерть Валентины Граслен и многих других своих героев. Можно быть уверенным, что его последние беседы со священником были возвышенны и достойны великого писателя. Доктора отказались делать пункцию. Водянка в форме сальной, казалось, превращала мышечные ткани в жировые. И все же, когда больной пятого августа поранил себе ногу, ударившись о стол, из раны хлынула вода. В тот же день жена написала под диктовку Бальзака письмо Фессару: «У меня новая болезнь — нарыв на правой ноге. Вы поймете, как это увеличило мои мучения. Я думаю, все это цена, назначенная небом за огромное счастье моего брака». Он подписался собственноручно, а под его подписью Ева добавила: «Вы, вероятно, спрашиваете себя, дорогой господин Фессар, как у горемычного секретаря хватило силы написать это письмо; но ведь для этого несчастного существа все кончается, он в таком состоянии, когда человек становится лишь механизмом, действующим до тех пор, пока Провидение по милосердию своему не сломает его пружину...»

Итак, у нее не оставалось иллюзий. А были ли у нее иллюзии, когда она шла под венец в Бердичеве? Маловероятно. Решение она приняла поздно, но, как говорила Лора, это было героическое решение — ведь госпожа Бальзак знала, что ей придется ходить за больным, за умирающим и что, вторично оставшись вдовой, она окажется в бедственном положении. Несколько раз, «но еще не очень часто» бред ненадолго затуманивал высокий разум Бальзака, и «это удивляло самого больного, так как, очнувшись, он все озирался вокруг». Затем обнаружилась гангрена, вызванная артериитом, и запах разлагающихся тканей стал ужасным. В последнем своем распоряжении доктор предписал больному полный покой, велел давать ему отвар белены и наперстянки, посоветовал открыть двери и окна и «поставить в комнате умирающего в нескольких местах глубокие тарелки с раствором карболки». Раз уж Наккар говорил «в комнате умирающего», хотя его друг еще дышал, зна-

чит, он считал, что все кончено. Красная, сухая и палящая рана не оставляла никакой надежды. Рассказывают, что Бальзак перед тем, как он потерял сознание, произнес: «Только Бьяншон мог бы меня спасти». Вероятно, в смутном, затуманенном сознании, в бреду, предшествовавшем агонии, он жил лишь в мире «Человеческой комедии».

В воскресенье, 18 августа, в девять часов утра, Ева позвала аббата Озура. Бальзака соборовали, он слабыми знаками показал, что понимает это. В одиннадцать часов началась агония. Госпожа де Бальзак, измученная трехмесячной бессонницей, пригласила сиделку. Во второй половине дня приехала справиться о состоянии больного жена Виктора Гюго. А вечером сам Виктор Гюго, хотя он был приглашен в тот день на ужин к своему дяде Луи Гюго, нанял фиакр и велел отвезти себя на улицу Фортюне проститься с единственным писателем, равным ему.

Я позвонил. Светила луна, затененная облаками. Улица была безлюдна. Никто не вышел отворить. Я позвонил еще раз. Дверь отперли. Появилась служанка со свечой.

— Вам что угодно, сударь? — спросила она.

Она плакала. Я назвал себя. Меня провели в гостиную, находившуюся в нижнем этаже; напротив камина стоял на подставке огромный мраморный бюст Бальзака работы Давида. Посреди комнаты горела свеча на богатом овальном столе, ножками которому служили шесть позолоченных изящных изваяний. Вышла другая женщина, которая тоже плакала. Она сказала мне:

— Он умирает. Барыня ушла к себе. Со вчерашнего дня доктора уже бросили его...

Ева Бальзак ушла, чтобы отдохнуть несколько часов. Агония могла продлиться долго, а умирающий уже не нуждался в уходе. Сиделка сказала Гюго:

— Сегодня с девяти часов утра он перестал говорить... С одиннадцати часов он начал хрипеть и уже ничего не видит. Он не протянет ночь. Если хотите, сударь, я схожу за господином Сюрвилем, он еще не ложился.

Женщина ушла. Я подождал немного. Свеча едва озаряла великолепную обстановку гостиной и чудесные полотна Порбуса и Гольбейна, висевшие на стенах. Смутно виднелся в этом полумраке мраморный бюст, словно призрак того человека, который умирал наверху. Трупный запах наполнял дом.

Вошел господин де Сюрвиль и подтвердил все то, что говорила сиделка. Я сказал, что хотел бы взглянуть на господина де Бальзака.

Мы прошли по коридору, поднялись по лестнице, устланной красным ковром и украшенной произведениями искусства — ваза-

ми, статуями, картинами, поставцами с эмалями; потом прошли еще один коридор, и я заметил отворенную дверь, услышал громкий зловещий хрип. Я вошел в спальню Бальзака.

Посреди спальни стояла кровать, кровать красного дерева, у которой в головах и в изножии были какие-то перекладки и ремни — приспособления, предназначенные для того, чтобы поднимать больного. На кровати лежал господин де Бальзак, голова его опиралась на целую гору подушек, к которым еще добавили две диванные подушки, покрытые красным узорчатым шелком. Лицо у Бальзака было лиловое, почти черное, склоненное вправо, небритые щеки; поседевшие волосы коротко острижены, широко открытые глаза смотрели куда-то застывшим взглядом. Я видел его в профиль — так он походил на Императора.

По обе стороны кровати стояли старуха сиделка и слуга. За изголовьем горела на столе свеча, другая зажжена была на комодe около двери. На ночном столике стояла серебряная миска. Мужчина и женщина, стоявшие у постели, молчали и с каким-то ужасом слушали громкий хрип умирающего. Свеча на столе ярко освещала висевший над камином портрет молодого и румяного, улыбающегося человека.

От постели исходил невыносимый запах. Я приподнял покрывало и взял руку Бальзака. Она была влажная от пота. Я пожал ее. Он не ответил на пожатие... Сиделка сказала:

— На рассвете он умрет.

Я спустился по лестнице, унося в памяти лицо умирающего; проходя через гостиную, я еще раз увидел неподвижный и надменный, смутно белевший мраморный бюст, и мне пришло на ум сравнение: смерть и бессмертие.

Вернувшись домой (это было в воскресенье), я застал у себя нескольких человек, поджидавших меня; среди них были Ризабей, турецкий посланник, испанский поэт Наварет и итальянский изгнанник граф Арривабене. Я сказал им:

— Господа, Европа сейчас теряет гения.

Бальзак умер ночью. Прибежал сумасбродный и преданный человек — Лоран-Жан. Ева Бальзак не любила его, считая «богемой»; терпеть не могла его неряшливый вид, его манеры «дурного тона». Но в эти тяжелые часы он оказал ей множество услуг: отправился в мэрию сделать заявление о смерти, составил некролог, который должен был появиться в газетах, привел художника Эжена Жиро, который написал пастелью портрет Бальзака на смертном одре. На этом портрете, сделанном талантливо и любовно, четко выступает голова, красивая, мощная, умиротворенное выражение лица. Пришел некий скульптор-формовщик, по фамилии Марминиа, сделал слепок с руки умершего и представил счет за свою работу госпоже Бальзак. Такова слава.

Жизнь Бальзака завершилась подобно роману «Человеческой комедии». Сколько раз он рассказывал, как человек всю жизнь мечтал о любви и вот наконец, ка-

жется, достиг счастья, но лишь только он протягивает руку, чтобы схватить его, счастье ускользает. Так кончились «Шуаны», «Луи Ламбер», «Альбер Саварюс».

Достигнуть цели, умирая, как античный гонец! Видеть, как счастье и смерть одновременно вступают на твой порог! Завоевать любимую женщину, когда любовь уже гаснет! Не быть в силах наслаждаться, когда право быть счастливым наконец приобретено! Это было уделом уже стольких людей!

Бальзак давно предчувствовал, что такая судьба уготована и ему, и в предсмертные дни он своим светлым умом, который так любил и умел определять тайные причины событий, увидел во всей ее суровой простоте самую суть прожитой жизни. Он умирал, сгорев в огне своих желаний, истратив все силы в воображаемых действиях своих героев, умирал жертвою своего творчества. Несчастное детство и юность породили у него сверхчеловеческое честолюбие. Он хотел всего: любви, богатства, гениальности, славы. Несмотря на расстояние, казалось бы непреодолимое, между отправной точкой и целью, он всего достиг. В воскресный вечер 18 августа 1850 года он лежал, простертый, в украшенном им самим доме, убранство которого походило на его мечты о чудесах «Тысячи и одной ночи»; волшебница Чужестранка ради него покинула свой дворец и океаны хлебов; он стал средоточием того мира, который сам населил, в который вдохнул душу и которому суждено было пережить его. Но смерть, уже годы ходившая за ним по пятам, одновременно с ним подошла к конечной точке.

ЭПИЛОГ

Дружба и слава — единственные
обитатели гробниц.

Бальзак

Священник приходской церкви Сен-Филипп-дю-Руль разрешил выставить гроб на два дня в часовне Божона. Так мертвый Бальзак прошел в дверь, один уж ключ которой был для него «дороже всех райских садов бывшего генерального откупщика». Отпевание состоялось в среду 21 августа, и служба не отличалась особой парадностью; величайший романист века не имел никаких прав на торжественную официальную церемонию. Царствие его было не от мира сего. Ни знаков отличия, изображенных на черном сукне траурных драпировок, ни обвитых черным крепом барабанов, ни мундиров, ни расшитых золотом фраков; но с одиннадцати часов все, «кто мыслит и поклоняется литературе», теснились вокруг церкви и часовни Сен-Никола. В толпе было много типографских рабочих, которые столько работали с Бальзаком и для Бальзака. Правительство представлял министр внутренних дел Барош. Дорогой от часовни до церкви шнуры катафалка держали министр и Виктор Гюго, Александр Дюма и Франсис Вэй от Общества литераторов. В церкви, сидя рядом с Гюго перед помостом с гробом Бальзака, министр сказал поэту: «Это был выдающийся человек». Гюго ответил: «Это был гений».

Путь похоронного кортежа, двигавшегося по бульварам, казался бесконечным. Дюма и Гюго прошли его пешком. На кладбище Пер-Лашез добрались под вечер. Виктор Гюго, которого едва не раздавил катафалк, прижав к монументальному памятнику, произнес у могилы речь, которую провожавшие слушали с волнением в бла-

гоговейной тишине. «Пока я говорил,— записал он в своих заметках,— солнце спускалось к горизонту. Сквозь золотистую закатную дымку вдали виднелся весь Париж. Почти у самых моих ног осыпалась в могилу земля, и я невольно останавливался, когда комки ее с глухим стуком падали на гроб». С высоты этого кладбищенского холма Растиньяк бросил вызов Парижу. Париж в этот день воздавал честь творцу Растиньяка.

— Господин де Бальзак,— сказал Виктор Гюго,— был одним из первых среди великих, один из лучших среди избранных... Все его произведения составляют единую книгу, полную жизни, яркую, глубокую, где движется и действует вся наша современная цивилизация, воплощенная в образах вполне реальных, но овеянных смятением и ужасом. Изумительная книга, которую ее автор назвал *Комедией* и мог бы назвать *Историей*; книга, в которой сочетаются все формы и все стили, которая затмевает Тацита и достигает силы Светония, перекликается с Бомарше и может сравниться с Рабле... где щедро и правдиво показано все самое сокровенное, мещанское, пошрое, низменное и где порою внезапно... выступают самые мрачные и самые трагические идеи...

Вот то творение, которое он нам оставил,— возвышенное и долговечное, мощное нагромождение гранитных глыб, основа памятника, творение, с вершины которого отныне будет сиять его слава! Великие люди сами сооружают себе пьедестал, статую воздвигнет будущее... Увы! Этот неутомимый труженик, этот философ, этот мыслитель, этот поэт, этот гений жил среди нас той жизнью, полной бурь, распрей, борьбы и битв, которою во все времена живут великие люди. Теперь он обрел покой. Он ушел от раздоров и ненависти. В один и тот же день для него раскрылась могила и засияла слава. Отныне его имя будет блистать поверх туч, нависших над нами, блистать среди звезд нашей родины!

В этот же самый день Барбе д'Орвильи писал:

Эта смерть — подлинное бедствие в нашей интеллектуальной жизни, и среди всех утрат, постигших нашу эпоху, с ней можно сравнить только смерть лорда Байрона. Действительно, Байрон, как и Бальзак, умер, вступив в пору зрелости и полного расцвета своего дарования, оставив, как и Бальзак, свое творение незавершенным. Не закончена поэма «Дон Жуан», не закончена и другая, быть может, более великая поэма — «Человеческая комедия», написана только половина ее. Вальтер Скотт угас спокойно, как солнце, закатившееся после ясного и долгого дня... Гёте, этому любимцу судьбы, при жизни ставили мраморные статуи в годы его старости, которая была как бы предвестником его бессмертия. Но Бальзак был сражен на середине жизненного пути, в расцвете творческих сил и замыслов...

Самый заядлый его враг, Сент-Бёв, 2 сентября в «Беседах по понедельникам» в первых же строках зая-

вил, что отныне в его суждениях о творчестве Бальзака не будет никакого личного неприязненного чувства.

Кто лучше его изображал стариков и красавиц времен Империи? А главное — кто дал более очаровательные портреты герцогинь и виконтесс последних лет Реставрации, этих «тридцатилетних женщин», которые уже появились в обществе и в смутной тоске ждали своего художника?.. Кто, наконец, лучше него ухватил в натуре и передал во всей его полноте тип буржуа, восторжествовавшего при Июльской монархии?.. Каким бы быстрым и великим ни был успех господина де Бальзака во Франции, успех его, пожалуй, был еще больше и бесспорнее в Европе... В Венеции, например, одно время в обществе люди брали себе имена главных персонажей Бальзака и даже хотели играть их роли. Целый сезон там видали только Растиньяков, герцогинь де Ланже, герцогинь де Мофриньез, и нас уверяют, что некоторые актеры и актрисы этой комедии стремились сыграть до конца взятую на себя роль...

Считая, что для очистки совести вполне достаточно этих похвал, Сент-Бёв не мог отказать себе в удовольствии вытащить из потайного шкафчика несколько различных ядов, правда, в растворах несмертельной концентрации. Вскоре после смерти Бальзака он заявляет, что не может принять «его стиль, жеманный и вызывающий, нервирующий, подрумяненный, с подрисованными жилками всех оттенков, стиль чарующий и развращающий, чисто азиатский, как говорили наши мастера», а также не может он принять и явную слабость господина де Бальзака ко всякого рода Сведенборгам, Месмерам, Калиостро. По словам Сент-Бёва, он считал нужным сказать все это ради того, чтобы «само наше восхищение и наша дань уважения и скорби по отношению к писателю такого чудесного таланта не переходила бы дозволенных границ». Мимоходом он утверждал, что Жорж Санд гораздо крупнее как писатель, чем Бальзак. Можно надеяться и верить, что эти слова покоробили Жорж Санд.

* * *

Надо коротко указать, что случилось с второстепенными действующими лицами этой драмы. Госпожа Бальзак-старшая («бабуся», как ее звали внуки) могла еще четыре года баловать свою дорогую Лору и высмеивать Сюрвиля, своего зятя. Она любила навещать дочь, когда обязанности инженера удерживали Сюрвиля где-нибудь далеко — на канале, который он прокладывал, на каких-нибудь прудах, которые он рыл, у моста, который он

строил. «Старый кот ушел, старой мыши раздолье», — писала она своим образным языком. Она по-прежнему «портила себе кровь», играла в вист, лакомилась засахаренными дольками апельсинов, поздравляла родственников с годовщинами, именинами и всякими праздниками и умоляла сноху: «Скажите мне, что вы всегда будете любить свою бедную свекровь в память о том, кто был нам так дорог... Мне нужно заплатить доктору, купить дров, отдать за квартиру, а денег у меня только-только чтобы протянуть до 1 февраля...» Надо отметить, что вдова Бальзака не допускала, чтобы его мать в чем-нибудь нуждалась.

У Лоры по семейной традиции нередко «бывали расстроены нервы». На ее красивые сказки совсем не было спросу в книжных лавках; ее муж, слишком «инженеристый инженер», больше замышлял, чем осуществлял. В последнем своем коротком письме «дорогая бабуся» писала, что она «от всего материнского сердца целует в лоб свою милую дочь». 1 августа 1854 года госпожа Бальзак-старшая сошла со сцены мира сего. Финансовые дела семейства Сюрвилей все больше приходили в расстройство. Эжен Миди де ла Гренере, именуемый Сюрвиль, умер в 1867 году, оставив после себя актив в 111 918 франков, но, несомненно, пассив превосходил эту сумму, так как вдова и дочери отказались от наследства. Прелестная Софи вышла замуж за Жака Малле, вдовца, который был старше ее на двадцать лет; вскоре он исчез из дому и больше не подавал признаков жизни; брошенной жене пришлось поступить гувернанткой в семейство Мартен дю Нора, бывшего депутата парламента. Валентина Сюрвиль, вышедшая замуж за адвоката Луи Дюамеля (который стал секретарем президента Жюля Греви), умерла в 1897 году. Злополучный Анри де Бальзак так и не узнал, что его незаконный отец завещал ему в наследство 200 000 франков золотом; Анри умер в нищете в военном госпитале Дзаудзи 11 марта 1858 года, за два месяца до смерти своего отца Жана Маргонна.

Даблен, бывший торговец скобяными товарами, щуплый старичок с большим сердцем, до конца своих дней оставался другом Сюрвилей. Он завещал Лоре серебряную суповую миску и пятьдесят миниатюр. Софи — шкатулку саксонского фарфора и (как она и предвидела) китайскую чашку, Валентине — две эмале-

вые вазы, которые очень нравились Бальзаку. Быть может, они предпочли бы получить «немного наличных денег», но Даблен подумал обо всех: о бедняках своего квартала и о неимущих в Рамбулье, о своих старых слугах, о многочисленной родне, о бесчисленных друзьях и о музее Лувра. До тех пор пока люди будут читать книги, его имя останется связанным с именем Бальзака, особенно с романом «Шуаны» («Первому другу — первое произведение»).

Молчаливый и серьезный майор Карро умер в 1864 году. Зюльма Карро, обеднев после смерти мужа, вынуждена была расстаться с Фрапелем; она переехала в Ноан-ан-Грасе, поселилась в «маленьком коттедже», писала книги для детей: «Бабушкин полдник», «Маленькая Жанна, или Невыученный урок» и другие пользовавшиеся успехом произведения для «Розовой библиотеки». Она прожила до 1889 года, пережив двоих сыновей: Иорика, капитана стрелкового полка, убитого в 1870 году под Седаном, и Ивана, главного инспектора Департамента вод и лесов, скончавшегося в 1881 году. Мадлена Карро, дочь Ивана, вышла замуж за Жоржа Пейеля, который стал первым председателем Счетной палаты; от этого брака родился Раймон Пейель, известный в литературе под псевдонимом Филипп Эриа.

По завещанию Бальзак сделал жену единственной своей наследницей и признал за собой долг перед ней в сумме 130 000 франков. Она дала ему займы вдвое больше. Мари дю Френэ Бальзак завещал «Голову Христа» работы Жирардона, которая не была работой Жирардона, в раме работы Брюстолона, которая не была работой Брюстолона. Различные вещи он оставил доктору Наккару, Александру де Берни, Зюльме Карро — в знак признательности за их верную дружбу.

Вдова Бальзака могла бы отказаться от наследства, обремененного большим пассивом. Она, наоборот, сочла себя обязанной уплатить все долги. Благодаря ей мать Бальзака не знала нужды, но порой Чужестранка безжалостно давала ей почувствовать тяжесть своих благодеяний. На просьбу свекрови увеличить назначенный ей пенсией она сухо ответила: «Я, кажется, не давала вам иных обещаний, кроме обещаний аккуратно выплачивать вашу ренту, и уверяю вас, что это мне нелегко. Вы лучше, чем кто-либо другой, знаете, что все мое состояние ушло в руки кредиторов вашего сына...»

Ева де Бальзак — мэтру Делапальму, нотариусу:

Четыре месяца я была не женой, а сиделкой господина де Бальзака. Ухаживая за неизлечимо больным своим мужем, я подорвала свое здоровье и потеряла свое личное состояние, согласившись принять от него наследство, обремененное долгами и всякими неприятностями...

Все это верно.

Скорбь Эвелины де Бальзак была искренней, горячей и недолгой. Она писала доктору Наккару, что теперь она только тело без души — выражение, унаследованное ею от покойного. «Нет, дорогой доктор, несмотря на свой высокий и огромный ум, вы не можете себе представить, что во мне происходит. Вы не знаете, сколько надо мужества, чтобы жить, когда жизнь стала сплошным страданием...» В память об умершем вдова подарила доктору Наккару знаменитую трость с инкрустациями из бирюзы.

Супруги Мнишек были потрясены смертью их дорогого Бильбоке. «О моя любимая, моя несравненная, обожаемая мамочка! Какой ужасный и неожиданный удар! — писала Анна. — Всю свою жизнь мы употребим теперь на то, чтобы смягчить для вас тяжесть этого страшного горя». Зефирина и Гренгале продали большую часть своих владений в России и, оставив за собой только Верховню, доверили управление ею доктору Кноте. Приехав к Эвелине, они решили обосноваться в Париже и построили себе рядом с «несчастливым домом» на участке, купленном у художника Гюдена, роскошный особняк. В застекленных витринах там нашли себе уют коллекции жесткокрылых, собранные Георгом.

В пятьдесят лет вдова Бальзака оставалась привлекательной и пылкой женщиной. «Ради нее, какова она есть, — говорил Барбе д'Орвильи, — стоило пойти на всякие безумства... Она отличалась величественной и благородной красотой и, хотя, располнев, стала несколько грузной, все же сумела при всей своей дородности сохранить большое очарование. Особую пикантность придавали ей прелестный иностранный акцент и весьма волнующие томные манеры...»

Она действительно взволновала против его воли молодого литератора Шанфлери. Когда умирал Бальзак, его не было в Париже, и, вернувшись, он пришел с визитом к вдове. Она приняла гостя хорошо, слишком хоро-

шо, и попросила помочь ей разобрать бумаги ее знаменитого супруга.

— У меня болела голова,— рассказывает он,— и в разговоре я несколько раз прижимал руку ко лбу.

— Что с вами? — спросила она.

— Не знаю... Невралгия.

— Я вылечу вас, сейчас все пройдет.

И, встав позади меня, она положила мне на лоб обе ладони. В подобных положениях возникают некие магнетические флюиды, и тогда уж люди на этом не останавливаются...

Так началась эта связь. Шанфлери был на двадцать лет моложе «прекрасной сарматки», которая 13 мая 1851 года писала ему: «Каждый вечер хожу в кафе-шантаны и очень веселюсь!.. Позавчера смеялась до упаду. Никогда еще так не хохотала. Ах, до чего ж приятно, что я никого не знаю, что мне ни с кем не надо считаться, что я совершенно независима и свободна, как в горах, и вместе с тем сознавать, что я в Париже...» Очевидно, парижская жизнь пришлась ей по вкусу, раз она больше не возвращалась на родину.

Долг предписывает каждой вдове писателя усердно заботиться об увековечении памяти мужа. Ева поручила Дютаку подготовить к изданию полное собрание сочинений Бальзака, а вернее, дополненное собрание сочинений, так как настаивала на включении в него «Депутата от Арси» и «Мелких буржуа», хотя оба романа были в набросках. Чтобы их закончить, она хотела дать покойному мужу в качестве анонимного и посмертного сотрудника своего любовника. Но Шанфлери отказался от этой работы, так как не одобрял ее. Тогда, чтобы волей-неволей удержать при себе возлюбленного, Чужестранка прибегла к иным средствам.

Ева де Бальзак — Шанфлери:

Хочу тебе сказать, что вчера у меня было небольшое денежное поступление, совсем для меня неожиданное, и там оказалось несколько новеньких республиканских золотых, таких нарядных, таких блестящих, что я их отложила в сторону, найдя, что они слишком молоды и веселы для меня.

Оттиск печатки, которой пользовался Бальзак, запечатывая свои письма к Чужестранке, в 1851 году оказался на оборотной стороне письма Шанфлери! Итак, даря луидоры, Ева добавила к ним и эту реликвию великого человека. Несомненно, она охотно стала бы играть

в жизни Шанфлери ту же роль, какую некогда Dilecta, уже достигшая зрелых лет, играла в жизни молодого Бальзака. Но «казацкая» смесь мистицизма и чувственного пыла, так нравившаяся Бальзаку, быстро отпугнула Шанфлери. Ева показала себя бешено ревнивой и весьма властной. Шанфлери чудилось, что у него любовницей состоит Екатерина Великая, и ему хотелось удрать от нее. При каждой попытке к бегству она удерживала его под тем предлогом, что он должен хотя бы привести в порядок неизданные вещи Бальзака. Наконец в ноябре 1851 года бурная сцена ревности привела к желанному для Шанфлери разрыву.

За неимением Шанфлери Ева прибегла к Шарлю Рабу и доверила ему миссию завершения «Человеческой комедии».

Ева де Бальзак — Арману Дютаку:

Скажите, что я выбрала господина Рабу для окончания этого творения единственно по той причине, что такой выбор указан был мне самим моим мужем в беседах, которые у нас с ним были в дни его последней роковой болезни по поводу завершения его прерванного творения...

Свидетельства из-за могилы представляют собою неоспоримые аргументы, и ими нередко злоупотребляют вдовы — хранительницы распоряжений, которые только одни они слышали от умершего.

Бальзак опубликовал фельетонами в «Юнион монаршик» (с 7 апреля по 3 мая 1847 года) семнадцать первых глав романа «Депутат от Арси». После его смерти продолжения романа в ящиках не нашли, но Ева взялась рассказать Рабу, каково должно быть окончание романа, которое наметил ее муж.

Сказать ему, — записывает она, — все, что я знаю о замыслах господина де Бальзака относительно «Депутата от Арси»... Я больше жила с персонажами «Человеческой комедии», чем с людьми реального мира, и, когда понадобится узнать подробности о привычках, нравах, знакомствах, фактах и поступках кого-нибудь из членов многочисленной нетленной семьи, созданной этим великим умом и этой сильной волей, следует всегда обращаться ко мне...

Вдохновляясь указаниями, оставленными Бальзаком через его жену, Рабу принялся за работу. Роман разросся до такой степени, что когда он в 1852 году был напечатан в газете «Конститусьонель», то занял в ней 101 фельетон, из которых 31 был опубликован при жиз-

ни автора в газете «Юнион монаршик», представляя собою пролог к роману. Эта первая часть (только она одна и написана Бальзаком) была названа им «Выборы». В газете «Конститусьонель» этот роман-река появился под заглавием «Депутат от Арси» и был разделен на три части: «Выборы», «Граф де Сальнов», «Семейство Бовизаж». О сотрудничестве Рабу упомянуто не было.

В письме к Дютаку Ева говорит о «Мелких буржуа»:

Я очень довольна, что господин Рабу согласен их закончить, так как глубоко убеждена, что для завершения этой книги господин де Бальзак выбрал бы именно его. Это не предположение, а уверенность, ибо он говорил мне в дни болезни: «Я хотел бы повидаться с Рабу; может быть, он возьмется закончить «Мелких буржуа»...

Первая часть романа (опубликована в 1856 году) разделена на двадцать семь глав, из них двадцать две первые главы принадлежат Бальзаку. Вторая часть «Мелких буржуа» (1857 год) целиком написана Рабу. Издатель де Потте, который выпустил первое издание «Депутата от Арси» (до предпринятого Мишелем Леви «ударного» издания полного собрания сочинений Бальзака в двадцати четырех томах в восьмую часть листа), имел мужество напечатать на титульном листе: «Закончено Шарлем Рабу».

В 1851 году художник Жан Жигу, уроженец Франш-Конте, сын кузнеца, выставлявший на всех выставках «огромные махины» — большие полотна исторического и мелодраматического содержания, живописец, которого газеты расхваливали за «мужественный характер его таланта», написал портрет графини Мишек. Анна привела в мастерскую Жана Жигу свою мать, и та в свою очередь заказала ему пастель. Этот художник, который писал в манере резкой, мужественной и полной условностей, покорила ее. Вероятно, в 1852 году они вступили в связь, оказавшуюся почти супружеством, так как она продолжалась до самой смерти Эвелины, которая скончалась 10 апреля 1882 года. Жигу, «ветеран» с галльскими усами, «обремененный годами и славой», пережил ее на двенадцать лет. Приютом этой странной четы, связанной такими прочными узами, служил замок Борегар в Вильнёв-Сен-Жорж, купленный госпожой де Бальзак после того, как она овдовела.

Последние годы Чужестранки были омрачены несчастьями, постигшими ее детей. Анна, у которой еще Бальзак подмечал непреодолимую страсть к дорогим нарядам, к великолепным драгоценностям, поддалась парижским соблазнам. Шали из кружев шантли, наволочки на подушки, отделанные алансонскими кружевами, платья от Ворта, ширмы китайских лаков, тончайший китайский фарфор, бриллиантовые уборы разорили наследницу, владевшую Верховней. В 1875 году у Георга Мнишека, которого она обожала, восхищаясь его кротким, как у святого, лицом и ангельскими глазами, случилось первое кровоизлияние в мозг; он не оправился от удара и лишился разума. Милые его сердцу коллекции жесткокрылых были проданы; к тому времени брат Эвелины, граф Адам Ржевусский, уже давно купил Верховню.

После смерти сумасшедшего мужа (в 1881 году) и смерти матери (в 1882 году) Анна, совсем обеднев, продала замок Борегар и удалилась в монастырь женской общины Креста Господня, находившийся на улице Вожирар. «В дни бедствий она была такой же прелестной и доброй, как и в пору роскоши, такой же милой и ласковой, беспечной, как птичка, какою знал ее и любил Бальзак». В 1915 году Анна, умирая, оставила экономке, ухаживавшей за ней, малахитовую шкатулку с инкрустациями из слоновой кости, подбитую бледно-розовым бархатом,— ту самую шкатулку, в которой Бальзак некогда хранил письма Ганской и на которой он заказал выгравировать буквы H. L. (Heva Liddida. — Ева Возлюбленная по-древнееврейски). Экономка предложила шкатулку за высокую цену Марселю Бутерону, «папе бальзаковедов». Сумма, которую запросили за этот ларец, была совсем не по средствам Бутерону, но он подбежал к шкафу, где держал свои скромные сбережения, схватил, не считая, пачку банковских билетов, сунул их в руки экономке и оставил у себя священную реликвию.

Каролина Марбути, «поэзия путешествия», продолжала писать под псевдонимом Клэр Брюн автобиографические романы. В романе «Ложное положение» она повествовала о горьких разочарованиях, пережитых в Париже провинциалкой, выдающейся женщиной. Связь с маркизом де Пасторе (дворянином, преданным пре-

тенденту на французский престол Генриху V, который сделал его своим поверенным во Франции), внушила писательнице замысел другого произведения: «Маркиз де Пресье, или Три эпохи». Развязка этой авантюры была скандальной. Амедей де Пасторе доверил своей любовнице хранение ларца, в котором он держал под ключом компрометирующие его бумаги — неоспоримые доказательства его легитимистских происков. Не сделала ли Каролина в конце угасающей любви эти документы орудием своей мести? Многие тогдашние мемуаристы утверждают, что она продала ларец луи-филипповской полиции. В своем интимном дневнике, сумбурном и страстном, Клэр Брюн отвергает обвинение в шантаже. По ее словам, она хотела только взамен пылких писем любовника получить денежное возмещение за разрыв. Как бы то ни было, история с ларцом дискредитировала госпожу Марбути и обратила ее в авантюристку. Дидина в «Провинциальной музе» была куда благороднее.

Шестнадцатого февраля 1890 года Каролина Марбути (ей было тогда восемьдесят семь лет), переходя через Елисейские Поля, попала под колеса омнибуса. Ее отнесли в больницу Божона, помещавшуюся в те годы в доме № 208 по улице Фобур-Сент-Оноре, в двух шагах от того места, где умер Бальзак; в тот же день пострадавшая умерла, не приходя в сознание, и была опознана лишь позднее. Так как она приобрела для погребения своей дочери (умершей в двадцать три года) «в вечную собственность» участок земли на кладбище Пер-Лашез, то ее и похоронили там же, где погребли Бальзака и Чужестранку. Она покоится недалеко от них.

Элен де Валетт, вдова Гужона, не изменила своего дурного поведения. Два снисходительных покровителя осыпали ее вещественными доказательствами своей привязанности к ней. Знатный владелец замка, с которым она прижила сына, узаконил его, и позднее этот молодой человек сделал очень хорошую карьеру. Элен поселилась в Париже, в доме № 91 по Лилльской улице у барона Ипполита Ларе, где и жила до дня своей смерти, последовавшей 14 января 1873 года. Маленькая «солеварка» всю жизнь ухитрялась искусно поддерживать равновесие в своем деликатном положении между графом и бароном. Поскольку она была (очень недолго)

одной из «Мари» Бальзака, барон Ларе, ее единственный наследник, принес в дар городской библиотеке Тура выправленную автором корректуру романа «Беатриса» и собственноручное его письмо, причем даритель принял тщательные и наивные предосторожности к тому, чтобы нельзя было установить, к кому обращено посвящение, адресованное Мари Х***.

Так же как Бальзак и Чужестранка, как Анна и Георг Мнишек, как Каролина Марбути, Элен де Валетт погребена на кладбище Пер-Лашез, где закончились под могильными холмиками или мраморными памятниками судьбы стольких бальзаковских героев.

Похоронив умерших, обратимся к живым. Они нетленны — их имена Горио, Гранде, Юло, Бетта, Понс, Растиньяк, Рюбампре, Попино, Бирото, Гобсек; они окружают нас, они всегда с нами, они помогают нам познавать людей — ведь люди-то нисколько не изменились. Княгиня де Кадиньян и маркиза д'Эспар по-прежнему разыгрывают тонкие и жестокие сцены комедий; дочери старика Горио не перестают грабить отца; многие Бенаси все пытаются спасти французскую деревню, а неподалеку от них генерал де Монкорне пускает в продажу свое имение. Купит его Гобертен.

Во всех странах из года в год возрастает число ревностных читателей Бальзака. У каждого издателя, переиздающего «Человеческую комедию», тираж быстро расходуется. Слава Бальзака блистает еще ярче, чем в тот день, когда Гюго на кладбище Пер-Лашез, за которым сгущалась закатная дымка, воздал ему честь в прекрасном своем слове. «Еще не пришло для меня время беспристрастия», — писал Бальзак в 1842 году. Эта несправедливость упорно держалась. Долго после смерти Бальзака критики замалчивали его. «Все высокие памятники отбрасывают тень, и многие люди видят только тень...» Натуралисты увидели в нем (ошибочно) своего предшественника, хотя Золя, как ему казалось, обнаружил «трещину в его гениальности», имея в виду политические взгляды и мистику Бальзака. Фаге в 1887 году упрекал Бальзака за его идеи, достойные «клерка провинциального нотариуса», и за вульгарность его стиля.

Но великие люди первыми признали его величие. После Гюго им восхищался Бодлер; потом Достоевский, Браунинг, Маркс, Стриндберг; затем Пруст, Ален, а затем и весь мир. Ученые-литературоведы Фаге и Брюнетьер в конце концов осознали свою ошибку. Тэн, а вслед за ним Бурже показали, что в Бальзаке мыслитель не уступал наблюдателю и даже руководил им. А история помогла понять Бальзака. Он жил во времена разочарований. В годы Революции и наполеоновской Империи в душах людей скопилась сверхчеловеческая энергия. Антигероический режим Реставрации и буржуазной монархии оказался неспособен использовать эту силу. Взрывы небольшой мощности, имевшие место в 1830 и в 1848 годах, поглотили лишь малую ее часть. А избыток энергии — значительный избыток — ушел на деловые предприятия, на промышленную революцию и на создание «Человеческой комедии».

Конец XIX века, протекавший довольно спокойно, веривший, что достижения науки приведут к прогрессу, отрицал суровые бальзаковские истины или пренебрегал ими. Наоборот, наша эпоха, испытавшая бедствия двух войн и видевшая, как и во времена Бальзака, удивительные, крутые перемены в положении страны и людей, внезапные падения и невероятные взлеты, чувствует себя ближе к Бальзаку. Ну как было Эмилю Фаге понять Филиппа Бридо? Он в своей жизни не видел ничего подобного. А вот у нас есть свои собственные отставные вояки на половинной пенсии, у нас происходят покушения, заговоры, творятся темные дела. Наши ученые подтверждают идеи Бальзака о единстве материи и ведут поиски абсолюта. Они верят, так же как Бальзак, что мысль может оказывать физическое воздействие. Вся современная психиатрия подтверждает интуицию Луи Ламбера. А в «Цезаре Бирото» мы читаем: «Случайности, составляющие целые ряды, заменяют собою Провидение». Но ведь это предвосхищение законов статистики.

Пруста, который был столь же велик, как и Бальзак, и знал «Человеческую комедию» до мельчайших подробностей, конечно, не могло удивлять, что это огромное творение создано за одну короткую, трудную и нередко заурядную жизнь. Вильпаризи было не лучше Иллье; тетя Леони могла бы принадлежать к «небесному семейству»; жизнь в мансарде на улице Ледигьер

была не более одинокой, чем в комнате на бульваре Осман, обитой пробкой. «Те, что создают гениальные произведения, не принадлежат к людям, которые ведут изысканную жизнь». С того дня, как Оноре де Бальзак, прибегнув к транспозиции, сумел показать миру пристальный и тяжелый взгляд своей матери, свои обиды нелюбимого ребенка, свое чтение книг под лестницей в Вандомском коллеже, впервые уловленный им «аромат женщины», неудачи своего зятя, гнусные махинации ростовщиков, свои «утраченные иллюзии» и восторги творчества, мозг его вскормил целый мир. И этот мир поглотил его жизнь — он умер еще молодым. Но кто не хотел бы быть Бальзаком?

ПРИЛОЖЕНИЕ I

В 1907 году Октав Мирбо включил в свой роман «628-Е-8» гнусную и скандальную главу о смерти Бальзака. Он утверждал, приводя всякие непристойные и безобразные подробности, что во время агонии своего мужа Ева де Бальзак находилась в соседней комнате в объятиях художника Жана Жигу. Об этом «открытии» сообщала статья в газете «Тан», Анна Мнишек выразила решительный протест против подлой клеветы. Она написала в газету «Тан»: «Во времени смерти господина де Бальзака моя мать даже и не знала господина Жигу, я сама его представила ей через два года после смерти моего отчима». Утверждения Анны Мнишек были правдой, и Октаву Мирбо, заявлявшему, что он слышал эту историю от самого Жигу (якобы рассказывавшего ее у Родена), пришлось весьма жалким образом отступить и выбросить из романа указанную главу под тем предлогом, что он не хочет «омрачать последние годы жизни старой женщины».

На самом-то деле он уничтожил главу потому, что иначе ему пришлось бы отвечать перед судом в двух грозивших ему процессах о диффамации, которые он проиграл бы, так как не имел и тени доказательств, а книга его была бы изъята из продажи. Он сослался на свидетельство Виктора Гюго, но у Гюго в «Виденном» сказано только, что во время его посещения умирающего «госпожа де Бальзак ушла к себе», а это было вполне естественно, так как она, вероятно, совсем измучилась.

Поль Лапре, хранитель музея Жана Жигу в Безансоне, писал в газете «Жиль Блаз»: «Я сорок лет был неразлучен с господином Жигу и честью своей заверяю, что никогда за эти долгие годы не слышал, чтобы он рассказывал ту историю, о которой говорит господин Мирбо... Кстати сказать, Жигу познакомился с госпожой де Бальзак лишь после того, как она овдовела, и я могу это доказать при помощи их переписки, находящейся в моем распоряжении». Другой друг Жана Жигу, Ульрик Ришар-Дезекс, тоже разоблачил «беспрецедентную гнусность», допущенную Мирбо. Единственным человеком, осмелившимся после смерти Анны Мнишек поддерживать «ужасный рассказ, выдуманный Мирбо от первого до последнего слова», как писал Марсель Бутерон, был Шарль Леже, весьма легкомысленный человек, которому мы обязаны многими ложными сведениями о графине Гидобони-Висконти и других.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Меньше чем через год после смерти Бальзака (28 июня 1851 года) газета «Мод» сообщила:

«В ближайшее время в «Мод» будут опубликованы «Письма к Луизе» господина де Бальзака. Эти письма, в количестве двадцати трех, никогда прежде не издававшиеся, обращены автором «Евгении Гранде» к одной из самых элегантных женщин современного общества. Они представляют собою любопытную страницу сердечного романа знаменитого романиста. Читая «Человеческую комедию», люди будут восхищаться писателем, а по этим письмам они будут изучать его как человека. У нас в руках находятся подлинники всех двадцати трех писем».

Возмущенная Ева де Бальзак написала своей свекрови: «У меня на руках новый судебный процесс — против газеты «Мод», которая купила интимную переписку нашего бедного Оноре с какой-то прекрасной дамой, которая прежде продавала ему свою благосклонность, а теперь торгует его письмами...» Вспомним, что отношения Бальзака с таинственной Луизой оставались чисто эпистолярными и что корреспонденты никогда не встречались. Луизу, таким образом, нельзя было обвинять в том, что она «продавала свою благосклонность». Но «некий господин Лефебр», располагавший двадцатью тремя письмами Бальзака, а также рукописью рассказа «Дело об опеке» и правленными корректурными оттисками романа «Лилия долины» (которые Бальзак когда-то послал своей таинственной поклоннице), действительно продал эти документы за три тысячи франков Филиасу Нивару, издателю газеты «Мод».

Эвелина поручила адвокату Пикару наложить запрещение на предполагаемую публикацию «Писем к Луизе». Дело рассматривалось в первой камере гражданского суда судебного округа Сены 14 мая 1852 года. Вдова Бальзака в качестве единственной его наследницы воспротивилась опубликованию переписки, носившей интимный характер, и потребовала возвращения автографов. Суд в решении своем объявил, что «посланное письмо является собственностью того лица, кому оно адресовано, а посему наследники лица, поставившего свою подпись под данными письмами, ни в каком случае не могут требовать их возвращения, но имеют право наложить запрет на их опубликование...»

Итак, «Мод» было запрещено печатать «Письма к Луизе», а Лефебру решением суда было предложено возвратить газете три тысячи франков, полученные им за эти письма.

Этот Лефебр в действительности назывался Луи Лефевр. В 1887 году виконт де Лованжуль имел беседу с Гюставом Денуартером, который должен был в свое время подготовить эти письма к публикации в газете «Мод», и Денуартер, отвечая на вопрос де Лованжуля, сказал: «Письма продал сам муж этой дамы... он был человек ловкий и беззастенчивый. в продаже писем он видел лишь выгодное дело, которым следовало воспользоваться». Луи Лефевр, родившийся в 1808 году в маленьком городке Лизье, перепробовал все профессии: он был управляющим в журнале «Эроп литерео», директором театра, драматургом. Он действительно очень нуждался и умер без гроша в 1866 году в больнице от апоплексического удара. Жена Лефевра (она вышла за него через несколько недель после смерти Бальзака — 11 сентября 1850 года) пережила мужа только на два года.

Любопытная подробность: в конце концов сама Ева де Бальзак оказалась сторонницей распространения «Писем к Луизе». Перед этим Шпельбер де Лованжуль купил их. Когда Мишель и Кальман-Леви пожелали добавить к первому изданию полного собрания сочинений Бальзака два тома его переписки (1876 год), Чужестранка передала им несколько писем, полученных ею «от бедного Оноре» (писем, кстати сказать, прошедших через ее собственную целомудренную цензуру), и разрешила также опубликовать переписку Бальзака с таинственной Луизой.

За год перед процессом, запретившим опубликование «Писем к Луизе», аналогичное столкновение произошло у нее с Элен де Валетт. Лишь только госпожа де Бальзак овдовела, она принялась собирать рукописи «Человеческой комедии». Несколько дней она искала рукопись романа «Беатриса», поиски оказались тщетными, но зато нашлось письмо Элен де Валетт, в котором «маленькая солеварка» писала Бальзаку: «Я поняла все неприличие воровства, которое позволила себе совершить у вас...» Тотчас вдова писателя сообщила об этой находке своему доверенному лицу Фессару.

Ева де Бальзак — Фессару, 31 августа 1850 года:

«Посылаю вам письмо некой дамы, которая украла рукопись «Беатрисы» и признается в краже... Письмо может пригодиться. Следовало бы сообщить ей об этом... Можете также сказать ей, что у меня в руках письма М.-Е. Кадора и что, если эта дама — любительница автографов, указанные письма Кадора могут заинтересовать ее... Мне известны также некоторые подробности о состоянии здоровья этой дамы».

Седьмого сентября 1850 года новое письмо Евы к Фессару.

«Поручаю вам дело о рукописи, портрете и письмах, но прошу вас, не будьте слишком щедрым, так как, признаюсь вам, в настоящее время у меня большие финансовые затруднения, я скорее нахожусь в положении тех, кто хотел бы продать что-нибудь, чем в положении тех, кто может покупать».

В ноябре 1850 года госпожа де Бальзак, отыскивая в особняке на улице Фортюне важный договор, касающийся издания «Человеческой комедии», нашла вместе с этим документом и рукопись «Беатрисы». Она тотчас предупредила об этом своего зятя Сюрвиля. «Когда увидите Фессара, будьте добры сказать ему, что я нашла подлинную рукопись «Беатрисы». А тот материал, из-за которого поднялось столько шума, должно быть, представляет собою лишь том переплетенных корректур».

В записи от 2 сентября 1850 года Фессар уточняет, что Элен де Валетт грозила опубликовать всю свою переписку с Бальзаком, если его вдова откажется уплатить сумму, которую он остался должен ей ко времени своей смерти. Речь шла о двадцати тысячах франков.

Виконт де Лованжуль написал на папке, хранящейся в Шантильи, в которой лежали документы, касающиеся мерзкого «дела Валетт»: «Эта угроза не имела последствий». Но до чего же отвратительна алчность этих гарпий! Лишь одна благородная душа, госпожа де Берни, всегда оставалась достойной своей роли!



СОДЕРЖАНИЕ

ПРОМЕТЕЙ, или ЖИЗНЬ БАЛЬЗАКА

Части III—IV

Перевод Н. Немчиновой

Часть третья	174
Часть четвертая	314
Эпилог	453
Приложения	467

Моруа А.

М 79 Собр соч. в шести томах. Том 4. Прометей, или Жизнь Бальзака. Части III—IV. Перев. с фр. / Сост. и общ. ред. М. Ваксмахера.—М.: Пресса, 1992.—304 с.

ISBN 5—253—00563—3

Четвертый том Собрания сочинений Андре Моруа продолжает роман-биографию, посвященный великому французскому реалисту XIX века,— «Прометей, или Жизнь Бальзака» (части III—IV).

М $\frac{4703010100-2709}{(080)02-92}$ 2709—92

84.4 Фр

Литературно-художественное издание

МОРУА Андре

Собрание сочинений в шести томах

Том четвертый

ПРОМЕТЕЙ, или ЖИЗНЬ БАЛЬЗАКА

Части III—IV

Составитель

Морис Николаевич Ваксмахер

Редакторы

С. А. Суркова, Г. Ф. Фролова

Оформление художников

А. В. Лепятковского, Л. В. Брылева

Художественный редактор

Л. В. Брылев

Технический редактор

К. И. Заботина

ИБ 2709

Сдано в набор 02.10.91. Подписано к печати 13.02.92.
Формат 84×108¹/₃₂. Гарнитура «Академическая».
Печать высокая. Усл. печ. л. 15,96. Усл. кр.отт. 16,59.
Уч.-изд. л. 17,43. Тираж 770 000 экз. Заказ № 953.
Цена 10 руб.

Набрано и отпечатано в типографии издательства
«Пресса», 125865 ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.



